

Валентин Распутин

В ПОИСКАХ БЕРЕГА







Русский Общественный Фонд



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

2000 года

решением Жюри
от 27 января 2000
присуждена

ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ РАСПУТИНУ

**за пронзительное выражение
поэзии и трагедии народной жизни,
в сращённости с русской природой и речью;
душевность и целомудрие
в воскрешении добрых начал**



В ПОИСКАХ БЕРЕГА

Повести, рассказы, статьи

Издательство «Русскій міръ»
ОАО «Московские учебники»

Москва 2008

УДК 821.161.1-821
ББК 84(2Рос=Рус)6-4я44
Р24

Серия «Литературная премия Александра Солженицына» основана в 2004 году

Редакционный совет:

А. И. Солженицын
Н. Д. Солженицына

П. В. Басинский
В. Е. Волков
С. М. Линович
Б. Н. Любимов
В. С. Непомнящий
Л. И. Сараскина
Н. А. Струве
М. Д. Филин

Художественное оформление
В. В. Покатов

© Распутин В. Г., 2008
© Солженицын А. И. Слово при вручении..., 2008
© Покатов В. В., худ. оформление, 2008
© Кочнев Н. Г., фотопортрет, 2008
© Русский Общественный Фонд, 2008
© Русскій міръ, 2008
© Московские учебники, 2008

ISBN 978-5-89577-106-8

Повести

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии, — отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится и в свой час придет рассвет и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он, — говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он, — повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв, — говорит он. — Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин: он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не

всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут обнявшись от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» — с недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят:

— Не видали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит, — настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору:

— Я с тобой буду как на духу — не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча, — подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги, — задумчиво произнес Кузьма. — Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе

брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю, — покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот...

— А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше, — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. — Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней... — Он замялся. — Одним словом, если вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?

— Чего же не понять, — откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребятишки, — сказал ревизор. — Ну, осудят ее, дадут срок...

Кузьма смотрел на него с жалкой подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей, — сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе, — сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

— А как же! — ответил Кузьма. — Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию, — ответил председатель. — Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Все равно не скроешь — пускай, — потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, — сказал председатель. — Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать. — У дверей Кузьма вспомнил: — Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду, — сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она. — Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! — исступленно шептала она. — Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он наконец вырвался.

— Дура баба, — прохрипел он. — Ты что, с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!
— Ну что?
— Кузьма! — Ее голос становился все слабей и слабей.
— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока. Из хозяйства продавать больше нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять — или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает

от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить, — возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка. — Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте, — беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тетка. — Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, как без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле — лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города, — говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон, — будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет

у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил, унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма, — встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. — Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, теперь восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой — она у него тоже учительница, — зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич. — Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо, — отказался Кузьма. — Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. — Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать, — замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет, — покачал головой Кузьма. — Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот поднесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая, — сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут, — сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич. — Я не судья. Ты им скажи. Я говорю к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

— Нет. — Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему: — Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают, — махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придется! — вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. — Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно, — вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет. — Он опять поморщился. — Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе, — говорил Евгений Николаевич. — Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам, — сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он наконец вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала. — Он готов был выбросить Комариху за дверь. — Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, — затараторила Комариха. — Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь. — Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. — Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те, Господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога, — вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать, — не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. — Видно, Комариха собрала карты. — Сними-ка, девка. Нет, погоди, тебе снимать нельзя. Надо, чтоб был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты, беда!

— Да давай сниму, — сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха. — Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про Бога вспоминают, и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха, — устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то, — заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма, — произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда, — позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала.

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому, — со стороны кажется. что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно

чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но, перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады, — зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир... — она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: — Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

— С билетом...

— Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! — Полковник недовольно качает головой и даже цокает языком. — Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

— Вы все шутите, — с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери. — Мне, правда, больше его некуда девать, все занято. — Уходя, она уже и сама пытается шутить. — Но он с билетом...

— Заходи, заходи, — кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там. — Полковник показывает наверх. — Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила, — подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. — Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

— Ну-у, — понимающе отвечает ему человек в белой майке. — К ним она так просто не пойдет.

— А к нам, выходит, можно?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции. — Человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению, — сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для нее это не имеет разницы.

— Не понимаю... — Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди. — Полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку. — Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там. — Полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава Богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу, — насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-стра-довались? — Человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались, — отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший, — говорит полковник. — Так что деревня живет.

— А она всегда живет, — с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович. — Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни, — заглядывая в окно, возражает человек в белой майке. — Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что же поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего — почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже, — говорит Геннадий Иванович. — Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит, — особенно если наблюдается улучшение, — лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего. — Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. — Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», — думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим, — говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, — отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает. — Пра-

вильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание — а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания, — не сразу сдается Геннадий Иванович. — Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник. — Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? — Он окликает Кузьму: — Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет, — подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака», ага, играю, — простодушно признается Кузьма.

Раздается смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придется вам опять идти за своим товарищем, — говорит полковник человеку в белой майке.

Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе

пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватит-то хватит. — Геннадий Иванович смотрит на часы. — Но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой. майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении. — Он протягивает ей деньги. — Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно, — привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Малень-

кие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят, — натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. — Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста. — Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, — говорит преферансист.

— Мне все равно, — безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

— Мне все равно, — повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно, — радуется человек в белой майке. — Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить, — говорит он Кузьме. — Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

— До свиданья, — оборачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров, — отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить Бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинскими. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, де-

сяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно, — нет, надо терять день, а то и два.

Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезненным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут и не такие головы летели, куда уж мне, — отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария. — И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть, — повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыла, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но нетрудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, идут когда попало — Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только

сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась, тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть, — доказывал он, обращаясь к председателю, — скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить что хочет? Чего она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему, — чтобы только отвязаться, сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесет — тогда дам.

— Какую еще доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет

куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезли в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза буду глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже толклась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех: только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал ей, она будто подавилась

и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, — с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая, — так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила своржить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст Бог, еще и обойдется, если Кузьма успеет собрать сколько надо... в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно, — говорит он. — Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. — Он выбрасывает одну руку влево. — Это бабушка. — Вторая рука опускается вправо. — А это я. — Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха. — Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь, — говорит она Кузьме. — Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень. — Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было, — осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся! Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха. — Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он. — Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь, — неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

— Дед, а ты, когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, — с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, — говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормошит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель. — Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, — говорит председатель. — Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой». — «Да ты что? — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши». Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, — шепчет она. — В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидят Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук пада-

ют деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель. — В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей, — наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все, — советуют ему.

— Нет, так нельзя, — не соглашается он. — Сто двадцать пять рублей большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но, чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нету! Нету ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислу-

шиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но — признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа, — доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. — Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь конечно, получили, — отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно, — согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед. — Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столь грамотный, сколь хитрый — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не маракова-ли, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь, — сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. — Чего я еще тебя буду впутывать в это дело!

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты говоришь, у Евгения Николаевича был! — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли! Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколь раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу, и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава Богу, если их нету у кого — там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на помочь. А теперь все за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да, я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края, — очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! — обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. — Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколь. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. — Дед коротко хохотнул, как кашлянул. У

этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед. Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— Найдем, — передразнил его дед. — У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ниче такого и не говорю.

— Ну и ладно. — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь.

— Кхе-кхе-кхе, — закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время, в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет и поможет.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой дерев-

не, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

— Зайду, — пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны

учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, — уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов, брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он, — помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил,

что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится испокон веку, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов, каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он моя думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем

доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду, Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду, — он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотня, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся дамой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на

время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень, постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку, — позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось, — не отвечая, сказал Василий. — Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, — со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так, — отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт, — невесело пошутил Кузьма. — Куда ни пойди, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры.

Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. — Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видели! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась Галька. — У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызетесь, — сказал Василий. — Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

— Ну и хитрый ты, Василий!

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли че ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

— Она, она, — заверила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала, — повеселел Василий, — а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождем, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался? Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. — Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко. — Снова перевела взгляд на Василия. — Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть, — сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам, — стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд...

— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

— Ну, скажите мне, что она не вредитель! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей. И за что меня Господь Бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила...

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, — спокойно сказала она. — Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида. — Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли че ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, — не смог остановиться сразу Василий. Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси Бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, — она показала на Василия, — не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали, — отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разглядела она. — Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет, — приподнялся Василий. — Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с ее хвораю, — стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит?

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас. — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила, и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам, — сказал Кузьма. — Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся. — Голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада Богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет. — Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. — Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется, — безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее:

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется. — Степаниде сказал: — Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим, — сказал Кузьма. — Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго, — продолжал Василий. — Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли че ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде. — Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачивать надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий, — попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

— Тетку Марию жалко, — причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промокнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они наконец заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь, — сказал Василий. — Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врет! — закричала опять Галька. — Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь — ну и выметайся — подхватила Степанида. — Не заплачу. Хошь сейчас выметайся. Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий, — сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было не важно.

— Завтра я зайду, — сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа, — негромко зовет она. — Проснись, Сережа.

— Я не сплю, — отзывается старик. — Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о. — Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. — Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме, — несердито отвечает старуха. — Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил, — говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. — Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. — Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Сережа? — спрашивает она.
— Ничего, ничего.
— Я что-нибудь не так делаю, да?
— Все так. Ты не беспокойся.
— Если не так, ты скажи.
— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.
— Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор, и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.
— Сережа, чай, — говорит старуха.
— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тоже стаканчик выпью, — говорит он.

— Обязательно надо выпить, — отвечает старуха. — Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха. — И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. — Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. — Почти в норме, — радостно сообщает он. — Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия, — замечает старик. — Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо, — серьезно отвечает парень. — Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все

четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха. — Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это не важно. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь, — с сомнением говорит старуха.

— Я — другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата, — не то сердится, не то удивляется старуха. — Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один! Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень. — Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать — и все в порядке.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, — говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень. — Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит», — передразнивает его старуха. — Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой, этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. — Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а... веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да... зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и... вообще... все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно, — просто говорит старуха. — Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил, — говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма... — хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой... Она меня вечером встретила...

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень. — Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

— Не потому, — возражает Кузьма. — Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе, — говорит старуха и смотрит на старика. — Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже. — Старуха говорит спокойно и тихо. — Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

— Вы что, эти самые... баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха. — Ты слышал, Сережа! Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он

притащился ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку! Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — Дед засуетился, стал подниматься. — Тут вот... — и протянул Кузьме деньги. — Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды...

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет — отдашь, а не будет — куды их мне, старику! Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, побегу.

— Дед!

— А?

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

— Раз не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришел Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, — говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него.

Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е. — Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть... Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом, — поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала, — виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать:

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, — зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются и каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножечку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, заглянул в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И все?

— Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот, — пожал плечами Кузьма.

Председатель уткнулся в бумаги и молчал. Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Несладко было смотреть, как падает зерно, после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберешь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, — будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнил, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с краю.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какая штука. — Председатель помолчал, давая понять, что она не пустяковая, потом снова заговорил — спокойным, ровным голосом. — Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь. — Председатель повернул голову к другой стене. — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними как на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан.

Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать, — твердо повторил председатель. — Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен, — недобрым голосом сказал председатель. — Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен, — торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью. — Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. — Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. — Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали...

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. — Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве...

— Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От этих слов у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год, — пригрозил председатель.

— Может, у нее, правда, не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы, лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять

нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

— Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех. — Председатель усмехнулся. — Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это давно запримечено.

— А ведь и правда, — удивленно согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше, из жизни.

— Я все у тебя спросить хочу, — сказал Кузьма. — Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Да оно и при чем и ни при чем — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма, — отмахнулся председатель. — Что теперь об этом говорить?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то решил бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. Вы

здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так, — словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. — Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало... — Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил: — Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Кругленькая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда — это знаешь что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно, — засмеялся Кузьма. — Смотри, как ты рассудил! — И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич. — Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь. — Евгений Николаевич осмотрелся. — Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

С порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом — невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для

кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни — значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои, — шепчет парень.

Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врет. По моему, не врет.

— А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень замирает, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим, — говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня...

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип. — Отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все непросто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком несладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и... такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма. — Найдет кого-нибудь.

— Пускай попробует, — зашевелился парень. — Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись...

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает?

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю, — осторожно говорит Кузьма. — Это тебе самому надо решать...

— Ну да. Я знаю, что самому. — Парень от волнения по-детски шмыгает носом. — Черт ее знает... — Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошелся. — Он хочет свести этот разговор к шутке: — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем не торопясь идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города остаются совсем пустяки.

Наступил третий день.

Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, — вот и этот, видно, будет ему как свой.

Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться, и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма. — Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало!

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги: это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй, — с вызовом ответил бухгалтер. — Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась. — Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время. — Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят? В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма наконец понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал.

Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только трешками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку,

в которой были трешки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты... — без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было, и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросал деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не может просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет.

И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали. — Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. — У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления.

Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти.

Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался.

Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал беспокоиться, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они по-

сылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги. Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте, — робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма, — быстро заговорила девочка. — Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу, — попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Еще что, дед, выдумаешь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу...

Кузьма молчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно. — Дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед. — Ну и вороти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уже не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло — он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать — пусть поплачет, теперь даже слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался,

не придется ли ему еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он падает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть.

Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат как спасение из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят в окна и не замечают его. Он ругает себя:

как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ

1



И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды — да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба — да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Всё на месте, да не всё так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах, и растворились ворота во дворы — их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары,

навесы, без пользы валялись жерди и доски — поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали — и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом, — было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмогой — понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога — ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко — Богодул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий манер — как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище.

Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: «Богохул», а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в Богодула. Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую сторону; везли по воде арестантов

и, завидев прямо на носу обжитой берег, тоже подгребали к нему, разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой — она была положе и ровней — и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой.

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой проточки; церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да незаемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху.

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли, и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой, и места потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе Матёры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже

новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

2

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли — концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

— Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. — Это Дарья Настасье. — Я уж в памяти находилась, помню.

— Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

— Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была — оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

— Я помню.

— Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матёру случайным ветром меньше десяти лет назад, — в Матёру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда — откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну, видела Москву, к чему в деревне, по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? В Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище Московишна. Оно ей, кстати, шло: Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась несладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную, и ту немую,

девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить — стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала в свое время в Матёру: услышав, что дед Максим остался бобылем, и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей всего деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили: «Хоть и Сима, да мимо», но Сима не обижалась. Обратно в Подволочную она не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола — тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз.

Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки, — не ребенок, а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали — он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.

— Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть?—удивлялась Дарья. — Че ты там за мной видишь — смерть мою? Я про нее без тебя знаю. Ишь уставился, немтырь, как гвоздь.

— Он не немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.

— Не немтырь, а молчит.

Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками.

Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на

ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама.

Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные, солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами.

Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось — ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай; неторопливое, желанное нарастание лета...

— Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит, — рассказывала старуха Настасья. — Осподи!.. А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: «Ты не плачь, Егор, не надо», а он: «Как мне не плакать, Настасья, как мне не плакать?!» Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит. Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.

— Че нас без пути пужать? — спрашивала Дарья.

— А чтоб непужанных не было.

После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается», хотя знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, стращал, пробовал учить — ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный, здравый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые люди старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

— Как там сегодня Егор — живой, нет?

— Ой! — радостно спохватывалась Настасья. — Егор-то, Егор-то... едва нонче не помер. У старого ума нету, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровушки.

— А теперь-то как — остановилась?

— Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмотрю, че с им.

А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки.

Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.

— Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник, — вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.

— Я всю жисть колхозу ондал.

— Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет.

Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело — лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, стращая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решился: если уж все равно ехать, то ехать... И отрезал Настасье:

— Чтоб к Троице была в готовности.

А до Троицы оставалось всего-то две недели.

— Зато никакой тебе заботушки, — не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасье Дарья. — Я у дочери в городе-то гостевала — дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь — вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом, нажмешь — жар идет. Вари, парь. Прямо куда

тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — они надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и доржишь, мучишься, чтоб за столом не услыхали. И баня... какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А ишо этот... телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, поговорели и опеть на боковую.

— Ой, не трави ты мое сердце! — обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. — Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!!

— Всех нас, девка, пересаживают, не однуе тебя. Всем тепери туды дорога. Только успевай, прибирай.

Настасья, не соглашаясь, качала головой:

— Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на отдельности. Вы, которые с Матёры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и будто дома. А я? Ой, да че говореть?!

— Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвечала Дарья. — Никого уж не остается. Погляди-ка, Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когда выбирать, ежли вино не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену...

— Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска... Околоток хороший наберется. Не мое кукованье.

— От и вся Матёра. Господи!

— А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, — заунывно подхватила Сима и опять притянула к себе Кольку. — Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и покатим куда глаза глядят, в море-окиян...

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей оставалась одна дорога — в дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие — Колька, в котором она души не чаяла. С мальчишкой в дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симина дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого, третьего, Валька вошла во вкус и так полю-

била это дело, что уже и сама без стесненья напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе в движении, которая началась теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности отыскать ее было нелегко.

— Если и найдется, Коляню я ей так и так не отдам, — говорила Сима. — Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке.

— Ты пошто его не учишь говореть-то как следует? — попрекала Дарья. — Он вырастет, он тебя не похвалит.

— Я учу. Он может говореть. Коляня у нас молчаливый.

— Пришибло мальчонку. Он все понимает.

— Пришибло.

Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар — большой, купеческий, старой работы, красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгов, струя — кипятку, стало быть, еще вдосталь, — и потревоженный самовар тоненько засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила себе — отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, заклanялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осторожно прихлебывая вытянутыми губами.

— Четвертый, однако, стакан, — прикинула Настасья.

— Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на своей городской фукалке в кастрюльке греть.

— Пошто в кастрюльке? Чайник налью.

— Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только.

И усмехнулась Дарья, вспомнив, что и в совхозе делают квартиры по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и Настасья. И зря она пугает Настасью — неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовар она не отменит, будет ставить его хоть в кровати, а все остальное — как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:

— Доведись до меня, взяла бы и никуда не тронулась. Пущай топят, ежли так надо.

— И потопят, — отозвалась Сима.

— Пущай. Однова смерть — че ишо бояться?!

— Ой, да ить неохота утопленной быть, — испуганно остерегла Настасья. — Грех, поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до нас укладали, и нас туды.

— Рать-то твоя поплывет.

— Поплывет. Это уж так, — сухо и осторожно согласилась Настасья.

И чтобы отвести этот разговор, ею же заведенный, Дарья вспомнила:

— Че-то Богодул седни не идет.

— Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал.

— С им грешно, и без его тоскливо.

— Ну дак, Богодул! Как пташка божия, только что матерная.

— Окстись, Настасья.

— Прости, Осподи! — Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно, со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова перекрестилась, повинившись на этот раз шепотком молитвы.

Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями и горланил в ограде петух, выходил под окно, важно ступая на крепких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами. В другое окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже запылавшей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью и гнилью. На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую, наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: живые или нет? Колька топнул на нее, курица сорвалась и зашлась, залилась в суматошном кудахтанье, не унося его далеко, оставаясь тут же, на крыльце. И вдруг заметалась, забилась в сенях, наскакивая на стены и уронив ковшик с ушата, в последнем отчаянии влетела в избу и присела, готовая хоть под топор. Вслед за ней, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батожком и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил:

— Кур-рва!

— Вот он, святая душа на костылях, — без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом. — Не обробел. А мы го-

ворим: Богодул че-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл.

— Кур-рва! — снова выкрикнул, как каркнул, старик. — Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!

— Кого грабют? Че ты мелешь?! — Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, будто остров сорвало и понесло как щепку, — надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно казалось вечным, с такой легкостью помчало в тартарары — хоть глаза закрывай.

— Хресты рубят, тумбочки пилят! — кричал Богодул и бил о пол палкой.

— Где — на кладбище, че ли? Говори толком.

— Там.

— Кто? Не тяни ты душу. — Дарья поднялась, выбралась из-за стола. — Кто рубит?

— Чужие. Черти.

— Ой, да кто же это такие? — ахнула Настасья. — Черти, говорит.

Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:

— Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит.

3

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно склоняясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом поспевала Настасья; ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

— Ты чего, ты чего, бабка?!

— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.

— Но-но, бабка. Ты это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты... вы... — Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. — Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?

— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить... — Дарья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! — Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла. — О-о-о! Разрази ты его, Господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет, — кинулась она опять на мужика. — Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты пред всем миром ответишь.

— Да отцепись ты, бабка! — взревел мужик. — Ответишь. Мне приказали — я делаю. Нужны мне ваши покойники.

— Кто приказал? Кто приказал? — бочком подскочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: — Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!

На шум из кустов вышел второй мужик — этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке, — вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился.

— Ты посмотри, — обрадовался ему «медведь». — Наскочили, понимаешь. Палками машут.

— В чем дело, граждане затопляемые? — важно спросил второй мужик. — Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

— Ну, оказия! — Мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

— И не щуренься. Ишь, прищуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили, аспиды?

— Че натворили?! Че натворили?! — подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на «медведя», бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катерина, и Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь «медведю» острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как на изготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломанные с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

— Че с имя разговаривать — порешить их за это тут же. Место самое подходявое.

— Чтоб знали, нехристи.

— Зачем место поганить? В Ангару их.

— И руки не отсохли. Откуль такие берутся?

— Как морковку дергали... Это ж подумать надо!

— Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.

— Кур-рвы!

Второй мужик, помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ:

— Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами.

— Врет, — обрывали его. — Тайком приплыли.

— Дайте сказать, — добивался мужик. — Не тайком, с нами представитель приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.

— Не может такого быть!

— Отведите нас в деревню — там разберемся. Они там.

— И правда, в деревню.

— Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.

— Никуда от нас не денутся. Пошли.

И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились; старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул, вприпрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рявкал — Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия — ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль, — толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу: один — Воронцов, председатель сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй — незнакомый, конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.

— Что такое? Что у вас происходит? — еще издали, на ходу потребовал Воронцов.

Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкались к цыганистому.

— Мы, значит, делаем что надо, а они набросились, — взялся объяснять ему молодой.

— Как собаки,— подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе Богодула. — Я тебе... пугало огородное...

Он не закончил, Воронцов перебил его и старух, которые на «собак» отозвались возмущенным гулом.

— Ти-ше! — с растяжкой скомандовал он. — Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?.. Они, — Воронцов кивнул на мужиков, — проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук — лицо официальное.

— А ежели он лицо, пущай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велит наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат — не звери. Как посмели над могилками галиться? Нам пущай ответит. Мертвые ишо сами спросят.

— Такие фокусы даром не проходят.

— Царица небесная! До чего дожили! Хошь топись от позору.

— Слушать будем или что будем?.. — повторил Воронцов, взяв тон покруче.

Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирятся. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:

— Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, — знал Жук силу таких слов, как «решение, постановление, установка», хоть и произнесенных ласково, — есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ... Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию...

Дед Егор не вытерпел:

— Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?

— Я и отвечаю, — дернулся Жук и от обиды заговорил быстрей: — Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди... Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом.

— А о нас вы подумали? — закричала Вера Носарева. — Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилу стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут... это когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов... — Вера задохнулась. — Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать...

— Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положение и не говорите. — Голос у Жука заметно потвердел. — Да восемь кладбищ полностью переносятся. Это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня лишнего времени нет.

— Ты арапа не заправляй. — Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся

все больше и больше. — Откулева пришли, туда и ступайте, — отправлял он. — К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявилися, работку нашли! За такую работку по ранешним бы временам...

— Да они что?! — Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. — Они, кажется, не понимают... Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

— Кур-рва! — высунулся Богодул.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:

— Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!

— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. — Ты сам тутака без году неделя. Сам турист... ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить — у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо мной не крыль. — Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. — И меня не зори. Дай мне дожить без позору.

— Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.

— Иди-ка ты!.. — понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.

— Это другое дело, — согласился Воронцов. — Так и запомним.

— Запоминай. Не шибко испугался.

— Защитничек нашелся.

— Много вас таких!..

— Убирайся, покуль до греха не дошло.

Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери — он отстранялся и брезгливо морщился, с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, — казалось, вот-вот он не выдержит и, по-цыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Катерина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя: «Нету таких правов, нету таких правов». Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала Тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой, и мол-

чаливо же показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный, основной голос, гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул рыкнул и замахнулся — случившийся дед Егор посоветовал верзиле:

— Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил...

— Уголовный, что ли? — заинтересовался верзила.

— Но-но.

— Я, может, сам уголовный.

— Ну, тогда спытай. Мы поглядим.

Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих. Через час все четверо отплыли с Матёры.

...А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки.

4

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре, — теперь уж казалось, что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. И верно, наберет в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и что требуется по хозяйству, не вдруг под руками, а Богодул уж тут, уж стучит: не надо ли этого, того? Надо, как не надо! И зазывали Богодула, поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и все пять, курицы у всех — яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, и кормился, пока носили ноги, вроде неплохо.

Или привечали Богодула в Матёре больше, или по другой какой причине приглянулся ему остров, но только, когда дошло до пристанища, Богодул выбрал Матёру. Пришел, как обычно,

и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало, отлучался ненадолго — видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то гнала, что-то вымаливала, но зимой оставался безвылазно: неделю проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане — там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою «фатеру», в колчаковский барак.

Много лет знали Богодула как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто Бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений. Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью, глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камней, ни колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость наросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей: прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб; увидев раз выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала ребятня, Богодул, недолго думая, подставил ей голую ступню — змея ткнула и не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву: всех пойманных змей доставляли Богодулу, а он, сидя на валуне возле своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая, как от щекотки, когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь, и блаженно приговаривал:

— Кур-рва!

Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски разговаривал он мало, это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же «курвой» и ее родственниками. Мужики, бывало, матерились почудней, позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью: он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, опадало по дороге, у Богодула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к

предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривал со старухами — правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку.

Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал, но только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать.

— Здорово, Дарьюшка! — гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.

— Драствуй-ка, — со сдержанной радостью отвечала она. — Пришел?

— Как Бог, — и мат.

Дарья крестилась на образ, прося у Господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась ставить самовар.

— Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! — кричала она через прясло. — Гаркни там Татьяну, пущай тоже идет.

А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъедала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего — черт его поймет, что за человек этот старуший приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, и верно как Бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех своим грешным, христарадным видом. Ворчали старики:

— От каторжник! (Жил слух, что Богодула в свое время сослали в Сибирь за убийство.) — Ворчали, но терпели: и со старухами лучше не связываться, и он человек все-таки, не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек, каких поискать по белому свету.

В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с переселением, Богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не касались, — или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом, и о чем ни заходил разговор, в какое бы время ни перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним — подступающим затоплением Матёры и скорым переездом. Богодул сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои донельзя заскорузлые ноги или, шумно гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел:

— Не имеют пр-рава.

— Да как не имеют, ежели имеют, — с досадой и надеждой набрасывались на него старухи. — Нас, че ли, спрашивать будут?

— Не имеют. Потоп... кур-рва... на людей... не имеют. Я закон знаю.

И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с требовательной злостью.

— Ты-то, христовенький, куда денешься? — с жалостью спрашивали старухи.

— С места ни ногой! — выкрикивал Богодул. — Японский Бог! Не имеют пр-рава. Живой, кур-рва!

— Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Че-нить с тобой доспеют, куда-нить отправят.

— Живой... кур-рва! — упирался он.

На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра — она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись и опустив меж колен сцепленные вместе, сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки. Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери, — новую магазинную мебель Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье, — покрякал-покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю, молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, не одним махом, поднимая на Богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь, глаза, будто не узнавала Богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь.

Утро было позднее и тихое, солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда в одно место для слуха, а оттекали в стороны. В нетопленой избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно — неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи; пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленного для скотины и невынесенного; с вечера не убрано было со стола, и все так же нетронуто стоял налитый вчера для Богодула стакан с чаем. Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил — Дарья шевельнулась и спросила:

— Новый, ли че ли, поставить?

Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за край дела, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила — безжалостно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь продолжала дальше:

— Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко — вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. Ниче, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали.

Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто повернула разговор:

— Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мене лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого — Господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! — Дарья глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку. — Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень — однуё меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.

Тятька говорел... у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо — живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь — нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто не обробел, не было и не будет такого разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя... я тамошняя, того свету. И давно навроде не по-своему, по-чужому живу, ниче не

пойму: куды, зачем? А живу. Нонче свет пополам переломился: евон че деется! И по нам переломился, по старикам... ни туды мы, ни сюды. Не приведи Господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешное время были люди, дак ить никто назадь себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на кажном шагу — нет, бегут... Куды там назадь... под ноги себе некогда глянуть... будто кто гонится.

— Японский Бог! — согласился Богодул.

Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

— Без чаю-то худо, — от удовольствия, что пьет его, признавалась она. — Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно... мочи нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее — окошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как вспомню про их... сердце оборвется и захолонет — нету. Я от себя качну — навроде раз, другой толкнется, подоржится и опеть... как на память найдет... опеть остановится. Ну, думаю, куды оне меня повезут, где спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дня полсажени земли искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище опосля все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стороне... далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем? Спасибо он потом отцу-матери за это скажет?

У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходила, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколько-то полежала, да как закричит лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у кого нету, руками без толку машем да чекаем: «Че, мамка, где, че?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела... Приподняли, посадили ее, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, где она навроде душила...

так и влипло. Тятька после говорил: «Это она на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась». Вот он у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на мельнице новый жернов, и он под его... нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли берегчись, да берегчись-то никак не умел, ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под Рождество, а его близко к этой поре, за Троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно.

На острову у нас могила есть... Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидел Матёру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра наша... пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру, быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву Христову». Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был... целые тыщи — то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря говореть...

Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал... он говорит: «Ты, Дарья, много на себя не бери — замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть». Раньче совесть сильно различали. Ежли кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не уродилась вмести с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и делал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь,

кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек». А он правда что простофиля: «Люди просют»... Ну запустил свое хозяйство... «Люди просют» — хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния — он туды свою голову... — Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: — Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу железную тумбочку привез, а сверху, как птичка, звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, какой ишо надо грех? — Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет — три протянула Богодулу и две оставила себе. — Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка: в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай Бог, ежли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету.

— Вино — ык! — подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел.

— Пущай его дьявол пьет, — согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. — Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без ее — бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в одну кучу — что одно, что другое. Поминают ее без пути на кажном слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же — вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако, что железная, ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, Господи! Че про совесть, ежли этакое творится!

Я ночесь опосле вечорошного не сплю и все думаю, думаю... всякая ахинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чёй-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу — до того напружилась от ожиданья... Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою — то ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че.

От страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там дверь брякнет, там брякнет — не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие — страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне... Закружили меня звездочки... навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унесли куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назадь поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа освятилась. «С чего, — думаю, — че было-то?» И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. «Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится», — навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.

У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно принимали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахакают, и хахакают на всю Матёру, а он сидит — голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет — откуль че берется? До улежки мужиков доводил. Но и работящий был, ой работящий! Где кол забьет, там че-нить да вырастет. Дак вот, Дунька, за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась, не в тятьку своего: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили — ну и одного как шпиена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить?

Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться каждый рад. У нас из веку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, бравые — не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры. Мамку мою тятька тоже привез откуль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: «Ой-ё-ёк». От с этого самого Ой-ё-

ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться — кругом Ангара. На Подмогу передти и то надо вплавь, а у нас там, на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой смерти. Мы над ей подсмеивались, нам-то Ангара — своя, с сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». Дак нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода — не нам однем, всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшний он был... он когды... щас... — Дарья растерянно запнулась, уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: — Он ка-ак: догонит все ж таки и мамку вода. А мне и не в ум... Он ка-а-ак...

Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках — везде, куда падал этот свет, казалось сиро и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник — ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжанием моторная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем неспокойней ей становилось. И сильней набиралась досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера... корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны.

Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:

— Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись — боле некуда. Тапери ты иди, ежли надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говореть... Наши разговоры как мякина — ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время...

— Дарья, куды? — строго вопросил Богодул, задирая голову.

Она на минутку замешкалась и отказала:

— Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.

Куда «туды» — она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню — ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища она не дошла; сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом — нет его, и не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий...

Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие острова, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матёре, свисая с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матёре так и называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили.

И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре — всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому ли и назвалась громким именем Матёра? И тихо, потаенно лежала она — набиралась соков раннего лета: на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими, за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с темными пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к Подмоге. Ближе леса и левей от дороги огорожена была с двух

сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, — там бродили коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (листвень — на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного вида или онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь, кора, и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне — остальное оборвал и вытоптал скот.

Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, — поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую опору — она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие — высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.

Видела Дарья на память и дальше — снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами — сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и не-

охотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда — оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба — досаждать другим. «Так ли? Так ли?» — со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.

... А там — тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот — колхозное стадо там и летовало каждый год, но как поднимется, задурит река — держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остов вознамерился обойти передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.

И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо, и кругом безгласно — молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный «царский листвень», слепо растопырив огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса; и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселения, — кладбище, пристанище старших...

Скоро, скоро всему конец.

Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Отступясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что «так и надо»? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней, — нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.

Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. «На море-океане, на острове Буяне...» — некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная молитва.

5

Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидала, что Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

— Подчистили картофку-то?

— Подчистили.

— Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли — надолго ли вам, едокам!

— Побольше-то издрябла бы, — отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.

— Издрябла? — удивилась Дарья. — Ты сказывал, там подполье есть.

— Есть, — кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. — Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай.

— Но-о. Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?

— А там досматривай не досматривай... у всех вода. Никакой Ангары не надо.

— Это че деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрежь лопатой в землю не ткнули, че в ей?

— По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.

— Ишо чудней.

И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова, и что изменится оттого, если кто-то знает, откуда они взялись? Был бы хлеб, был бы дом, и не было бы того, чтобы человеческое жилье ставили на слепые глаза!

Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтобы не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по весне, незадолго до Пасхи, ему сровнялось пятьдесят — был он у Дарьи теперь старшим, а по порядку вторым сыном: первого прибрала война. И еще одного сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел смерть на лесоповале за тридцать километров от Матёры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было, и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это бывает сослепу: на кого, не видя, падет — тот упадет; нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьей детей все трое успели вырасти и войти в жизнь — один годился для войны, другой для работы, третья — старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже родах, жила своей семьей. В Подволочной — значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле — кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше.

И столько же, трое, осталось у Дарьи в живых: дочь в Иркутске, сын из старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к Матёре, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что, чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого слова с ней не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба — что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение к родным и старикам, — самая первая для них важность.

Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверно, что заметил — пол не подметен, спросил:

— Как ты тут управляешься? Вера не приходит?

— Вера когда зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас запустила. Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась.

— Захворала, что ли?

— Дак оне че творят-то, Павел? Че творят-то? Уму непостижимо! — стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клокчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:

— Может, хоть деда с бабкой твоих перенесли бы... а, Павел? Кольцовы с собой увезли своих... два гроба. А Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, конешно, грех покойников трогать... Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! А ежели воду пустют...

— Сейчас не до того, мать, — ответил Павел. — И так замотался — вздохнуть некогда. Посвободней будет — перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.

И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом:

— Косить-то нонче будете, нет?

— Не знаю, мать. Ничего пока не знаю.

Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами.

Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе: пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и неближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами

и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар — так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера — шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так, еще бы — привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что, если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в цветочках-лепесточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтобы на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.

Это жилье. А рядом — тут же, во дворике, впритык к стене, огородик на полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине, — и это было тоже диковинно: отчего так шиворот-навыворот — не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород! Полторы сотки — курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно вожжались с конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался:

— Позволят... Дело не в стайке...

Понятно, что пуще всего дело в сене: на новом месте ни покосов, ни выгонов не было, и чем там кормить не только личный, но даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали; тайга на десятки верст гудом гудела от

машин, до угодий руки еще не дошли. Для того чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы да годы. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное «можно» больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые годы кормились-поились ею, и если есть все-таки это на одну зиму «можно»? Можно-то можно, но сколько, с другой стороны, в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться: как выкроить время, чтобы косить, — это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота и где ее понимали; как, накосивши, переплавить сено через Ангару, пока она не разлилась, и как там поднять его в гору. А если все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, перевезешь — куда его ставить? И куда опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле опустятся руки: пропади оно все пропадом.

Нет, этот последний, переломный год казался страшным. И особенно страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда, обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это «что будет» оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится, когда очутятся они в новой жизни и определится, кем им быть — крестьянами ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверно, легче, а пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным, крутым, не для всякого-каждого, вот как эти лесенки, по которым один поднимется шутя, другой нет. Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх — потому-то молодые легче расставались с Матёрой.

Клавка Стригунова так и говорила:

— Давно надо было утопить. Живым не пахнет... не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить — середь воды... как лягушки.

И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной постройке такие же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии.

— Подожгу, — грозилась она, приезжая из совхоза. — Мое дело маленькое. Не хочете уходить, хочете гореть — горите. А я из-за вас страдать не собираюсь.

Тем же — как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег — озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходили по Матёре и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку: «Памятник деревянного зодчества. Собственность Ак. наук». Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что за изба, какой редкостной и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней полати, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазея, а тут жилая изба — ну разве можно сравнивать? Пока это временная пластинка, там, в музее, будет другая: «Изба крестьянина из Матёры Петрухи Зотова...» — или нет: «...крестьянина из Матёры Никиты Алексеевича Зотова». Все станут читать и завидовать Петрухе — Никите Алексеевичу Зотову. При рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя, а в каждодневном своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на дощечке, на подписи он, как полагается, должен быть при полном величанье.

Но проходили месяцы и месяцы, люди, которые облюбовали Петрухину избу, не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс, половина компенсации за избу, был давно прожит и пропит, для получения второй половины требовалось, чтобы Петрухиной избы как таковой на месте не существовало. Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтоб «Ак. наук» забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею — черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке, — получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем попадя и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра — тысяча рублей,

целое состояние. Дело оставалось за небольшим — убрать избу. Не будь этой «Ак. наук», он бы мигом убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей можно было не тревожиться. Но «собственность Ак. наук» покуда его тоже удерживала. Печатными буквами пробито, что не его, не Петрухина, собственность — не напороться бы на неприятности. Вот как: изба Петрухина, а собственность не Петрухина — поди разберись, кто ей хозяин. И ему не дают, и сами не берут.

— Они у меня дождутся, — угрожающе кивал Петруха куда-то далеко поверх Ангары. — Дерево не железо, оно само может вспыхнуть. Потом спрашивай, чья собственность. Дождутся.

Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверно, кой-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали это, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено, тут даже смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто — как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там — полная тьма что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел и Дарья принималась расспрашивать его, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое неспособно вместиться в ее старые понятия.

— Баня, говоришь, на всех одна? — ахала она, пытаясь представить, что это за баня. — Ишо не легче! На столь народу одна?.. Свою-то нельзя, ли че ли, поставить?

— Где ее там ставить?..

— Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в эту оказину идти.

А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если она есть теперь, будет и на тот год — нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным настилом. Так на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля — курицы вскопают, и они же приберут.

Помянешь, ох помянешь Матёру...

6

А когда настала ночь и уснула Матёра, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек — Хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех

и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле. На то он и был Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться Хозяином — чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал.

Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел, что с вечера взошли и скоро погасли звезды. Быть может, они были где-то и теперь, потому что стекал же сверху серый сумрачный свет и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо, оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что они считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рисованных мыслях — только воспоминания. Мечтать никому не дано.

Ночь была теплая и тихая, и, наверно, в другом месте — темная, но здесь, под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчанье воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав которые можно было услышать и звуки острова: тяжкий, натужный скрип старой лиственницы на поскотине и там же глухое топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в деревне — непрестанное шевеление всего, что живет на улице, — куриц, собак, скотины. Но и эти звуки были для Хозяина громкими и грубыми, с особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что происходит в земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенной возне пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы.

Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью Хозяин повел свой путь по острову. Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороной, а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад, а мог добежать до конца или даже пробраться

на Подмогу и часами оставаться там, проверяя и ее жизнь, но никогда он не пропускал деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, Хозяин здесь он.

Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала Матёра: темнели леса, водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало, но словно бы подготовлялось к стуку и бряку. Дневное тепло выстыло, и от земли вставали прохладные, с горьковатыми протечами запахи. Откуда-то прорвался слабый и тяжелый дых ветра, охнул и осел — как волна, втянулся в песок. Но длинней и тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто спросонья, слепо мыкнула, как мяукнула, корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый куст, прижатый книзу другим кустом, наконец освободился от него и, покачиваясь, встал в рост. Хлипнула вода — или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба; по траве пробежала и убежала узкой полоской незнакомая рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей на поскотине, последний прошлогодний лист.

Хозяин направился в деревню.

Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится. В Матёре были постройки, которые простояли двести и больше лет и не потеряли вида и духа, эта едва прослужила полвека. И все потому, что не было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от холода и дождя и норовил скорей перебраться куда поприличней. Богодул тем более не хозяин, хоть перебираться ему никуда и не придется.

Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился его могучий, на два голоса, туда и обратно, храп, прислушавшись к которому Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матёре, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин, тоже последнее лето.

Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно своротом с носа острова натащило сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягивалась во всю свою ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим истанием, но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя.

Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. «Ток-ток-ток, — стонала изба, — ток... ток... ток...» Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь, к теплому дереву. Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо начинать. Все, что живет на свете, имеет один смысл — смысл службы. И всякая служба имеет конец.

Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там, за окнами, мутным истерзанным сном спал Петруха и спала на русской печи, и среди лета грея старые кости, мать его — Катерина. Катерина, Катерина... Кто скажет, почему у путных людей родятся беспутные дети? Одна утеха, что годы твои на исходе.

Там, где деревня пошла сплошным порядком, Хозяин замедлил свой бег, часто останавливаясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Он не боялся: ни собаке, ни кошке не дано его почуять, он не хотел пропустить то, что могло измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только под утро, но и тогда стонали без сна и мучились старые люди, напуганные и изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула.

Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами, но когда Хо-

зяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Были среди них нестарые, ставленные и тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и врасти в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под короткой летней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и солнца, потому что огонь — это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти.

Ночь нарастала, но была по-прежнему merклой, без теней. От близкой воды волнами доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, набранное за день, но сегодня оно было сдержанней и слабей, — верно, солнце завтра не выйдет.

Спала Матёра-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, — приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут последним зряшным видениям случайные отгадки.

Сейчас эти сны бледно вспыхивают за окнами, как дальние-предальние зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов: тяжко жалобились, рассказывая о последних днях, старухи.

Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево, к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней, в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию текущей реки, которое днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглохшей водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь острова.

Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а, набравшись до краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней Хозяин определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь.

Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.

Остров собирался жить долго.

7

И дни наступили длинные, пологие, ни конца, ни края, а все равно срок, назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не успели оглянуться, когда и куда проскочили последние две недели. И то уж Настасья после Троицы потянула три дня — кончились и они...

Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг, он казался удачливей, но от четверга было ближе к концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни, откуда трудней добираться.

Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь, — электричество в Матёре отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и матёринцы опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь, где взять для такого сна покою? Где взять недуми, нежити, чтобы уснуть? То и дело она спохватывалась, что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с причитаньями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы, натыкалась наконец на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко, Настасьино топтанье, как по жести, отдавалось в стенах, жалобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже: ставни не закрывали,

чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать! Давно кануло то время, когда просыпали, а что говорить про эту ночь!

Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, в межоконье — большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пензии». После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. «А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя». «Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай». «Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся — че ж делать! Я приеду — мы с тобой ишо повидимся».

В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку.

Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с Троицы она не выронила ни слезинки, будто и верно поняла наконец — все равно ехать, повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мокрыми глазами, все всхлипывала, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит, уставится на Егора — он обернется, а она:

— Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались...

— Тьфу ты, окаянная! — бесился он. — Сколева тебе одно по одному тростить?! Кому мы тутака нужны?! Кому?

— А как мы там будем?.. — И слезы. Через час-другой то же самое сначала.

Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакенщиков; дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупорили в праздник. Сидели вдвоем — вся семья. Дед Егор вообще в по-

следнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть от Матёры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей — все дома да дома.

Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось — она сказала:

— А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь... куда денешься?

— Давно пора скумекать, — обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго ли ее понятие.

— Ребят потеряли... где их теперь взять? — продолжала она с раздумчивой покорностью. — А мы вдвоем... может, ниче... Там, поди, тоже люди. Ну и че што незнакомые? Сознакомимся. А нет — вдвоем будем. Че ж теперь?.. Ты не плачь, Егор...

С этим он смирился: лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез как отрубило. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла:

— Ты не плачь, Егор. Че же теперь... Может, ниче...

Отошла последняя ночь в Матёре, встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро приклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им, тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собой свою Матёру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала беремя дров, вернулась и затопила русскую печку. Егор услышал и заворчал:

— Ты, никак, старая, совсем рехнулась?

— Нет, Егор, надо напоследок протопить, — торопливо возразила она. — Пущай тепло останется. Покамест шель-шевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять — ты че, Егор?

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток.

День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с Матёры. Ни соринки, ни хмуринки в огромном, яркосухом небе; солнце звонкое, жаркое. Для порядка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих, сморенный покоем; течение на реке смялось и сразу разгладилось. Под звонким, ярким солнцем с раннего утра все кругом звенело и сияло, всякая малость выступила на вид, раскинулась не таясь. Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной

зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикидывать урожай — хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не надсаживаясь, подступающую день ото дня работу — так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь.

Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, потому что торопились, рассиживаться было некогда. Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили — не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный — тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а что там с ним делать? — в сердцах приказал освободить стол, хотя поначалу собирался везти его в последнюю очередь. Кроме стола из обстановки брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две табуретки и посудный шкафчик. Курятник, лавки, топчан, еще один стол, русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях — все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна... А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех топоров брали только один), точило, железная печка, тележка, санки... А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи снасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И никому не продашь, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? Бросать жалко, а в новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила в багажную кучу — дед Егор кричал:

— Куды? Куды? Мать-перемать.

— Нет, Егор, ты погляди: совсем доброе корыто. Как новое ишо. В ем воду можно держать.

— Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать... На што тебе ее держать?

Но сам он взял с собой и ружье, старое, тульское, шестнадцатого калибра, и весь, какой был, припас к нему, хоть тоже со-

мнительно, чтобы ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не корыто, с ним расстаться он ни за какие пряники бы не смог. Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: «Куды?» — но Настасья решительно отказала:

— Нет, Егор... кудельку когды потянуть... как без прялки?

— Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперичи одинакая. Где ты ее возьмешь?

— Нет, Егор... — уперлась и отстояла прялку.

Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая, под груз, лодка. На ней и предстояло старикам сплавиться в Подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пинигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись, до пристани своей моторкой, но дед отказался:

— Через Ангару, так и быть, перетяни, а тамака своим ходом. Куды нам торопиться? До пароходу помаленьку сползем. Хучь Ангару в остатный раз поглядеть.

Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к чему-то с жалостью прислушиваясь и присматриваясь, поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь.

— Настасья! — позвала она, не зная, дома та ли нет.

— Ниче, ниче, Дарья, — отозвалась Настасья. — Ты заходи. Мы с Егором поедем. Люди живут...

— Собралися? — спросила Дарья, входя.

— Ага. А Егор пла-ачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю: «Ты не плачь, Егор, не плачь...» — Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь узнала ее, и, вздрогнув, умолкла — пришла, значит, в полную память. — Ниче, Дарья, — виноватым шепотом сказала она. — Ты видишь... это уж так... — и показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может. И жалобно попросила: — Ты уж, Дарья, не поминай меня сильно худо...

— И ты меня... — дрогнувшим голосом, промокая платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей.

— Помнишь, у нас ребята были?

— Как не помню?!

— А где их теперь взять? Одне. Я говорю Егору: «Поедем, Егор, нечего ждать, поедем», а он... — Она осеклась, бессильно

опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно — виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя, нет такой помощи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в окна льется уже никому не нужный свет.

Настасья вспомнила:

— Че я хотела тебя просить, Дарья. Едва не забыла. Возьми к себе нашу Нюню. Возьми, Дарья.

— Какую ишо Нюню?

— Кошку нашу. Помнишь нашу кошку?

— Ну.

— Она щас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала и не идет. Возьми ее, покорми до меня.

— Дак у меня своих две. Анфиза тоже подкинула — уезжала. Куды я с имя?

— Нет, Дарья, Нюню надо взять, — заволновалась Настасья. — Нюня — ласковая кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жисть ее не оставила, а Егор говорит: на пароход не пустют. А ну как взаправду не пустют — пропадет Нюня. Тебе с ей никакой заботушки, она ниче и не ест, рази капельку когды бросишь...

— Господи... с Нюней со своей... Попадется на глаза — возьму, не попадется — как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.

— Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на ее, и меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назадь ее... Ее вот без меня поддержать, чтоб с голоду не околела.

— Ты-то правду приедешь?

— Дак а мы без картофки-то как будем? А ну ежли зиму ишо придется не помереть — как без картофки? — Казалось, Настасья говорила это кому-то другому — Дарье она сказала, потеряв голос до стона: — Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые?

Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор, и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили — не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал:

— Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один пыжиться.

— Куды один... — махнул дед рукой. — Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голова. — Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью.

— Ниче, Егор, ниче, — не расслышала она, кивая чему-то своей большой головой и озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая.

Сундук повез Павел; дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не свалился, за медное крученое кольцо. Павел же помог перевезти остальное и сгрузить все в лодку, потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах, — его было достаточно. Прикатили обратно тележку, дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустив оглобли на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену.

По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили — двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в совхоз — разбогатели — куда с добром! Но телка паслась на Подмоге — хорошо хоть ее не увидать. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без рук — все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога.

Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасьей, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла отыскать себя — ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом вынесли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась Настасья, она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка.

Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.

— Отчальную, что ли? — неуверенно спросил Павел. Нужно было сказать что-то еще, и он добавил: — Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья.

— Заживе-е-ом! — Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.

Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предупредил:

— Недолго, суседки. Надоть трогаться.

Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем винились, в чем оправдывались, не знали — тем более этот незнамый грех нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась; если уж понесло, потащило куда-то — что камешки на берегу считать: они на берегу.

— Самовар-то с собой берешь? — спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у порога самовар.

— А как? — закивала Настасья. — Не задавит. Я его Егору не дала везти, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну.

— Пошто нельзя? — О чем-то надо было говорить — говорили.

— Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая.

— Нам тепери ни одна примета не подойдет, — отказала Дарья. — Мы для их люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь в гроб положить. Как мы там без самовара?

— Там-то он нашто тебе?

— Чай пить — нашто ишо?

— А мы с Егором поедем, — сказала Настасья, перебивая этот пустой, по ее понятию, разговор. — Может, ниче... Сейчас и поедем, все уж на берег свезли.

И, будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал, что пора трогаться.

— Вот, поехали, — обрадованно всполошилась Настасья и первая выскочила из-за двора. — Я говорела... Идем, идем, Егор! — крикнула она, как-то сразу вдруг переменившись, чего-то испугавшись. — Погоди меня, Егор, не уходи.

Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух, с молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась на пустой угол, вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина. Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких случаях действа, но она, вконец потерявшись, ничего не пом-

нила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены — где он всегда закипал, и, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась — Егор выходил уже из ворот — и закричала что было мочи:

— Его-ор!

Он запнулся.

— Егор, ключ куды?

— В Ангару, — сплюнул дед Егор.

И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья непонимающе, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед.

— Давай сюды, — прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке. — Пущай у меня будет. Я тут буду заходить, доглядывать.

— Ворота закрывай, — не забыла Настасья; она словно бы улыбалась или усмехалась, лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону. — А то скот наберется, напакостит. Это уж так.

— Мне тут рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этом не думай.

— А мы с Егором поедем...

Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Настасья с Егором отплывали с Матёры. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами вспыхивала, играя, Ангара, в них со свистом бросались с лету и терялись в искрении стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило глубоко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе.

Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно. И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали уже не сдерживаясь. Испуганный их слезами, громко плакал Симин мальчишка. Настасья по очереди подавала старухам руку — по-другому прощаться она не умела — и, тряся головой, повторяла:

— Ниче, ниче... может, ниче...

Дед Егор поторопил ее.

Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.

— А Егор пла-ачет, плачет... — начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды — направо, налево и прямо — поясно поклонился Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее.

— Настасья! Настасья! — кричали старухи.

— Ниче, ниче, — стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завыла.

Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде, их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир; Павел завел мотор — лодку со стариками дернуло и потащило — все быстрей и быстрей, все дальше и дальше вниз по Ангаре.

Ненадолго еще раз открылась на повороте Матёра-деревня и тут же скрылась.

8

Подступила и эта ночь, первая жаркая и яркая ночь на Матёре. Потом их будет много, в сентябре, ближе к концу, запылают ночи одна за другой, и далеко по сторонам озарится Ангара, провожаемая огромными, будто в честь ее нарочно запаленными, огнями. Но эта ночь была первой, и вышла она на Матёре задолго вперед остальных.

В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывший от начала до конца тут же и догадавшийся, несмотря на суматоху, засечь время, доводил затем до сведения матёринцев, что хорошая, сухая, выстоявшая изба горит два часа. В деревне мало кто сомневался, что вспыхнула она не по какой другой причине, как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил, что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине, перевозиться: будто не сегодня завтра нагрянет за избой музей. Перевозить было особенно нечего. Петруха был из тех богатеев, кому как в баню идти, так и переезжать. Корову продали еще два года назад, последнюю живность, подростка поросенка, закололи в апреле, когда стол опустел подчистую; старуха Катерина собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их к Дарье. Как раз за день перед пожаром и перенесла: Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой, и Ка-

терина от греха подальше, чтоб не скандалить с ним, убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на Матёре дни. Оно и верно, веселей, так и так днями старухи сбивались в кучу вокруг Дарьи. Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила уверенней и серьезней, с нею считался сын, человек не последний в совхозе, ей было куда приклонить голову после затопа, и даже с выбором: захочет — поедет в одну сторону, захочет — в другую; а кроме того, Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае умела постоять не только за себя. В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которых стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха — место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером. В том особенном положении, в каком оказалась Матёра, Дарья ничем не могла помочь старухам, но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна, а предложи им кто смерть всем в одночасье, друг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься — с последней радостью они бы согласились.

Под эту ночь Матёра утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, а их в Матёре, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще при свете, когда он затихал и замирал, скатываясь за Ангару, куда ушло солнце. Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с одной стороны, охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой — не терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне. Легли, как обычно, рано; Катерина впервые уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход, и этот малый, перед большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей донельзя горько и тошно, всякое слово казалось неуместным и ненужным. Дарья, понимая ее, не лезла с разговором; под вечер приходил Богодул, но с ним тоже не разбеседуешься, потырками, помырками, чтоб совсем не молчать, и Дарья спровадила старика. Себе она постелила на русской печке, там она больше всего и спала и зимой и летом, влезая на печку через голбец, а Катерина устроилась на топчане в переднем углу. Для Павла, когда он будет приезжать, оставалась деревянная кровать.

Легли и затихли. Катерина не знала, уснула она или, молясь ненадежными мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили — сначала в окно и тут же в дверь, и Богодул за дверью (все недобрые вести приносил Богодул) сипло и раскатисто закричал:

— Катер-рина! — Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него вместе два нормальных слова. — Катер-рина, горишь! Кур-рва! Петр-руха!

Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край Матёры, плясали огненные сполохи, огонь казался настолько близким, что Дарья со сна перепугалась первым страхом:

— Господи! Мы, ли че ли?!

Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке, вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лбом о стенку:

— Ну, бесовый! Ну, бесовый! Как знала! Как знала! Царица небесная! — Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда — домой, что еще только вечером было ее домом. Богодул, заторопившийся было за ней, с полдороги переиначил и повернул на нижний край добуживать деревню.

Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой возможности отбить ее от огня, да и не было в этом нужды. Один Петруха метался среди молча стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей и пытался рассказать, как он чуть не сгорел, как в последний момент проснулся «от дыма в легких и жара в волосах — волоса аж потрескивали». «А то бы хана, — повторял он с усмешкой. — Ижжарился бы без остатку, и не нашли бы, где че у меня было», и, присаживая голову, заглядывал в глаза: верят, не верят? От него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно не рассчитывал на веру, он знал Матёру, знал, что и его знают как облупленного, а потому допускал и свою, невольную вину. «Я вечером печку топил и лег спать, — лез он с никому не нужными объяснениями. — Может, уголь какой холерный выскочил, натворил делов», — и опять принимался рассказывать, как он спасся. Для него только это и было важно — что он сам мог сгореть и лишь чудом уцелел, он так уверился в этом, что, рассказывая, добивался у себя слезы и дрожи в голосе — того, что требовалось для правды. Про печку и уголь он здесь же и забывал, и грозил: «Узнать бы, какая падла чиркнула, я бы...» — точил кулаки, пристукивая ими один о другой, как точат ножи. Или он опьянел от пожара, или с вечера еще не просох окончательно, но казался Петруха нетрезвым и пошатывался, оступался; лохматый и грязный, был он в майке, одна

лямка которой сползла с плеча, и в сапогах — обуться все-таки успел старательно. К тому же Петруха успел кое-что выбросить из огня: на земле валялось ватное лоскутное одеяло, старая дошонка и «подгорна» — гармошка, которая в Петрухиных руках знала только: «Ты, Подгорна, ты, Подгорна, широкая улица, по тебе никто не ходит — ни петух, ни курица...» Петруха все хватался за нее и все переносил с места на место, подальше от жара; люди тоже отступали, когда припекало, но не расходились и не сводили с огня тревожных, пытающихся что-то рассмотреть и понять глаз.

Тут была вся оставшаяся живая деревня, даже ребятишки. Но и они не гомонили, как обычно; стояли завороженные и подавленные страшной силой огня. Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где — с какой стороны подбежала каждая и уперлась перед жаром. Как никогда, неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми; длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала, заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь в ее сторону, — на нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право кричать, узнали, молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной — и остальным сделалось спокойней, что Дарья там, рядом, что она, понадобится если, удержит около себя Катерину и что они, стало быть, могут оставаться на своих местах. Но и Катерина, поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза и не убирала их больше с того, что с малых лет было ее домом.

Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг в друге надобности. Всегда так: при неприятном, постыдном событии, сколько бы много ни было вместе народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один — легче затем освободиться от стыда. В душе им было нехорошо, неловко, что стоят они без движения, что они и не пытались совсем, когда еще можно было, спасти избу, — не к чему было пытаться. То же самое будет и с другими избами, скоро уж, — Петрухина первая. И они смотрели, смотрели, ничего не пропуская, как это есть, чтобы знать, как это будет, — так человек с исступленным вниманием вонзается глазами в мертвого, пытаясь заранее представить в том же положении, которого ему не миновать, себя.

Настолько ярко, безо всяких помех осветилась этим огнем судьба каждого из них, та не делимая уже ни с кем, у близкого

края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом, — будто было это давным-давно.

Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все — стены, сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей спячиваться; лопались и плавились стекла; изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с фуканьем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием — в нем светились ближние, начинающиеся улицей, избы и тоже как горели, охваченные мечущимися по дереву бликами; им озарялась Ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияла открытой раной с пульсирующей плотью; бугор за дорогой, который то выхватывало из темноты, то снова задвигало в нее пылающим сиянием, казался бурым, опаленным. За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскаленные угли; высоко поднимались и отлетали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело, переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, загнулась в сторону деревни — там, там быть пожарам, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля рухнула, огонь опал, покатились верхние горящие венцы — люди вскрикнули и отскочили. Катерина снова заплакала навзрыд, невидяще кланяясь поверженной избе, которую ненадолго окутало дымом, пока передохнуло, отдыхиваясь и отрыгиваясь, и с новой силой направилось пламя, из которого частями выхватывалась, будто плясала, русская печка. Огонь полез по забору во двор, но и тут не захотели его остановить — к чему двор без избы? Кто станет спасать ноги, оставшись без головы?

Когда верх избы рухнул и не стало избы, внимание людей к огню ослабло. По какому-то точно наущению они оглянулись на Петруху. Они оглянулись и на Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже большей жалостью, но на Петрухе они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь? Доволен или испуган? Петруха стоял, теребя руками голую грудь и неспокойно подергивая головой: пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уже, с той поры, как прибежала мать, терзало, что она не подошла к нему, не спросила и не обругала, не пристыдила, она будто совсем забыла о нем, отказалась от него, поэтому Петруху подмывало подойти самому и напомнить, что он здесь, посмотреть, как поведет себя мать. И теперь, обо-

злившись, он решился и, подойдя, сказал — да такое и так нахально, грубо, что и сам испугался:

— Мать, дай закурить.

Она непонимающе и все еще всхлипывая подняла на него лицо.

— Ты же нюхаешь табак, я знаю. У тебя должон быть, — не остановился Петруха. Дарья расслышала.

— Я те щас закурю! — негромко, но властно пригрозила она. — Я те щас головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он ишо над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не взялась!

— Хек! — только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту.

Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями. Курились на траве и дороге отлетевшие головешки. Деловито, без страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлел и огонь.

Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь кругом: вот и нарушился порядок Матёры, с одного края деревня оголилась, и теперь этот край беззащитен. Верно, отсюда и пойдет огонь дальше, ничем, никаким миром от него не спастись...

Об этом и говорила Дарья Катерине, успокаивая и уводя ее с пожарища. У всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала первой — легче будет потом: не страдать, не мучиться в ожидании своего огня и, дождавшись, не смотреть на него, обжигая сердце. Она свой черед прошла.

И верно, огнем изба горит недолго, два-три часа, но многие еще дни курится, не остывая, избище и остро пахнет горелым, но не выгоревшим до конца, ничем не убиваемым жилым духом.

Хозяин в эту ночь рано вышел на пост, загодя выбранный на ближнем бугре, откуда было удобно и безопасно наблюдать пожар. И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца, и тут же вернулся обратно.

Он видел, как замерцала изнутри изба, сначала прерывистым, слабым сиянием, которое все набиралось и набиралось, пока окна не залило сплошь играющей краской. Хозяин смотрел, и сквозь стены видя то, что творится внутри. Огонь долго прихватывался за плотный и гладкий, веками вышорканный пол и никак не мог зацепиться за него, соскальзывал и смазывался — и вдруг, углядев, ринулся на тонкую дощатую заборку и легко выскочил по ней наверх. Затрещали, накаляясь, стены, и то ли от жара, то ли от постороннего вмешательства мягко хлопнуло, как пролилось, стекло в выходящем на Ангару окне. Оттуда, будто поддувалом, плеснуло свежим воздухом, и огонь, свободно вдохнув, загудел и пошел гулять по всей избе, подбирая любую горящую мелочь и продолжая накалять потолок и стены.

Хозяин видел, как бежали люди, как метался на виду у первых прибежавших Петруха, размахивая руками и показывая ими на объятую пламенем избу. Вся жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и оно горело без страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон. Высоким заревом вспыхнула крыша, свет достал и до Хозяина, которому пришлось ползком выбираться в темноту.

И пока изба горела в рост, Хозяин смотрел на деревню. В свете этого щедрого пожарища он хорошо видел блеклые покуда, как нарисованные, огоньки над живыми еще избами — только он мог их видеть и видел, отмечая, в какой очередности возьмет их огонь. И он видел возле них чужих людей — их было много. Подняв глаза еще выше, Хозяин увидел дымы над матёринскими лесами, и дымы эти без ветра долго носило прощальными кругами по острову.

Горела Подмога...

Он видел дым над кладбищем, тот самый, который старухи не дали добыть...

Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после... и после...

Но он видел и дальше...

9

Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро поправлялся с делами и обратно. Эти беспрестанные

поездки туда-сюда изматывали его, он поднимался с берега усталый и молчаливый, он и вообще-то не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык. В колхозе Павел работал бригадиром, потом завгаром, с делом справлялся, а какое место определят ему в совхозе, он еще толком не знал, да и никто, похоже, этого не знал. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство, — куда растолкать многочисленное прежнее колхозное чинство, людей из среднего и высшего звеньев, познавших хоть маленькую, да власть, с которой не вдруг слазь, научившихся командовать и разучившихся, само собой, работать под командой. Павел готов был идти куда угодно, он на себя много не ставил, но он видел, как снуют, оглядываясь друг на друга, охочие до должности люди, с какой растерянностью и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не ведая, куда, к тем или другим, их занесет. Павла покуда поставили на ремонт техники, назначив бригадиром, и сначала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался третий. Это значит — спросить будет не с кого, а спрашивать есть за что: техника, и старая и новая, без дорог и забот ломалась, запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успело развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался отказ, за отказом переуказ. То же самое получалось у них, у бригадиров, с рабочими — те не знали, кого слушать. Не работа, а нервотрепка. И лучшего нельзя было ждать, пока совхоз полностью не вытащит из Ангары ноги, не подберет весь народ и все хозяйство и не определится, не устроится новая жизнь.

Когда Катерина перебралась к Дарье, стало поспокойней и Павлу: вместе старухам будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и побормочет не поперек разговора. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы, на сенокос и уборку, сюда, в Матёру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить и отпустить под воду остров, — ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью: «Там видно будет», и он не особенно надеялся, что с ним согласятся. Но он, верно, не очень и настаивал, боясь, что после уборки хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку — сжигать постройки. Кто-то должен потом будет браться и за такую работу, но Павел и представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет спустя люди будут вспоминать: «А-а, Павел Пинигин, который Матёру спалил...», такой памяти он не заслужил.

Приезжая в Матёру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время: будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матёры не отлучался. Поселок этот стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. К кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его — хороший поселок, но мало ли их, хороших поселков, на белом свете? Дом у него здесь, а дома, как известно, лучше. Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он поднимался на яр и открывалась перед ним родная деревня со всем тем, что знал и видел он с самого детства. Приплыл — и невидимая дверка за спиной захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все последние перемены.

А что перемены? Их не изменить и не переменить... И никуда от них не деться. Ни от него, ни от кого другого это не зависит. Надо — значит, надо, но в этом «надо» он понимал только одну половину, понимал, что надо переезжать с Матёры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, да поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести. И когда, собираясь вместе, маракуя, что к чему, старались догадаться мужики, зачем, по какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный склон сопки, ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла. Поставили — и хоть лопни! Будто, как в старых сказках, пустили наугад стрелу, и куда ветер ее занес, туда и пошли. Объяснение простое: не для себя строили, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить. Считалось, когда привязывали этот новый поселок, что есть в комиссии свой человек, который постоит за интересы жителей, — директор совхоза, но этот «свой» со стороны явился и куда-то на сторону тут же и провалился, едва успев поставить согласную подпись. Он бы так же спокойно поставил ее и под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывают, что даже начальник ГЭСстроя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматерился и признал, что, будь его воля, он ни за чем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уже было сделано, деньги угрохали, и деньги немалые, изменить что-то стало невозможно. Жизнь, на то она и жизнь, чтоб продолжаться, она все перенесет и примется везде, хоть на

голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится если, то и под водой, но зачем же без нужды испытывать ее таким образом и создавать для людей никому не нужные трудности, зачем, заботясь о маленьких удобствах, создавать большие неудобства? Вот о чем думал и что пытался понять Павел. И не мог понять. А поэтому и не мог полностью принять этот новый поселок, хоть и знал, что жить в нем так или иначе придется и что жизнь в конце концов там наладится.

Надо — значит, надо, но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы? Не больно терять это только тем, кто тут не жил, не работал, не поливал своим потом каждую борозду. Вот оно — гектар новой пашни разодрать стоит тысячу рублей; на него, на этот золотой гектар, посеяли нынче пшеничку, а она даже не взошла. Сверху земля черная, а подняли ее — она красная, впору кирпичный завод ставить. Пришлось пересевать люцерной по пословице «с паршивой овцы хоть шерсти клок», и неизвестно еще, уродится ли люцерна. Кто знает, сколько надо времени, чтоб приспособить эту дикую и бедную лесную землицу под хлеб, заставить ее делать то, что ей не надо. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились, и на север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня!

«Нет, старею, видно, — ставил себя Павел на место. — Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. Построили поселок тут — тут ему и следует стоять, это его единственное возможное место. Все, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля — привезут тебе хлеб, готовенький, смолотый — испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! Молока не станет от собственной коровы — привезут и молоко, чтоб не возиться тебе с этой коровой, не хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку, луковку — всё привезут... А где возьмут — не твоя забота. У нас поселок городского типа — вот и будет в нем, как в городе, ничуть не хуже. Деньги за разодранную пашню, за то, что будешь сеять-пересевать ее, ты получишь, на деньги эти, что потребуется, купишь. Вот какой выстеклили магазин — любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий...

А плохо станет здесь — уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана.

Старею, — признавал он. — Постарел уж — чего там! Считаю, что мать по недомыслию хватается за старое, а далеко ли и сам ушел от нее? Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и уверенности никакой нету. Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что ли, такой? Не успеешь разгадать одну загадку, наваливается вторая, еще похитрей. Но мать-то свой век отжила, а тебе еще жить и работать. Не понимаю, что ли, что новое на пустом месте не построишь и из ничего не возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды? Прекрасно понимаю. И понимаю, что без техники, без самой большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый это понимает, но как понять, как признать то, что сотворили с поселком? Зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Сколько, выгадывая на один день, потеряли наперед — и почему бы это не подсчитать заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как живется, и плыть, как плывется, да ведь на том замешен: знать, что почем и что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек».

А возвращался в поселок, заходил в свой дворик, к которому волей-неволей успел прилипнуть, и смирялась душа: жить можно. Непривычно, неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да оно квартирант и есть, потому что дом не твой и хозяином-барином себя в нем не поведешь, зато и являешься на готовенькое: дрова не рубить, печку не топить... Воду, верно, носить еще приходится, но обещают и воду на дом. Что и говорить — жизнь настала облегченная. Пришел с работы, умылся и можешь полеживать, в потолок поплевывать, никаких забот, никаких переживаний... Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой рост, без твердости и надежности, будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и сорвать, — ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался?

Ничего, привыкнет и к этому...

Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом — в квартиру теперь надо говорить, не в дом, — как вошла, ахнула, увидев сверкающую игрушку — электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, которые и белить, оказывается,

не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней сидяк, пока, правда, без воды, бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны полностью застекленную веранду — будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям — как у них, взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привезти и что придется покупать, раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная, предовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А ведь тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не вожжалась, красивой жизни не нюхала, но вот поди ж ты — распушилась, откуда что и взялось? Как жареный петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не носиться как угорелой со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками. У Сони к тому же две сестры в Иркутске: одна, выйдя замуж за человека расторопного и удачливого, работающего по снабженческой части, жила как барыня, в квартире своей чего только не имела, и Соня немало ей завидовала. Приезжая из города, когда удавалось вырваться, недобро смотрела на ухваты да чугунки, а однажды попробовала сманить в Иркутск и Павла. Ей там нагородили с три короба, как хорошо да ладно, культурно да уважительно, свояк по снабженческой части посулил пристроить куда-то и его, Павла, — она и растаяла, поддалась, полетела чуть ли не укладываться. Павел тоже едва не дрогнул, потому что как раз пошли слухи о затоплении и переселяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город хорош, а кого матушка-деревня взрастила да до старости довела — сиди уж, не рыпайся. А вышло, что и ехать в город ни к чему, город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла успокоиться, а то нет-нет да попрекала мужика. Из грязи вылезли, в князи пошли...

Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает. Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку — все не завезешь, как ни старайся, спохватятся, что и без коровы трудновато, на общественное стадо надейся, а свою коровку держи — и, как великий дар, дадут позволенье: держи, кому надо, городи, коси, пурхайся с темна до темна, если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем, уж другую привычку народ возьмет.

Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее — за-

бьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И, будто не собираясь никуда, она почти и не расспрашивала его, что там да как, а когда он проговаривался о чем-то сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над далекой и посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка, где люди, говорят, чтобы не маять ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме Матёры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда придется все-таки ее с Матёры увозить.

10

Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери не оставил, Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было, а стала разбираться после огня — то сгорело, это сгорело... Больше всего убивалась Катерина по самовару; она, переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до другого дня — после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина.

Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самовара в дому не будет, теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавия — это уже не стол, а так... кормушка, как у птиц и зверей, ни приятности, ни чинности. Из веку почитали в доме трех хозяев — самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, с их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи (она, печь-то, не сгорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник — да белый свет, что ли, ею обогревать?). Хозяина у Катерины после отца не было никакого.

У Дарьи, у той в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу, она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое рука поднялась?

Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее, и, когда Дарья подступала вплотную и надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась:

— Беспутный, дак че...

И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без крова и хлеба, — один охранный, всепрощающий смысл: мол, такой он у меня уродился, что с него взять?!

— Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. — Всюю жисть ты так. Всюю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, — с досадой спохватывалась она, — в воду он тебя, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею... чтоб не всплыть тебе.

— А он может, — вздыхала Катерина. — Беспутный, дак че...

— Вот и поговори с ей, — всплескивала Дарья руками. — Я ей про дело, она — про козу белу... Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! — вот дал Господь кормильца...

Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, матёринского, мужика Алеши Звонникова, теперь давно уже неживого, убитого на войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало, он и до работы был охочий мужик, и имел же что-то особенное, если смирилась с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице и оживала, как от вина, глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что видела она там, еще теперь согревало ее. И говорила она об Алеше, как о своем, и в Матёре она имела на это право, потому что Алешина семья после войны съехала с острова.

Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно, в деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алеша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и сено, поднимал завалившееся прясло. Так, на две семьи, и жил года три или четыре, пока не свалилась война,

и в Матёре к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алеше особенно и не посудачишь — всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. «А я таковский, — любил он прихвастнуть, — меня не перетакуешь». И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: «Ну ишо один Алеша Звонников объявился».

Вот эту легкость, разговорную тороватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но если у того она была не на пустом месте — за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное, — то у Петрухи вышло все наоборот. Работник он был аховый: за что ни возьмется — все через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину. Где надо смекалку показать — только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький «Беларусь» на больших колесах — он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил, гоняясь за кошками да собаками, у себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет — так за руль, и пошел кружить, только щепки во все стороны. Катерина выскочит: «Ты че творишь, Петруха? Опомнись — че ты творишь, куда ездишь?! Тут для того, че ли, место сроблено, чтоб ты его давил?» Он отмахнется: «Ниче ты, старая, не понимаешь. Так полагается. Такая разнарядка на севодни» — и дальше, а Катерина и отойдет в раздумье: кто его знает, может, и верно, полагается, чтоб научить трактор ровно ходить по полю, не выскакивать из борозды.

Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним — он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз — колхоз, умирая, мог быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.

Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали

от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра — это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему Север с большими рублями... Но до Севера только доехать надо терпение иметь, а у Петрухи его не водилось ни капли.

Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека. Боялась Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухино сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:

— Дак ежли он такой и есть — че с им самдели? Голову на плаху?

— А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? — подхватывала Дарья. — Он избу сжег, ты ему слово сказала?

— Сама говорела: так и этак бы сожгли...

— Да не своёй же рукой! Как она у его не отсохла, что спичку чиркала?! Это надо камень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил! Ну!

— Он, может, самдели невзначай.

— Вот христовенькая, вот христовенькая! — приходила Дарья в восхищенье. — Ишо бы — конешно, невзначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил — золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал — эва че придумали про мужика. Невзначай, невзначай...

Катерина умолкала.

— А как такие люди получаются? — пыталась она понять — не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. — Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому — дак ежли он уродился такой. Он маленький был, ниче не хотел понимать. Глаза заворотит — и хошь говори ты ему, хошь кол на голове теши. Много ты с ребятами возилась?

— Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне.

— А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже... не до баловства было. В запустенье, правда что, не ходил. Старалася. Я погляжу на Клавкиных ребятишек... лучше самдели с мачехой жить. Родная она мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету — на подзатыльниках да на кусках, бедные. А какие славные ребятишки, ласковые, послушные... С чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?

— Н-ну, — хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.

Речь шла о Клавке Стригуновой.

— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая лупцовка не берет — был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат — на пользу, другого — на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь руки ты об его обломай, хошь испечалься об нем — он свое возьмет. Никакой правью не поправишь. Так, че ли? Ты говоришь: я не спрашиваю с его. Царица небесная! Я надсадилась спрашивать. А тепери самдели отступилась, вижу, что без толку. Теперь какой есть, такой и есть. Вся злость вышла... жалость одна, что он такой. Дак не на плаху же, самдели? Пущай как хочет. Ему жить.

— Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо.

— А-а, че будет, — отмахнулась Катерина. — Мы уж тепери так и так не своим ходом живем. Тащит. Куды затащит, так и ладно.

— Что тащит... правда, что тащит, — согласилась Дарья.

— Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут, — подчищая разговор, вернулась Катерина, — и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой привет — такой ответ... а-а, — несогласным стоном протянула она, — ниче не сходится. Кому как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им такое дадено, до того лютуют... злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену?

— А не доживай до этакой старости, — вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. — Знай свой срок, — и пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. — За грехи, ли че ли, за какие доржит Господь боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так... Где их набрать? Человек должен жить, покуль польза от его есть. Нету пользы — слезай,

приехали. Нашто его самого маять, других маять? Живые... им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать. Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на нее смотрела. А то и смотрела, — непонятно на что опять осердясь, продолжала она, — что думала: «Когды тебя Бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ей подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала — я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы поболе, а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от меня идет — от чего-то другого. Нет, Катерина, старость запускать нельзя. Никому это не надо.

— Дак че — удавку, че ли, на шею?

Дарья не стала отвечать.

— И хоронют оне нас, плачут... оне плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого помнют... какие мы были, — говорила она. — И жалко нас... потому что себя жалко. Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас будут. А без нас оне скорей старются. Про себя оне нас раньше похоронили. Вот тогда бы и убраться, скараулить тот миг. А мы все за жисть ловимся. Че за ее ловиться — во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лутше будут помнить, и память о тебе останется покрасивей. Побольней останется память, позаметней. А ежели в гроб тебя, как кощею, кладут — дак ить глядеть страшно. Такая страхолюдина всю допрежнюю память отшибет...

— А мы-то в чем виноватые?

— А в том и виноватые, что привычку к себе, как собачонку какую, держим. Чтоб нас она оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя опосле будешь терпеть — перекрестишься, не поверишь. Ниче уж живого нету, все вывалилось, окостенело, ни зубов, ни рогов, ни холеры — нет, милей тебя белый свет не видывал. Да на́што? Тебе Господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — и в землю... чтоб земля не убывала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек. Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не отымай у их время. У их его тоже в обрез.

— Куда так торопиться-то? — отказывалась Катерина. — Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила...

— А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто заместо меня будет жить?

— Может, кто другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты — пошто ты тогда с Петрухой со своим не можешь сладить? Пошто не живешь как охота, а по чужой указке ходишь? Пошто всю жисть маешься? Нет, Катерина, я про себя, прости Господи, не возьмусь сказать, что это я жила... Сильно много со мной не сходится...

...Вдвоем и правда было легче и за хозяйственной управой, и за разговорами. Дни стояли длинные, старухи успевали все и, устав, ложились после обеда отдохнуть, но не засыпали, а разговаривали лежа. И разговаривали поднявшись, в ожидании вечерней уборки, а потом и после нее — так и шло время, так незаметно и соскальзывали с одной стороны на другую длинные летние дни. На разговоры подходила Сима со своим неотвязным хвостом — Колькой; заявлялся Богодул, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить слово; приходила глуховатая Тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не вынимала, а потому почти не говорила; приходили на чай и беседы другие, кто еще оставался в Матёре... Поминали старое, дивились новому, смыкали вместе то и другое, жизнь и смерть... Никогда раньше так подолгу они не разговаривали.

И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на большую жизнь, было что в ней понято.

А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторней и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер.

11

Но еще сумела, всплеснулась жизнь на Матёре — когда начался сенокос. Кормов по новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то угодий, двинулись в последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам — кто где жил, туда на страдованье и поехал. Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить-побыть под конец в родной деревеньке, чуть не у каждого там дом, скотина, огород, неподчищенные дела, да и земля не молчала, звала их

перед смертью проститься. Мало кто, не слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной работе, отказался поехать — привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!

Полдеревни вернулось в Матёру, и Матёра ожила пускай не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные с Подмоги, зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забренчало покосное снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницу, чтобы подладить технику на конной тяге, достали литовки — и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось — и поди ж ты! — как раньше, отыскались литовки и оказался жив дед Максим. К нему же тащили грабли, вилы, косилки — и он подновлял, подгонял, острил, вставлял взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за работой, хотя только что помирал, стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться. Ему с улыбкой, с удовольствием подчинялись — так же покрикивал он на них двадцать и больше годов назад, так же назначал их на работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры теперь, — будто ничего не изменилось. И, как тогда, обходились без большой техники: тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя, а здесь оставались только одна бортовая машинешка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на бугре за деревней. Но машину, как нарочно, как в наказанье, что она здесь оказалась, держали на побегушках: за холодным квасом по жаре сгонять или доставить на луг припозднившуюся со скотиной бабу. Серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась много дряхлей и неуместней подвод. Но это уж действительно из каприза, из игры, в которую, однако, включались все, и включались с охотой.

Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактор, а то и не один, так или иначе придется, когда понадобится стягивать зароды к воде — их сразу на тракторные сани и собирались метать. Но это потом, потом... пока управлялись, как раньше, косилками, конными граблями, вязали для копен метлы...

И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей, придется навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на десять же лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие; чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был, и стыд не в стыд, когда кругом свой табор, — с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: «Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы», но в следующий роздых с удовольствием безумели снова.

Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом:

— Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому.

Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.

Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, — ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были; в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза — из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы

показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки, по острову разгуливал народ — кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя куда-то вдаль, кто подбирал на полянах первую красную ягоду — и непросто было сразу сказать, свои это или чужие.

Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди — запряженные в ходки кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при въезде в деревню, по два-три человека в ходках, несколько верховых по сторонам, все остальные с песней за подводами. Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки старая, прощальная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, которую словно для этой поры и хранил в себе... Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце.

Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что ни на есть милостивая. На одной луговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа, конные грабли с большими изогнутыми зубьями; гребь поспевала на солнце и на ветру уже через день, до обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных для колес, сырых и неровных местах, после обеда брались за грабли. Мужики ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того — от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!.. Где, в каком краю может еще так пахнуть!

И уже начинали оглядываться с опаской: быстро, быстро подвигается дело — так и обратно скоро, не пожив вволюшку в Матёре. Дождь, что ли, брызнул бы, чтоб потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани — и верно, конец проглядывает, куда торопиться?! За сеном и с Матёрой на прощанье не побыть, не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама, и не находилось человечьих сил осаживать ее — гнали, напротив, злясь на себя, и того

пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее; и работники не успели еще избаловаться.

По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе — полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости. Обмирала Матёра от судьбы своей в эти часы: догорала заря за Ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась наверху бездна неба; ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день, и догасала, благодарствуя, жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание, которое то возникало сильней, то усмирялось; и чувства человеческие в лад ему тоже сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее ответствие. И казалось, сдвигались плотней в деревне избы и, покачиваясь, тянули единый, под ветер, нутряной голос; казалось, наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов; казалось, близко подступало все, что было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное, выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивало. Что — не понять, не услышать было, но мнилось, что и на это, невнятное и неслышимое, следует отвечать.

Говорили мало и негромко — и правда словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет; только это, как обморочное, сном-духом чаянное, состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной, к несчастью, из огня, начинал возить на ней «Ты, Подгорна, ты, Подгорна...», сбивал настроение — и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет завтра, и идти в постель.

Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнула:

— Но-о... это откуль такая божья коровка к нам заползла?

— Извини-подвинься, — возмутился Петруха — не «божьей коровкой» возмутился, а «заползла». — Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, лётаю.

Это «извини-подвинься» он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил раз-

говора. Приехав, занес он матери с больших денег за сожженную усадьбу пятнадцать рублей и, когда она заикнулась было, что мало, отвечал:

— И-извини-подвинься. А я на что должен существовать? Я должон ехать, устраиваться на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги.

Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками.

— Много наменял-то? — спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов изжамканных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые руки не попадали.

— Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мою не мешайся. Устроюсь — выпишу тебя, будем жить вместе. А покудова — извини-подвинься.

Два дня он потосковал в Матёре без магазина и нырнул в новый поселок, три дня плавал там, не снимая своего маркого костюма, светлый тон в котором после этого остался только далеко в глубине, а красная нитка полностью исчезла. Теперь опять объявился в Матёре, спал без родного угла где придется, иногда даже у Богодула в его колчаковском бараке, что считалось крайней степенью бездомности и опущенности, но форс продолжал держать, выдумывая про себя, что в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на катере и куда-то увезет как человека, до зарезу необходимого; подвязал к своей инвалидной «подгорне» веревку, чтобы накидывать на плечо, и «тарзанил» ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на луг, устроился под березу и запилил-запиликал, но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха, обычно языкастый, и отругиваться не стал — отступил.

...Но после долгого, крепкого вёдра сумело-таки подползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди...

12

В первый день, когда дождь только еще направлялся, побрызгивая манной небесной, угодной полям и огородам, в Дарьин дом нагрянул гость — приехал Андрей, младший сын Павла. Павлу как отцу выпало обойтись без дочерей, четырежды Соня, жена его, рожала, и все были парни, но один сразу же, как только открыл глаза, не вынес белого света и отошел, осталось трое. Старший, женившись на нерусской, поехал на ее родину

на Кавказские горы посмотреть, что это такое, да там и остался, соблазнившись теплым житьем; средний, гораздый на грамоту, учился в Иркутске на геолога и на тот год должен был уже отучиться, а Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в Матёре, но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше нарастающую, связанную с переселением, и укатил в город, устроился там на завод. Теперь он, оказывается, уволился с завода и метил в другое место, а по пути завернул домой. Два дня Андрей побыл у матери в совхозе — Соня работала в бухгалтерии и осталась в поселке, — отвел у нее первую очередь и поплыл к отцу и бабушке. Павел исподволь добился своего, вел в Матёре сенокос и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как до того наезжал в Матёру.

Дождь оказался кстати: можно было посидеть, поговорить не торопясь; не решались отважиться на передышку своей властью, так ее спустил сам Бог. Андрей, здоровый рядом с отцом, невыболевший, не потратившийся на работе парень, которому армия пошла явно на пользу — уходил туда согнутый, заглядывавший в землю нескладень, а воротился этакий вот молодец с выправленной спиной и поднятой головой, — Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно из избы во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только смоченную и налипающую пыль, вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто куда переезжает, и от нечего делать по-свойски, ласково задирал Дарью:

— Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?

— Куируюсь, куируюсь, — даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она.

— Неохота, наверно, отсюда уезжать?

— А какая тут охота? На своем-то месте мы бы, старухи, ишо ползали да ползали полегоньку, а вот погоди, сковырнут нас, и зараз все перемрем.

— Кто это, интересно, позволит вам умирать?

— А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-нить сами, — незаметно, в свою очередь, задираясь, говорила Дарья. — На это уполномоченных, чтоб приказы подавал, ишо не додумались назначать. Вот и мрут люди как попадя, что разнарядки такой нету.

— Да ты не обижайся, бабушка. Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю.

— Пошто я на тебя-то буду бижаться?

— А на кого ты обижаешься?

— Ни на кого. На самуё себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно место крапивой жарила, чтоб ты на ём сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал отсель...

Андрей смеялся.

— Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней.

— Распорядись, распорядись... Охота на тебя поглядеть, до чего ты под послед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь. Хошь на крыльях летай. И не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, дак все можешь? Ох, Андрей, не думай. Поживешь, поживешь и поймешь...

— Э-э, бабушка, тут я с тобой не согласен. Это у тебя от Матёры, оттого что ты дальше Матёры носа не высовывала. Что ты ничего не видела. Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас в руках такая сила — о-ё-ёй! Что захочет, то и сделает.

— Это сделает, сделает... — соглашалась Дарья.

— Ну, так что ты тогда говоришь?

— То и говорю. Сделает, сделает... А смерть придет, помирать будет. Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне довелось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль Матёра стояла, мне торопиться некуда было. И про людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне ни приставлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе покуль себя не жалко, дак это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу. Издали вроде покажется: ну, этот ниче не боится, самого дьявола поборет... гонор такой доржит... А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше... Ты из своей человечьей шкуры хочешь выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо такого. Только обдерешься да надсадишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выскакивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не пустит. Люди про свое место под Богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, кто до нас жил... Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже

много чего об себе думал. А шмякнулся, печенки отбил — дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуда с земли не деться. Че говорить — сила вам нонче большая дадена. Ох, большая!.. И отсель, с Матёры, видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта... Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались.

Долго сидели за столом; отец с сыном выпили бутылку водки, привезенную Андреем, и ничуть не опьянели, только Андрей с лица еще больше помолодел, а Павел еще больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив нее, и думала: «Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было годов — где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было... чтоб с другого конца новый подвязать. Куды, в какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что будет? Пошто так охота узнать, что будет?»

Дождь на улице подбивался и зачастил, на стеклах появились потеки. Потемнела земля, крупными сосульчатыми каплями закапало с крыш; пенясь, остановилась в окне Ангара. И сильнее, приятней запахло за столом самоварным духом, душистей показался чай, который пили уже все, и важней, уместней показался семейный разговор, который они говорили.

— Мало зарабатывал, что ли? — спрашивал Павел, допытываясь, почему Андрей уволился с завода.

— Зарабатывал — одному хватало, — пожимал плечами Андрей. Он старался говорить с отцом на равных, но, еще не привыкнув к равности, как-то сбивался, соскальзывал с нужного тона и то поднимал голос, то терял его. — Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. Неинтересно. Там стройка на весь мир. Утром радио включишь — ни одно утро не обходится, чтоб о ней не говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод... таких много. В каждом городе они есть.

— Для завода погоду не передают?

— Так и знал, что ты сейчас это скажешь, — спохватывался Андрей. — Для завода и не надо, для города передают. Дело не в этом. Завод, он никуда не убежит, а стройку закончат — обидно будет. Охота, пока молодой, тоже участвовать... чтоб было, значит, потом что вспомнить...

Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом: он скомкал, поджевал его, чтобы не произносить громких слов, которых, он знал, отец не любил. Павел ожидающе молчал, и от этого неясного, как скрадывающего, молчания Андрей начал горячиться.

— Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть, — то ли доказывал, то ли оправдывался он. — Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое... все, как говорится, в движении. Я хочу, чтоб было видно мою работу, чтоб она навечно осталась, а на заводе что? По неделе с территории не вылазишь... Это на машине-то. Железяки с места на место, из цеха в цех, как муравей, крутишься, развозишь. Это любой старик может. Завод, он для пожилых, для семейных, чтоб на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все по-другому... по-новому, ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет.

— Опоздал, однако, маленько, — задумчиво кивая, говорил Павел. — Ее, ГЭС-то, однако, без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется.

— Ну-у, там еще столько работы! Хватит на меня. Самый интерес сейчас начнется.

Дарья насторожилась.

— Дак ты погоди, ты туды, че ли, метишь, где Ангару запружают? — только теперь поняла она.

— Туда, бабушка.

— Но-о, ишо не легче... — начала и не договорила она, потерявшись от неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным непониманием.

— А что, бабушка?

— Ты пошто другого-то места не нашел?

— Зачем мне другое? Я хочу туда. Матёру, бабушка, все равно затопят — хоть со мной, хоть без меня. Я тут ни при чем. Электричество, бабушка, требуется, электричество, — присаживая на сильную шею голову и взяв голос, как маленькой, толковал он Дарье. — Наша Матёра на электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить.

— А то она, христовенькая, на вред тут стояла, — тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья и умолкла, замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят, наблюдая больше, как говорят, как меняются в разговоре лица, с трудом или нет достаются слова, в какой они рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало ей покоя, и, забывшись, она опять сказала, будто и не спрашивая, а подтверждая для самой себя — никак не укладывалось это в ее голове: — Дак это ты, значитца, будешь воду на нас пускать?.. Но-но... Гляди-ка, че деется!

— Почему я-то? — засмеялся Андрей. — Там без меня все готово, чтоб ее пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши.

— Ну и не ездил бы туды...

— А что, — осторожно подхватил слова матери Павел. — Взял бы и остался здесь. Нам шоферы нужны. Новую машину получишь. Работы здесь хватит на весь ваш завод.

Он сказал и без надежды усмехнулся, скосив глаза вниз: не стоило и предлагать — не останется. И верно, помолчав, словно бы подумав, Андрей покачал головой:

— Да не-ет. Из города уехал и к вам?

Можно бы возмутиться: какое право он взял, родившись здесь, поднявшись и став здесь человеком, говорить так о своей родине, но Павел не возмутился, он для того, казалось, и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет ответить сын, что нажил он за последние, не связанные с домом годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится. И что бы сейчас ни ответил Андрей, все следовало принимать спокойно и раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный смысл, — ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, и это он заменит скоро отца на земле — нет, лучше сказать, не на земле, а на свете. От земли он отошел и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Павел продолжал говорить, так не для того, чтобы убедить сына, а чтобы знать его ответы.

— Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с тобой сидим. — Павел покосился на мать, боясь ненароком обидеть ее; к новому совхозному поселку он и сам не испытывал любви, но что верно, то верно. — У нас там будет как в городе, к тому дело идет. Ты был, видел, что творится.

— Видел. Здорово, конечно. А все равно неинтересно у вас.

— Какой тебе нужен интерес?

— Я уж говорил... — Андрей легонько поморщился от нежелания повторить то, что и не выстроилось в порядок, а только кружило голову, и о чем, стало быть, трудно сказать определенно. — Потом семьей обзаведусь, потом, может, и сюда приеду. А пока молодой, неженатый, охота туда, на передний, как говорится, край... чтоб не опоздать. Вся молодежь там.

— Война, что ли — передний край? — не пропустил Павел.

— Передний не передний... я не знаю, как сказать. Так говорят. Где горячее самое место, самая нужная стройка. Сейчас все внимание туда. Люди вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут рядом и — мимо. Как-то неудобно даже... будто прячусь. Потом, может, всю жизнь буду жалеть. Сильно, значит, нужна

эта ГЭС... пишут о ней столько. Такое внимание... Чем я хуже других?

— Закончат — снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием? Привыкнете ведь на виду, избалуетесь, одного солнца мало покажется. Ты-то как думаешь, надолго туда, под внимание?

— Там видно будет. — И, почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрей и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно бы обиженной интонацией: — Как вы не понимаете?.. Бабушка не понимает — ей простительно, она старая. А ты-то? — Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец», но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему, детскому «папа». — Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя. Далеко не уйдешь. Разве что по Матёре топтаться... Много ли толку от этой Матёры? И ГЭС строят... наверное, подумали, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко Матёру, и мне тоже жалко, она нам родная... По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие родятся. Как вы не понимаете?

Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уже не из его — из другого, из следующего поколения.

— Почему не понимаем? — задумчиво и не сразу сказал он. — Маленько и мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

— Вот вы и работайте. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где, значит, трудней всего — там молодежь. Где полегче, попривычней — другие. Все-таки не сравнить — там или здесь, условия-то разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе сделать, она для них — самое главное, они там и живут только для этой работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты

говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем особенного нет. По-моему, всегда так было. У тебя тоже... если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе, значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом месте. Так требуется...

— Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать получше, а в другом считаем, что можно как попало.

— Плохо, конечно, — не задумываясь, думая над тем, что еще возразить отцу, кивнул Андрей. — Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет назад и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то, наверно, и на нашу Матёру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался — и вышло, что земли без Матёры и правда не хватало. А сын его пошел дальше — не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее...

— А почему ты думаешь, что здесь полегче?

Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:

— В старину как говаривали... Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого неволит, — худая мать.

— Это ты о чем, бабушка? — хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и обрадованно, что она встряла и перебила этот несогласный и какой-то неоткровенный, стыдливый разговор между отцом и сыном — точно говорили о бабах.

— А не об чём, — отказалась Дарья, поджимая тонкие, острые губы.

— Дождь-то как разошелся, — заглядывая в окно, сказал в молчании Андрей; ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание.

Стали смотреть на дождь — как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в твердых низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он с крыш амбаров; услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным, неполным покоем отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче,

свежей стало дышаться, что, обновленный чистыми, снесенными водой небесными запахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, воздух успел натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором, что разговор только отъединил их, родных по самому прямому родству, друг от друга, а это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но, поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверное, спросить давно:

— Когда уезжаешь-то?

— Поживу пока, — улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом у него нет. — Куда торопиться?

— Если поживешь, может, сена мне подмогнешь накосить? — предложил вдруг отец. Ему только сейчас, сию минуту пало это в голову и тут же само сказалось, он еще не успел осознать, надо ли было говорить и готов ли он сам к тому, на что подбивает сына.

Андрей с охотой согласился:

— Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу.

— И правда, — обрадовался, решившись, и живей заговорил Павел: — Вдвоем мы на корову накосим, зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли? А то мы уж в панику ударились, не знали, как быть. Одному где же... я на работе. Мать там. Бабушка тоже не помощница.

— До смертинки три пердинки, — кивнула Дарья.

Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не переставая почти, страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись вся, взмолилась Дарья сдавленным голосом:

— И могилки, Павел. Ты посулился. Когда потом?.. Заодно бы...

— Ага, — вспомнил Павел. — Надо бы еще могилы перенести. Она давно просит.

Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинул брови, — всерьез ли говорят, но согласился и на могилы.

13

Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе, морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало

воду, наполнившись до краев, — она разливалась через края, растекалась вширь и полнилась, полнилась... Вода стояла даже в травах. Улица, выбитая тележной и машинной ездой, походила на речку, по берегам которой выстроились порядки домов; только вдоль этих порядков и можно было ходить, а уж перебраться с берега на берег — надо было изноравливаться, наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, издождившиеся тучи, внизу же не было никакого даже подобия ветерка, замерший воздух сек один дождь. Ветки на деревьях обвисли, с них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли; обвисли и нескошенные травы, спрятав острые возглавия и выстелившись сплошным согбением, о которое шумел и шумел то сильней, то слабей, упадая, дождь. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода — пену выталкивало к берегам, к затопленной тиши, но она, собираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя.

Спасаясь от сырости, топили печи; дымы по утрам поднимались над избами как зимой — так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух. Дымилась и Настасьина изба, в нее сразу же, как только приехал к Дарье внук, перебралась Катерина. Похоже, что она обрадовалась причине перейти туда, чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который по-прежнему слонялся по деревне без забот и без дела, как одуванчик божий: куда понесет — туда и покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют «навар» — под «наваром» разумелась выгода.

— Мне чтоб фатера была, а не стайка, — выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда, с придурью, с форсом. — Я с матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей маяться. Конешное дело, она из комсомола состарилась, а ты говоришь, там комсомол... Но потребуется — сильно даже может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь, — «жизнь» Петруха выговаривал полностью, с удовольствием подзванивая это слово, — к примеру, рассказать...

Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней только по газетам да по сбивчивым рассказам, но Пе-

труха вдруг засобирался с ним вместе, стал захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым и нужным работником, а по деревне нес, будто уже устроился и чуть ли не получает даже зарплату. Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали:

— Сюда высылают?

— А куда — сюда? Ежли у нас почты нету? — поражался он людской бестолковости. — Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал: задержать. Опосле, вот непогодь эта кончится, подъеду и зараз получу.

— С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?

— Пошто-о?! — Петруха был за полную справедливость. — Я про бездетность сам в детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь... не работал. Ну и что, ежли не работал? Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел. У себя задержать хочут. И я по закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься, о-о-о! С ним не шибко!

— Ну трекало! Ну трекало! — восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухе, а он, довольный, что у них не находится больше что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал:

— Понимать надо.

В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье — все обман, на который они из слабости человеческого сердца поддались. А правда состоит в том, что надо переезжать, надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уж если жили не зная, чем жили, — зачем знать уезжая, оставляя после себя пустое место? Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются смятение, и любовь, и жажда еще большей любви, какие выпадают не часто, — правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения:

так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе, — так свято и изначально верили они бесхитростным выпеваемым словам и так истово и едино возносили голоса; это сладкое и тревожное обмирание по вечерам пред красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе благословенным путем, чутко внимая всему, что проплывает внизу; эта возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал, что ты — не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, — вот это все запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколенья людей.

Так отчего бы и им не омыться под конец жизнью, что велась в Матёре долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами: было. Было, да сплыло. Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засевает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания.

Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните.

Но почему так тревожно, так смутно на душе — только ли от затяжного ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот, или от чего-то еще? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась, — не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом, отдельно с листом и отдельно с иголкой, каждый кустик веет своим дыханием; пахнет деревом постройки, пахнет скотиной, жильем, навозной кучей за стайкой, огуречной ботвой, старым углем от кузницы — из всего дождь вымыл и взнял розные терпкие запахи, всему дал свободный дых. Почему, почему при них, кто живет сейчас, ни-

чего этого не станет на этой земле? Не раньше и не позже. Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?

С утра попробовало распогодиться, тучи отжато посветлели и заворошились, пахнуло откуда-то иным, легким воздухом, вот-вот, казалось, поднырнет под тучи солнце, и люди поверили, тоже зашевелились, собрались к Павлу справляться, будет ли дело. А пока собирались да рассуждали, опять потемнело и потекло. Расходиться не хотелось — сидели, возили все те же разговоры. Дарья вскипятила самовар, но на чай почему-то не польстились, видать, не просохли еще от домашнего. Одна Катерина взяла на колени стакан. У дверей на лавке, прислонившись к стене и подняв и обняв ногу, расположился Афанасий Кошкин, или Коткин, кому как нравится, тот так и называл, а Петруха из потехи сливал их вместе и на всю матушку-деревню кричал: «Кот и Кошкин, а Кот и Кошкин!» Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз, всей семьей поменяли фамилию на Коткины: новое — так все новое, красивое — так все красивое. Над Афанасием подшучивали — он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, что Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным ходил — никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомутили. Особливо Галька. Им што — она им, фамиль-то, не родная, она им што платок на голову — сёдни одна, завтрева другу одевай. Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня... я и задумался. «Кошкин, — грят, — это ты вроде под бабой ходишь, а Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили... Задумался и грю: «Поллитру ишо дадите, дак берите». Никто не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили.

— За поллитру, значит, фамиль продал?

— Дак, выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам над етой буковкой крышку сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто, а расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был Кошкин, и есть Кошкин. А оне как хочут.

Вера Носарева, Дарьина соседка с нижнего края, несколько раз уже порывалась встать и уйти домой, даже не домой, а на деляну, — Вера, пока суть да дело, бегала на свой сенокос, потихоньку валила травку, но уходить из тепла и от людей не хотелось, дождь к тому же распалился и шумел сплошной волной. На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова — эта давно бы и стриганула, да не пу-

скал дождь. С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб — полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк, мало-помалу перешел опять все к тому же, — к Матёре, к ее судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадежно махнула рукой:

— А-а, ниче не жалко стало...

— Жалко-то, поди, как не жалко... — начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.

— Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, — отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли ее. — Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут... Да она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как жуки навозные, за старую хватаетесь, все какую-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить.

Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям:

— Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить.

— Без хлеба, че ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.

— Покеда не сидим...

— Ну горлодерка ты, Клавка! — вступила, опомнившись, Дарья. — Ну горлодерка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было.

— Раньче не было, теперь есть.

— Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога — пара.

— Нужон он мне как собаке пятая нога, — дернулась Клавка.

— А ты ему дак прямо сильно нужна, — обиделась, в свою очередь, Катерина.

— Вам че тут жалеть, об чем плакать? — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дергалась головой вперед, точно клевала, синенький выцветший платок сполз на лоб. — У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что

холера... Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам не жалко будет. Такие уж вы есть... обсевки.

Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет... почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.

— Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка.

— Жалко, — сказал Андрей.

— За что тебе ее жалко-то?

— Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.

— Вот ребеночек! Че тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться — как же! Это ты говоришь — бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не Матёру.

— Почему...

— Потому. Меня не проведешь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду... Ты тоже не любишь ее прятать.

Но Дарья и не собиралась обижаться.

— Я, девка, и об етим думала, — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю. — Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну ладно, думаю, пущай я такая... А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых братов пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали... чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие спросют. Вы детишек-то нáшто рожаете? Только начни этак фуговать — поглянется. Мы-то однова живем, да мы-то кто?

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.

И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми, крупными каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над Матёрой крышку, теперь рассосалась, — было серо и размыто, и так же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серо, мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, — приговоркой прервал его, очнувшись, Афанасий и поднялся. — Налей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша сёдни уплыла, будем чаи гонять.

Пришла Тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она, молча пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и, причмокивая, принималась сосать ее. И не трогай ее, не скажет за весь день ни слова, а может, и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной глубокой и сонной задумчивости.

Была она в Матёре не своя, но теперь уже и не чужая, потому что доживала здесь второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив, Тунгуска толковала — не столько словами, сколько жестами, что это ее земля, что в далекую старину сюда заходили тунгусы, — и так оно, наверно, и было. Теперь же старуха прикочевала сюда по другой причине. Совхоз собрался заводить звероферму, но пока завел только заведующего — это и была Тунгускина дочь, немолодая безмужняя женщина. Прошлой весной, когда они приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не хватало, и дочь по чьей-то подсказке привезла свою старуху в Матёру, где появились свободные избы. Так и застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, смотрит, уставив глаза куда-то в низовья, на север. С огородишком она почти не возилась — так, грядку, две, да и те запускала до крайности — или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась, никто не знал: дочь к ней наведывалась из поселка не часто. На людях за чай, когда усаживали, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку хлеба. Но тем не менее жила, не пропадала и как-то чуяла, где собирался народ, туда сразу и правила. Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше.

Тунгуска прошла в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже привыкли — что усажива-

лась на пол, и хоть силой подымай ее на сиденье — не встанет. Старики в Матёре тоже, бывало, примащивались курить на пол — вот она откуда, выходит, привычка эта, — еще от древних тунгусских кровей.

— Пришла? — отрываясь от чая, спросил Афанасий.

Тунгуска кивнула.

— Вот тоже для чего-то человек живет, — философски заметил Афанасий. — А живет.

— Она добрая, пускай живет, — с улыбкой сказала Вера Носарева.

— Да пуша-ай. Ты в совхоз-то поедешь? — громко, как глухой, крикнул он Тунгуске.

Она, не успев сомлеть, опять кивнула — на этот раз уже с трубкой в зубах.

— Ишь ты, собирается. Ей-то там, однако, совсем не шибко будет.

— Дался вам этот совхоз, — задираясь, опять начала Клавка. — Прямо как бельмо на глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза — опомнитесь, не то запоете. До чего капризный народ: че забирают — жалко, хошь самим не надо, в сто раз лучше дают — дак нет, ерепенятся: то не так, это не растак. Че дают, то и берите, плохого не дадут. Другие вон радуются. Чем не житье там? Тетка Дарья ладно, — сделала она отмашку в сторону Дарьи, — с нее спрос, как с летошного снега. А вам-то че ешо надо?

Вера Носарева, необычно присмиревшая, уставшая и растерянная без работы, сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула:

— Дали б только корову держать... Косить бы дали... А так-то че? Другая жисть, непривычная, дак привыкнем. Школа там, до десятого классу, говорят, школа будет. А тут с четерехлеткой мученье ребятишкам. Куда бы я нонче Ирку отправляла? А там она на месте, со мной. От дому отрывать не надо. — Вера украдкой и виновато взглянула на Дарью и в мечте, не один раз, наверно, представленной, захотелось свести... — Этот поселок да в Матёру бы к нам...

— Ишь, чего захотела! Нет уж, я несогласная, — закричала Клавка. — Это опять посередь Ангары, у дьявола на рогах! Ни сходить никуды, ни съездить... Как в тюрьме.

— Привыкнем, — откуда-то издалека, со дна, достал свое, своей думой решенное слово Афанасий. — Конешно, привыкнем. Через год, через два... тут Клавка в кои-то веки правду

обронила... Через год, два доведись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труды положим, дак што... Нас с землей-то первым делом оне, труды, роднят. Тебе, Клавка, не жалко отсюда уезжать — дак ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не подскакивай, — остановил он ее, — мы-то знаем. Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам-читалкам мышковала...

— У меня грамота...

— Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов — у-у! — много трудов надо, чтоб землю добыть. За што и браться... Найти бы тую комиссию, што место выбирала, и носом, носом... Эх, мать вашу растак...

— Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил да покрепче привык.

— Может, и так. Где наша не пропадала. Вырулим. Обтерпимся, исхитримся. Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику — он из любой заразы вылезет. Так, нет я, Павел, говорю? Што молчишь?

Павел курил, слушал и все больше, не понимая и ненавидя себя, терялся: говорила мать — он соглашался с ней, сказал сейчас Афанасий — он и с ним согласился, не найдя, чем можно возразить. «Что же это такое? — спрашивал себя Павел. — Своя-то голова где? Есть она? Или песок в ней, который, что ни скажи, все без разбору впитывает внутрь? И где правда, почему так широко и далеко ее растянули, что не найти ни начал, ни концов? Ведь должна же быть какая-то одна, коренная правда? Почему я не могу ее отыскать?» Но чувствовал, чувствовал он и втайне давно с этим согласился, и если не вынес для себя в твердое убеждение, которое отметало бы всякие раздумья, то потому лишь, что мешали этому боль прощания с Матёрой да горечь и суета переезда — чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезному человеку бы их говорить, и в рассуждениях Андрея в тот день, когда они встретились и сидели за столом, и есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти. И молодые понимают ее, видимо, лучше. Что ж, на то они и молодые, им жить дальше. Хочешь не хочешь, а приходится согласиться с Андреем, что на своих двоих, да еще в старой Матёре, за сегодняшней жизнью не поспеть.

— Привыкнем, — согласился Павел.

— Как думаешь, добьемся, нет хлебушка от той землицы? — спрашивал Афанасий.

— Должны добиться. Наука пособит. А не добьемся — свиней будем откармливать или куриц разводить. Счас везде эта... специализация.

— Дак я на своем комбайне што — куриц теребить буду?

Бабы оживились.

— Сделают приспособление — и будешь. Чем плохо?

— Хватит пыль глотать, вон почернел весь от ее.

— Перо полетит, дак очистится.

Дарья, отстав от разговора, никого не слушая и не видя, сосредоточенно, занятая только этим, потягивала из поднятого в руках блюдечка чай и чему-то, как обычно, мелко и согласно кивала.

— Што, бабы, — руководил Афанасий, — будем закрывать, однако, собрание. Засиделись. Дарья уж самовар допивает. Какое примем постановленье? Переезжать али што?

— Без нас давно приняли.

— Пое-е-хали! Там, на большой земле, и вниманье на нас будет большое.

— Только клопов, тараканов лучше вытряхивайте.

— Как ты, Тунгуска? Будем переезжать?

Тунгуска вынула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос непонятно где плутавшие глаза и кивнула.

— Ты, Дарья, тоже собирайся. Без тебя мы не поедем.

Но Дарья не ответила.

— Глите-ка, — спохватилась Вера Носарева. — Дожь-то вроде присмирел. Засиделись, засиделись... Воду толочь — дак вода и будет. Я побежала. Крикнешь, Павел, ежли че. Но сёдни уж не кричи. Сёдни я побежала.

...Дождь, дождь... Но виделся уже и конец ему, промежутки от дождя до дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова забарабанит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять забрызгало — словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь окончательно прояснит. И люди, не умея покориться, злились, кляли и небо, и себя — за то, что живут под этим небом.

В один из таких не устоявшихся еще шатких дней — не дождь и не вёдро, не работа и не отдых — приехал Воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воду. Народ собрали в грязном и сыром по-

мещении с наполовину выбитыми стеклами, бывшей колхозной конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах; не было и стола, за который бы устроились приехавшие, — они, дав между собой и народом небольшую, в три шага дистанцию, встали возле дальней стены. Первым говорил Воронцов — о том, что надо закончить сенокос по-ударному, и люди, не перебивая, смотрели на него так, будто он свалился с луны: что он говорит — дождь за окном. И верно, опять сорвался дождь, застучал по крыше, но Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он токовал свое. Представитель из района, по фамилии Песенный, простоватый с виду мужчина с загорелым и скуластым, как у всех местных, лицом и голубыми детскими глазами, который, быть может, и правда хорошо пел, если имел такую фамилию, — представитель этот, когда Воронцов назвал его, начал издалека, чуть ли не с текущего момента, но сумел увидеть, как люди переминаются и жмутся друг к другу от сырости и сквозняка, и оборвал себя. Помолчав, он сказал то, зачем и прибыл сюда: надо, чтобы к половине сентября Матёра была полностью очищена от всего, что на ней стоит и растет. Двадцатого числа государственная комиссия поедет принимать ложе водохранилища.

— Дак мы картошку не успеем выкопать. Хлеб не успеют убрать. Вот так же задурит погода... — несмело возразил кто-то.

Песенный развел руками; отвечал Воронцов:

— С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный урожай мы обязаны убрать. И мы его уберем. В крайнем случае из города силы подъедут.

Но люди, изнуренные ненастьем, и объявленный крайний срок гибели родной деревни приняли как-то спокойно и просто. Не верилось, когда все кругом на десять рядов пропиталось водой, что когда-нибудь что-нибудь может загореться. И середина сентября казалась сейчас столь же далекой, как середина декабря. Только взяли на память, что нынче придется приниматься за картошку пораньше. И мысли пошли в сторону: выкопать — ладно, выкопается, а как ее перевозить; куда ссыпать? Где взять столько мешков? По семьдесят, по восемьдесят кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут чего проще: при нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать — огород под боком, а туда, наверно, понадобится снаряжать все одним разом. Вот и задумаешься: что делать, как быть?

Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится

без крайней надобности, поставил матёринцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху сроду никто не хвалил, и он завзглядывал кругом себя героем, а после собрания подошел к Воронцову и Песенному для беседы. О чем была меж ними беседа, никто не слышал, но видели, как Воронцов, показывая на Петруху, что-то долго говорил Песенному, а тот вынул из кармана блокнот и стал чиркать в нем карандашиком.

И только по избам, отогревшись, загалдели люди: середина сентября. Полтора месяца осталось. Всего-навсего полтора месяца — не заметишь, как и пролетят. И непривычно, жутко было представить, что дальше дни пойдут уже без Матёры-деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза: где там, рано или поздно, красное солнышко? Походят, походят осенние дни над Матёрой-островом, приглядываясь, что случилось, отчего не несет с острова дымом и не звучат голоса, пока в свой час один из дней, на какой это падет, не сможет отыскать на своем извечном месте и острова.

И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.

14

Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание, тоже постоял, привалившись к дверному косяку, отдельно от всех, как человек посторонний, послушал, что привезло начальство. И, вернувшись домой, подробно передал Дарье, о чем говорилось. Она присела на лавку у стены, опустив руки, помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала:

— Но-но.

Андрея удивил ее голос: на одном этом звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжественности, точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечется ли, глядя на Матёру, вся остальная земля? Но уже тише, покорней, Дарья добавила:

— Вот так бы и человеку. Сказали бы, когда помирать — ну и знал бы, готовился... без пути не суетился бы...

— Что ты, бабушка! Зачем же знать?!

Она не ответила — может, согласилась с ним, что ни к чему

это человеку, и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уже загорелся, взялся представлять.

— А забавно было бы. Ты, значит, живой, здоровый, а в паспорте у тебя, где год рождения, год смерти рядышком стоит. — Он натянуто, чужим смехом рассмеялся. — Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрят, а смотрят, сколько тебе осталось жить. Это же самый главный интерес. Кому мало — иди дальше, не работник; кому много — давай сюда. А захотел, к примеру, жениться: покажь, покажь, голубушка, какая ты долголетняя. И она тоже первым делом: ну-ка... Нет, бабушка, — поморщившись, задумчиво отказался он, — не надо. Пускай будет как есть.

Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснело больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо поднялось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный — первый знак того, что идет наконец погода. Временами соскальзывало и солнце — то упадет полосой за реку, то проплывет, вынырнув, возле деревни, по поскотине, по полям и по лугу и снесется куда-то вниз. Заголосили присмиревшие в последние дни петухи — тоже чуют, что к чему, не просто так; слышнее и чище стали звуки: за версту брякнет, а отдается как над ухом. И Павел поверил: все, конец ненастью, а поверив, решил проверить, что успел натворить дождь, — не почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего опять начинать работу.

Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный и подталкиваемый какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который состоялся в день его приезда:

— Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, ты говорила?

— Помню. Как не помню.

— Почему тебе его жалко?

Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для серьезного ответа эти слова:

— По то и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не чужой, поди-ка.

— Да почему жалко-то, я спрашиваю. Ты говорила: маленький он, человек. Слабый, значит, бессильный, или что?

— Ну, приспичило. Сказала и сказала. Я, может, так сказала, спроста.

— Не так ты сказала.

Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.

— А че, не маленький, ли че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти-и-ил... страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над им верх взяла, она с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся. Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че ишо осталось, а че уж ветром унесло... Не-ет, он тошней того — ну понужать, ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж — че там!..

— Как это он, интересно, надсадится, если есть машины? Все на машинах. Знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет, что они могут делать. Теперь уж не осталось такого производства, чтоб самому упираться. Где ему надсадиться-то? Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про старого человека говоришь, который сто лет назад жил.

Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.

— Я знаю, про че говорю. Сто годов... Сто-то годов назад в спокое, поди-ка, жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

— Есть, говорят, такая.

— Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и Бог, парень. И хошь не верь — изневерься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того — человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке устремились. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это

не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянитесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню. Догонили, не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека... себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо. И в ранешное время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится? — Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с ведром, варенную с утра для коровы картошку, и продолжала: — Я на отца твоего погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо непроворот. Друг дружку толкают, обгоняют... Упаси Бог! Глядишь и думаешь: это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не огляделся — в другу-у-ю. Чтоб, не дай Господь, не остановиться на месте. Громоток там, ишь, поболе, громоток тебе понадобился.

— Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом... Живем, и все. Кто как может, так и живет. — Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами Дарьи, смотрел на нее внимательно и насмешливо.

— Живете... Живите как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься. Куды, скажешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. Живите... Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Одну е бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя.

— Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко?

— А я тебе про че говорю? — обиженно споткнулась она и вздохнула, опомнясь, что и верно, говорит, однако, не о том.

Лучше бы ни о чем и не говорить — что толку! Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят Матёру, а она, вместо того чтобы поднять и вознести до срока и действа этого душу, берется рассуждать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим занятием времени! Немых считают несчастными, что говорить они не могут, а уж так ли они несчастливы, думая долгими, неперебиваемыми думами? Но Андрей ждал, ему для чего-то нужен был ее ответ, и она, снова вздохнув, отыскивая, с чего начать, потерянным до полного смирения голосом неуверенно сказала: — Ну и жалко... Ить только посмотреть на его...

Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая за работой голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять:

— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется... И говорит... он хитрит на каждом слове, он не то хотел сказать. А че сказать просится — не скажет, промолчит. Надо идти в одну сторону — он поворотит в другую. Опосле опомнится — стыдно станет, обозлится на себя... а раз на себя, то и на весь белый свет. И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется память. А память, она все-о помнит, все держит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь кажин день на могилке цветочки сади, все одно колюча попрет. Э-эх! — Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг — чего прежде и в голову не пришло — явилось недоверие к этому вздоху: вышел он сам собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или бабушка умело подыграла им в лад словам? Но он не стал перебивать бабушку — она продолжала: — Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться? Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С Петрухи и спросу нету. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то

другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться? У сватьи Татьяны невестка была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она, Гутька, молоток за уборну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она щас молоток в руки и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтоб доску прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.

— И ты, бабушка, тоже?

— А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит сделать как надо — нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ хлестался, есть Бог али нету. Прости, Господи милостивый, прости меня, грешную, — перекрестилась она в дверь, мимо Андрея. — Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют.

— Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.

Дарья выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро дрова, и повернулась к Андрею:

— А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру — ежли вы все можете, ежли вы всяких машин понаделали... Срежьте ее и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной сажени никому лишной не дал. А вам она лишняя стала. Отведите, и пущай будет. Вам сгодится и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут.

— Нету, бабушка, таких машин. Таких не придумали.

— Думали — дак придумали бы.

И, то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья:

— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, и плачет — ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется... По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит.

А ишо смерть... Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь...

Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной, в прихожей, где одно окно выходило на Ангару, стояло солнце. Лицо ее просветлело.

— Господи! — виновато прошептала Дарья. — А я про смерть... Не иначе как с ума, старая, сошла. Не иначе.

Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудом продравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, обещая, что только зайдет на ночь, а утром выйдет и примется за работу.

Дурноматом кричали петухи; кричала скотина; где-то гулко и торжественно бухало железо.

15

И оно, солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом: в небе еще держались тучи, подсохшие и сморенные, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось, тучи, утоньшаясь и сквозя, все отступали от него и отступали — и наконец, как льдины, растаяли совсем. К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей, снизывая, волна за волной, щедрую, чистую краску. В него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в глубоких нырках от счастья, что им дано летать. Мокрая земля задымила белым, молочным парком, который тут же сгорал под солнцем; готовились кваситься лужи, в них со вниманием заглядывали, словно решаясь наконец научиться плавать, курицы, в них бродили поросята, но без жары не ложились, только примеривались, где можно будет позже лечь. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты, но и после недельного ненастья нигде не тронулся желтизной лист — лето, значит, будет долгим. Розные в дождь, резкие и ясные запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было разобрать, чья, из какого ручья вода.

После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое сено. Дождь работы наделал. Но хуже всего — он смыл и унес азарт и запал, с каким до того шел се-

нокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и наперед, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорей конца: поставить зароды — и домой. Хватит жить нараскоряку; одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас, при солнце, середина сентября казалась совсем близкой — рукой подать, а еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду — где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды, — как быть с ней? И кто решался косить, теперь задумался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу под забор?

— Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать, — попрекала себя и мужиков своих Дарья, недовольно охая, растравляясь тем, что вот задним умом только и умны.

— Можно было, — пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. — Только он не сказывался, когда кончится. Можно было и сгноить.

Один Андрей не унывал:

— Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится — накосим. Я хоть завтра могу начать. Копен тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать копен?

— Ежели картофка уродится, пошто не хватит.

— Уродится — куда она денется!

Веселел от этой уверенности и Павел:

— Может, с кем сговорюсь впристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работы не будет. — Он еще по привычке говорил «колхоз».

— А поправитесь, могилки, Павел, могилки, — не забывала Дарья. — Покуль могилки не перенесете, я вас с Матёры не пущу. А нет — дак я сама тут остануся.

Андрей удивленно и недоверчиво переводил глаза с отца на бабушку и с бабушки на отца: неужто правда, как они говорят, придется отрывать могилы и выгребать то, что осталось от покойников, похороненных давным-давно, когда еще и его не было на свете? Зачем? Предстоящая эта работа и пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила: интересно. Интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле тридцать, сорок, пятьдесят лет, и не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода-племени — дядя или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, не испытанные

еще чувства? Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь похожее. Это особый случай, особая история, которые наверняка не повторятся.

Но известно же, что человек только предполагает... Назавтра вдруг как снег на голову: Павла срочно, с посыльным, вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, по головотяпству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом.

Павел лишь на минутку забежал домой, приехав с луга, куда за ним гоняли машину, едва переоделся и без чаю, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула:

— Когда назад-то ждать?

— Не знаю, — на бегу отмахнулся он.

Андрей в тот день косил. Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте — на правом дальнем берегу за полями и кочкарником, и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один, прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, котелок и брусок, чтобы острить литовку. Он унес две литовки: вечером, пораньше, прямо с луга туда должен был завернуть отец. Но он не пришел, и о том, что случилось, Андрей узнал, воротясь в потемках домой. Выслушав бабушку, он уверенно сказал — так что поверила и она:

— Утром приплывет.

Однако утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, побежала к Андрею на покос. В кочкарнике после дождей стояла вода; если обходить — заворачивать далеко, долго, и она не от ума поперла прямо, выше колен провалилась в холодную вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и вынуждена была все-таки повернуть. Она совсем выбилась из сил, пока добралась до места, — Андрея там не было. Литовка, воткнутая в землю, торчала возле шалагана — старого, наполовину разоренного, крытого корьем еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми притаился шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него, присела под солнышко на поваленную траву — ноги никак не отогревались. Разувшись и растирая их руками, она осмотрелась.

Андрей не столько накосил, сколько напутал, — видно, отвык от крестьянской работы, позабыл, растерял, что умел. Валки топорщились высоко, сквозь них торчала уцелевшая, росто-

вая трава, прокосы были волнистыми. Приглядевшись, Дарья заметила, что валки успели подвялиться и обсохнуть, — значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких гона. И горькое, неприятное чувство сжало Дарью: нет, ничего из загаданного не будет. Ничего не будет, не стоит и надеяться. Все впустую.

Она крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей выбрался из тальниковых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках у него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Недосмотри — он в кусты, где ягодка... И как он один живет?!

Но она для того и пришла, чтобы снять его с работы. За день она извелась и, когда услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут же подхватилась: пусть сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом. Бог с ней, с косьбой: приедет Павел — накосят, не приедет — один Андрей так и этак не справится. Но она уже мало сомневалась, что на этом нынешний сенокос и закончится. Что нынешний! Никакого другого для нее и подавно не будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да и одна ли?.. Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать косьбу, она решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда проститься. Вся земля в Матёре своя, но эта из своих своя: сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, но сколько и снято, испытано радости!

Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, Дарья копошилась в огороде. После дождей густо полезла трава, размыло картошку, и ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После недельного полива, а затем тепла хорошо, богато пошли огурцы — снимай хоть два раза на дню. И Дарья снимала, жалея, что некому их есть, вспоминая то время, когда свои ребята, потом внуки караулили чуть не каждый огурец, размечая еще на гряде: этот твой, а этот мой... Давно ли, кажется, такое было? Вчера. Она сказала Андрею в тот разговор, когда он пристал с расспросами, что человек живет на свете всего ничего. И верно, не успеешь оглянуться — жизнь прошла. Только на три дня и можно рассчитывать: вчера, сегодня, ну и, может, немножко завтра.

В огород теперь, когда появилось что клевать, лезли курицы, опускались и небесные птички, и Дарья решила поставить пу-

гало. Она натянула на крестовину палок свой старый и драный малахай; не найдя подходящей шапки, повязала сверху грязную тряпицу и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого черенка, вдруг поразилась: да ведь это она и есть. Она, она... Встать вот так посреди гряды, раскинуть руки — и ни одна курица не подойдет, ни одна птичка не подлетит. А она еще искала, спрашивала себя, на кого она похожа... Господи милостивый! Или так надо?

Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают по комиссиям, история эта скоро не кончится... решили не косить. Но Дарья думала уже не о сене, она перепугалась:

— Дак он-то при чем? Его там не было. Он тут был. Пошто его-то таскают?

— За технику безопасности он отвечает.

— Ну и че ему тепери будет... за эту опасность? — За век свой Дарья давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив: на кого пальцем покажут, того и метит, того и судит, и что человеческая вина нередко прилипает без глаз.

— Ничего не будет, — как всегда, уверенно отвечал Андрей. — Потаскают, нервы потреплют, ну, выговор на всякий пожарный случай дадут. И все.

— Это он тебе говорел?

— Он говорил. Я и сам знаю. Известная штука.

Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей, объясняя, что дальше тянуть нельзя, что скоро попрет из армии солдат и на работу устроиться будет непросто. Но Дарья и не удерживала, не напомнив ни о сене, ни о могилах, — все шло так, как она и догадывалась. В этот вечер приплелся Богодул и долго сидел, скырныкая на Андрея зубами, который тоже, в свою очередь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом. В молчании пили втроем чай, но Андрей скоро выскочил из-за стола и, насвистывая, напевая что-то, стал укладывать чемоданчик, не скрывая радости, что уезжает.

Раньше Дарья не стерпела бы свиста: «Ты кого высвистываешь, кого из избы высвистываешь, такой-сякой?» Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставят. Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но она сделала вид, что не слышит, не понимает и этих знаков.

После, когда рассерженный, недовольный ею Богодул ушел, Андрей с возмущением спросил:

— Че ты его, бабушка, принимаешь? Че не гонишь от себя, зверюгу такую? Это же не человек, это зверь.

— Пошто не человек? — с какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью и скорбью отвечала она. — Он человек.

— Какой он человек? Ты погляди хоть раз внимательно на него, на образину. Страх берет. Он и говорить-то, как люди говорят, не может, по-звериному рычит да бурчит.

— А я его и без лишнего разговора понимаю. И он меня понимает. Я ить, Андрюшка, потеперь ищу, кто ровня мне, не какнить. Сама-то я лутше, ли че ли? Никого уж не остается, кто бы меня понимал.

Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с нею в избе, не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для нее подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай Господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой.

А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, и Катерина снова перебралась к Дарье.

Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в лесах, поспела, по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после Ильина дня отрезно, как после свадьбы, никто не купался, потому что «олень в воду напи́сал», нельзя. Отцветало небо и солнечными днями смотрелось тяжелым и мякотным. Погода больше не дурила, стояла ветреная, сухая, но уже чувствовалось, чувствовалось время: ночами было студено; ярко, блескуче горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось и в душе, сиротя и сжимая ее; по утрам, после особенно звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая всей сплошью Ангару; а дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем они могут свезти.

И верно, случался словно бы затор, и раза два или три, и все под вечер где-то далеко, за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, до дождя и буйства не доходило.

Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насмелились косить два дома: Кошкины или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти одна же, потому что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал, из уважения и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ. И хоть после метки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор им не попуститься коровой, отстоять свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упреком себе Дарья, что надо бы и ей попробовать взяться за литовку. А там бы видно было... тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей и не стряслась эта оказия с Павлом. Оттого, может, и стряслась, что долго раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить! Ни холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилась — нечего сказать. Эх, да что толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум?!

Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых высыпало видимо-невидимо, — будто за все оставшиеся наперед, оборванные годы. Где стоит хоть одна сосенка или елочка, — обязательно густой россыпью маслята. Подошли и грузди, осиновые и березовые, но эти всходили степенно и разборчиво, без спешки и колготни. Вообще это последнее лето, словно зная, что оно последнее, было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обыденок сходила и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Катериной перенесла домой. Бабы и ребятишки зачастили на Подмогу — там росла голубица, и тоже было вдоволь. В последние годы стали брать «воронью ягоду» — жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему эту горьковатую, и верно, как для ворон водившу-

юся, дикую ягоду, любящую вырубки и хлам. И уж одно то, что она подделывалась под голубицу и не имела своего чистого вида, не говорило в пользу этой жимолости. Вот и имя чудное, какое-то нечистое и жидкое, раньше на Матёре его не знали. Другое дело — смородина, черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на островах, на том и другом, было мало, только в рот покидать, за ней плавали за реку, на старые гари. Но для брусники еще и время не вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей никто никогда не осмеливался ее называть.

Дарья ждала Соню, невестку, думала, что, быть может, Соня приплывет и побегает, посбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня и глаз не казала — так, видно, поглянулось ей на новом месте. Не все же время она работает... Ну да как хотят, им жить. Только на второй неделе приехал, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Павел, привез старухам чаю и сахару, сказал, что будет теперь работать на тракторе, нагрузился огородной всячиной и, не пробыв полного дня, опять утарахтел на своей моторке. Дарья вышла за деревню к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в лодке, неподвижную фигуру, отлетающую словно от какой-то посторонней пущенности, и тяжело, устало размышляла: нет, не хозяин себе Павел. И не Соня им руководит, этого он не позволит, — просто подхватило всех их и несет, несет куда-то, не давая оглянуться... своим шагом мало кто ходит. Уехать разве к Ивану, второму сыну, в леспромхоз? А что там? Сторона хоть и не дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи, и неизвестно, не чужой ли сын. Может, съездить поначалу в гости, посмотреть? Нет, надо прежде проводить Матёру. Проводить Матёру и лучше всего к своим — туда, где своих в десять раз больше, чем здесь. Верхней, скользящей памятью Дарья помимо воли стала вспоминать, перечисляя тех, кто там, и вдруг вспомнила старика своего — Мирона. Вспомнила и замерла от стыда: стала забывать о нем, редко, совсем редко приходит он на ум. Господи, как легко расстается человек с близкими своими, как быстро он забывает всех, кто не дети ему: жена забывает мужа, муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит — волосы рвет на себе от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан

был беречь их и не сберег. А со всеми остальными случайно или не случайно — от одного отца-матери — встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся — каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить...

Одно лишь находилось у Дарьи оправдание, да и то если искать его. У Мирона, у старика ее, не было своей могилы, на которой можно посидеть и, вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что могло быть дальше. Он ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь землю провалился. И ни одна душа не сказала, что с ним сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья всполошилась не на шутку, забегала по деревне и добилась, что мужики снарядились на розыски, зная, где Мирон промышлял, но никаких следов не отыскали. Вместе с ним сгинули две собаки — попробуй догадайся, какая приняла всех их смерть. Он не старик и был, это она, примеряя его к теперешним своим годам, говорит «старик», а ему тогда едва перевалило за пятьдесят, в самой мужицкой поре. Примерно столько же, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить: отец был покрепче, поживей, характером потверже. Или это теперь только кажется? Многое, поди, было на самом деле другим, чем видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не тронув сердца. Выстудилось оно. Выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегодняшним днем, — той же Матёрой... Неужели и о Матёре люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих забывают так скоро...

«Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, — думала она. — С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или ты устал спрашивать? Отчего же вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, Господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти ты не даешь. Я уже не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землей: все вижу, а понять, че к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора... Пошли за мной, Господи, просю тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родне... к той, к которой я ближе».

Текла в солнечном сиянии Ангара... текло под слабый верховик с легким шуршанием время. За спиной лежала Матёра, омываемая той и другой течью; высоко над головой возноси-

лось небо. Прекрасна, значит, земля под ним, если так красиво и жутко небо. Остановят Ангару — время не остановится, и то, что казалось одним движением, разойдется на части. Уйдет под воду Матёра — все так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. «Что небу-то до Матёры? — поправляла себя Дарья. — Это людское дело. Она у людей в руках, оне над ей распоряжаются». И все же что-то в Дарьиных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих ее, рассуждениях обрывалось, для чего-то полного и понятного не хватало связи. И билась, билась, короткая и упрямая, оборванная мысль: течет Ангара, и течет время...

И хотелось с кем-то спорить, доказывать свое, зная даже, что правда не твоя.

Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у Катерины:

— У тебя не бывало, что никого нету, а будто кто с тобой говорит?

— Кто говорит? — испуганно отозвалась Катерина.

— Не знаю. Я седни пришла в себя, а я вслух разговариваю. Навроде как кто со мной рядом был. Спрашивал у меня, а я с им говорела.

— Царица небесная! Об чем спрашивал-то?

— Все смутливое, тяжелое... И не сказать об чем. Видно, с ума схожу. Скорей бы уж, ли че ли...

16

Это были уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки мирные, как бы домашние, дни. Потом нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать, — все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек, мужики — тоже молодые, разудалые. В первый же день, захватив Матёру и почуяв вольницу, они перепились, передрались меж собой, так что назавтра двоих пришлось отправлять к врачу. И назавтра они шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени: пожалейте, не губите христианскую душу. Но парни попросили луку, даже совали за него деньги и ушли; Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только Богодул, не боявший-

ся ни черта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе и смотрел на приезжих пристально и недовольно, а они, чувствовалось, хоть и задирали его и потешались над ним, но и побаивались: не человек — леший, мало ли что такому в голову взбредет. Босой, лохматый и красноглазый, с огромными, как у обезьяны, руками и цепким пугающим взглядом, он поневоле внушал к себе почтение, а когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем есть грех, а может, и не один за убийство, Богодула и задирать стали меньше. Но вдобавок к старому дали ему еще одно прозвище — «снежный человек», на что он, как и положено сошедшему с гор снежному человеку, рычал и матюкался.

Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, и хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли: не свое собирают — не им и страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят, все равно эта земля родит в последний раз, а могло случиться так, что и нынче б уже не родила — все равно... Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал; лодка сновала в поселок и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против прошлых колхозных лет, могли управиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим... А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательного переезда, опять в деревне остались в сторожах одни старухи. Перед тем как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели — все ли там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на все запоры.

А время шло. День да ночь — сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще непоправимей подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые, подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Громко и бранно звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись, подолгу урчала там заведенная машина, пока наконец не влезали в нее и не отъезжали. После этого у поварни за конторой начинали мелькать бабешки, которых трудно было различить со стороны: все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три, как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про одну говорили, что она чья-то, кто здесь же, с ней, жена; две другие, безмужние, страдовали нелегкую страду. К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, почесываясь и зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше — снова спать или жить? Тут, подкараулив, брали его в оборот бабешки, заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне, и тогда оттуда, из поварни, слышались возня, шлепки и смех.

Днями припекало, струился перед глазами нагревшийся воздух и горчил от спелого сухого духа, исходящего от трав, от хлебов, от всего, что принес урожай. С полей доносился приятный, будто и не машинный вовсе, стрекот комбайнов: на одном работал свой, матёринский парень из семьи Кошкиных, на другом — кто-то из приезжих. К правому, удобному для погрузки берегу рядом с пинигинским покосом подогнали баржу, которая доставила на остров вторую машину и трактор и в которую ссыпали от комбайнов зерно. Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь подвозили приезжим продукты и шло всякое иное сообщение между Матёрой и поселком. И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец. Это ведь как: только покажи одна, и пошло-поехало... Кудахтанье и визг раздавались каждый день. Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена рубилась мужиками и на плаву стягивалась в одно высокая, в два наката со стояками, большегрузная платформа.

Видать, видать конец... И назначенный срок не опоздает, и люди не оробеют — вон как взялись, сколько понагнали рук!

На Подмогу, где не было полей, только выпасы да леса, высадилась другая бригада — эта из леспромхоза. Весь скот оттуда в день велено было перегнать на Матёру — хорошо, вода в протоке стояла низкая. И запылала Подмога — вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем леса. Дула низовка, и весь дым с Подмоги несло на Матёру — не видно в иные часы было неба, солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот забивался в стайки и мычал, совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топоча и роняя с губ пену; кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокойней, но и они боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались:

— Что делают-то? Что делают?! Пошто было не подождать маленько! Этак и Матёре недолго пыхнуть. Сушь такая... Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной искринки хватит.

А не свои, больше некому, подожгли в ответ мельницу — или по чьей тихой команде, чтоб потихоньку подчищать, или без нее, из одного озорства: все равно гореть — ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать — мы свой добудем, с треском, с огоньком! И добыли. Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево уже и не с нижней стороны, от Подмоги, а с верхней, слева от деревни. Кроме как мельнице

пылать было там нечему. И, воротясь торопливо в избу, Дарья растормошила Катерину, которая уже улеглась:

— Пойдем, простимся с ей. Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их — никто добрым словом не помянет! Пошли, Катерина.

— Куды? О чем ты? — испугалась та; всего они в последнее время боялись, от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали — не беду ли оно несет, не о худом ли скажет?

— Мельницу запалили. Помешала она имя. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас под послед увидит.

На подъезде возле горящей мельницы, и правда, толпились одни приезжие. Что делает огонь пожирающий с людьми, почему так страшно он на них действует? Эти как с ума посходили: они прыгали, кричали, бросались под жар — кто дальше забежит, дольше подержится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабешки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастливы. Какой-то парень, совсем еще молоденький, глупый, залез на березу и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки. На него, как на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего происходящего кругом, — на парня и на нее показывали пальцами и покатывались со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха, потеха... На березе свертывались, подрагивая, листочки, западали с жаркой стороны тяжелые ветки, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной, прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей.

Горело с жутким, идущим изнутри подвывом; высокое пламя загибало поверху ветром и обрывало; сажные лохмотья неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытые от чужих людей кустами, чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже потерялась в огне — казалось, он, играя, то поднимал ее над землей, то опускал; верилось даже, что все это огромное бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Ангарой, пугая народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость.

Старухи не услышали, когда к ним подошел незнакомый, тоже из приезжих, но немолодой уже мужик в распущенной клетчатой рубахе — где было и услышать в том гуде и треске!

Постояв рядом, мужик спросил — в голосе его прозвучало участие:

— Хорошая была мельница?

— Хорошая, — без испуга ответила Дарья.

— Понимаю, — кивнул он. — Послужила, выходит, службу. — И протянул: — По-е-ехала!

Слово это — «поехала» — не выходило потом у Дарьи из головы и стало главным, все объясняющим, ко всему, что происходило вокруг, приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрела вслед: поехал. Гнали к Ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки, — и Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженный жердями плот не плот, паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их к скобам и трогают от земли. Поехали. Несло горький черный дым с Подмоги, который набирался в жилье и доводил до кашля, и она думала: поехала Подмога, поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо — поехал, христовенький... Тянули к берегу зароды — пое-ехали! Все меньше и меньше оставалось своего, привычного, все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к отъезду; голоса чужих людей звучали в ней как в бочке, а собственные где-то терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза — пустела Матёра, свободно было взгляду.

Клавка Стригунова, с помощью забитого бычка сойдясь с приезжими, подговорила их спалить и ее избу — не терпелось Клавке получить деньги. Они, конечно, в удовольствие себе за милу душу спалили; спасибо хоть — не пустили огонь на соседние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная дымящаяся яма, а глаз, не находя опоры, проваливался и обрывался, как в колодец, в дальний ангарский простор. Разъединилась, распалась Матёра на две стороны...

В тот вечер, когда «поехала» мельница, Дарья с Катериной, воротясь в темноте с пожара домой, натолкнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Они сидели перед запертой дверью: Колька хныкал, Сима, успокаивая, что-то наговаривала ему. Она торопливо поднялась навстречу старухам и, как всегда, когда нервничала, поглаживая себя ладонью по щеке, взмолилась:

— Пустите севодни к себе... боимся мы. И он не спит, плачет, и я не могу. Так страшно... так страшно...

Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала: днем Сима еще уходила к себе, копошилась там по дому и огороду, на ночь же возвращалась к Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не одной только Симе. Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:

— Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!

— Кого убьешь? — всполошилась Дарья. — Как я тебе ее дам? Ишо правду убьешь! Ты че это? На кого так?

— Гор-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их... — Он гулко, как выстрелил, прукнул губами.

— Из ее, однако что, и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. Ишо сам живой был...

Но Богодул снял берданку и унес — разве что попугать кого, потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы: у него ума достанет и пальнуть, если разгорячится, на то он и Богодул. Теперь только этого и не хватало. С него взятки гладки, с нее, с Дарьи, тоже много не спросишь — таскать, стало быть, возьмутся опять Павла.

Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке... Картошки, всякой другой овощи было вдоволь, мучица оставалась еще из старых, из колхозных запасов, чай, соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал — он теперь работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко свое; Дарья была рада, что есть наконец кому пить его, и подливала Кольке и утром, и вечером, наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке, Катерина, как и раньше, стелилась на топчане, Симе с Колькой отдали кровать. После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул — этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак. Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали:

— Эй ты! Партизан!

— Снежный человек!

— Турок!

— С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?

— Ты спроси, какого он сам образца. Не служил ли он у Петра Первого?

— А у Ивана Грозного не хошь?

— Да она у него и не стреляет.

Богодул только и ждал этих слов.

— Выдь! — показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины. — Выдь, кур-рва!

Но охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось; Богодул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся.

17

А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли, — после раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы услужить им; коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной, одна на весь белый свет, казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей — и слова возникали как бы сами собой, без усилий, память была легкой и покладистой. О чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но от Матёры да от самих себя отворачивали редко, так одно по одному на разные лады и толкли.

На этот раз должно было икаться Петрухе: начали с него. Клава Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там при деле: занимается пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в это можно поверить, а Петрухе она — дело знакомое, он с ней управляется почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят, и платят вроде неплохо, он не жалуется. «Сытый, пьяный, и нос в табаке», — будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на пароход

прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься и Клавку, но она якобы отказалась, потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей ненадежным, а она была при деньгах.

Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом:

— Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову потерял?! Как он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле ходить хочет? О-ё-ёй!

Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

— Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи — не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папирёсу запалил, и грейся — куды тебе с добром! Подволошна — деревня большая, версты на три, однако что, растянулась... Там ему работенки хватит.

Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитанья сказала:

— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб убирать али избы жегчи — кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм... Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает — прости, Господи!

— Пущай другой... пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку надел, ему не отмыть ее будет.

— А нашто ему отмывать? Он и с ей проживет не хуже других. Ишо и хвалиться будет. Ты об ем, Катерина, сильно не печалься. Ты об себе попечалься. А он че: эта работенка кончится, другая такая же найдется.

— Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня будут пальцем тыкать...

— Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не знают. Ты сколько жить собралась — сто годов, ли че ли?

— Может, поехать туды? — не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. — Очурать его? Сказать: че ты делаешь?

Дарья с удовольствием подхватила:

— Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят — подволошенские али матёринские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то и все три зараз запалит — ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для

этого дела тебя на катере отвезут. Очурай его. Че это он чужие избы жгет, ежли свои ишо не все погорели. Ох, Катерина, пошто мы с тобой такие простофили? Жили, жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы... Ну?

И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда она не поедет и ничем Петруху не проймет и не вразумит: был Петруха и останется Петруха. Так, видно, до смерти своей и не бросит петрухаться, такая ему судьба. А ей судьба — быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди... Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной — ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно, сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится — ни для совести, ни для стыда? Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет и ни одна душа, перед которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что толку? Дарья... Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой... и жить-то уж ничего не осталось...

А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином, месте. Это что же такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит. Вот ей не надо стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И так же, получается, разговаривала бы с нею Катерина, окажись Дарья матерью Петрухи. А где же тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? И стань она, Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с малолетним внучонком на руках — тоже была бы тише воды, ниже травы? А что поделаешь? — наверно, была бы. Как мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез. Неужели правда она могла бы быть такой же, как Сима? — совсем ведь разные люди.

Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему Кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил

ночной: ярче обозначались окна, мертвым сиянием дробился мутный воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые дроглые тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и безостановочно собака — устало, беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из Симиного шепота доносились отдельные бессвязные слова — будто тоже тени слов настоящих, такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала:

— А много ли, кажись, надо... Царица небесная, послушай. Только и надо: чтоб пристроился он, беспутный, куды... Занялся человечьим делом. Оно и без Матёры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды и на меня, глядишь, такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха, вставай, на работу пора. Собирала бы узелок на обед. Пущай бы он на меня ругался, пущай хошь че — я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал.

— Женить его надо, — недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о Петрухе. — Ежли ты с ним не можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовые рукавицы взяла. Иначе толку не будет.

— Кто за его, беспутного, пойдет...

— Дак ежли бы он маленько за ум взялся — пошто не подти?!

— Он так-то добрый, — обрадовалась Катерина тому, что вот и Дарья, значит, не считает его совсем пропащим человеком, что и она видит для него пусть слабое, ненадежное, но спасение. — Сердце у его мягкое...

Дарья наверху, на печке, хмыкнула: как не мягкое... мягче некуда.

— Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас телка была... недоглядишь ежли — весь хлебушко ей скормит. Режет на ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала: подойдет вечером под ворота и кричит, кричит: это она его зовет. Я отгоню — она со двора зайдет и тошней того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть — съест, а не успокоится, надо, чтоб он вышел. А он даст — самдели уйдет. И раньше корова была... увидит, что она мое сено подчистила, тайком от меня, чтоб я не ругалась, ишо ей кинет. Тоже подкармливал. А сколько этих щенков перетаскал! Где он их только подбирал?! Особливо ежли нетрезвый — ну обязательно щенка под пазухой тащит. У нас одно время четыре, однако что, собаки собралось. Я надселась на их кричать. Кажной кусок надо бросить, и их, кусков-то, на себя не хватало. Нет, он ничего не понимал.

— Ишь, до чего добрый! — не утерпела, ковырнула Дарья. — Собак блудящих он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это не его дело.

— Беспутный. Я говорю, что беспутный, — привычно ответила Катерина. — Он и корове подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю, чтоб растянуть, по норме даю, а он как попало. А потом, под весну, и бросить нечего.

— Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, че делать будешь, как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куда? Ты об етим подумала? Она мне про корову толкует, коровы уж сто годов в живых нету.

— Я и говорю... — Сказать Катерине было нечего, голос ее без твердости и надежды звучал пусто. — Ежли бы он куды пристроился... дали бы угол...

Дарья громко, на всю избу вздохнула: ах, кабы на цветы да не морозы...

Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть: вступила, усыпив Кольку, Сима, и она потянула его туда же, в ту же сторону.

Сима сказала:

— Каждому свое. Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним. Внучонка бы дождаться, нянчиться...

— Ой, не говори, Сима, — простонала Катерина, не смея и надеяться на такое счастье. — Не говори.

— У меня тоже от дочери помочи ждать не приходится. Тоже не знаю, куда голову приклонить. У меня хоть Коляня есть. Для него из последних сил надо жить. А как жить? День и ночь думаю, день и ночь думаю: как жить? куда двинуться? Нашелся бы старичок какой...

— Господи! — взмолилась Дарья. — Ить это надо! У самой уж... а она все про старичка! Ну... Какого тебе ишо старичка, невеста ты, прости Господи, на семьдесят семь дырок. И из каждой песок сыпится. Че ты у старичка делать будешь?

Сима обиженно молчала.

— Ну, на что он тебе? По каку холеру он тебе потребовался? — добивалась Дарья. — Пошто ты нам не скажешь?

— Мне, Дарья Васильевна, скрывать нечего. — Если «Дарья Васильевна», не на шутку, значит, разобижена Сима. — А мечтать никому не запрещается, да. Катерина мечтает возле сына жить, и я мечтаю. Мне тоже охота свой угол иметь. Я не так чтоб совсем старая, на домашнюю работу сгожусь. Вошла бы в дом, никто не пожалел бы. Мне много, Дарья Васильевна, не надо. В

мои годы люди сходятся не детишек рожать, а полегче друг возле дружки старость принять. И Колька бы рос, у меня об Кольке забота. Я об чем попало не мечтаю. А на что гожусь, на то гожусь. И постирала бы, и сготовила.

— Годисься, годисься...

— А если тебе мечтать не о чем — че ж... Не наше кукованье. Дети в люди вышли, не отказывают. Это нам на сирую голову... Не все же плакать...

— И песенку старичку бы спела?

— А славный старик бы попался, и песенку бы спела. Он бы послушал.

Теперь замолчала, отступив, Дарья, смущенная позабытым словом «мечтать». Симе ли его говорить? Дарье ли его слушать? Мечтают в девичестве, приготовляясь к жизни, ничего о ней еще толком не зная, а как почал тебя мужик да обзавелась семьей — остается только надеяться. Но и надежды с каждым годом все меньше, и она тает, как снег, пока не истает совсем, впитавшись в землю, — и вот уже перед тобой не надежда, а парком дымящиеся из-под земли воспоминания. Ну так Сима — что с нее взять! В мечтания ударилась! Сирая голова, да не головкой звать. Вольная птица, да присесть некуда, все места заняты. А летать — крылышки не те. «Хошь Сима — да мимо», — вспомнила Дарья дразнилку. Мимо и будет, не иначе. Но, размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей, Дарье, от завтрашнего дня не надо... Не то что мечтать — куда там! — не то что надеяться, но и самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло в одну сторону. На что ей, верно, надеяться? На смерть?

Этого не минуешь, на это можно не тратить надежду. А на что еще? Не на что. Стало быть, скоро и помирать, если жить больше не с чем. А Сима с Катериной подержатся, поживут, и не потому, что они помоложе, силенки у ней тоже не все еще вышли, а потому, что есть у них тут дело: Симе — поднимать мальчонку, Катерине — беспокоиться о Петрухе, надеяться на его выправление. Они кому-то нужны, этой нуждой в себе они и станут шевелиться, от нее же никому ничего не требуется. Сейчас она в сторожах, а переедут, и этого не понадобится. Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может. Тут ему и конец. И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без надобности, без полезного служения, крест-накрест складывали на груди лапки.

Стало еще светлей и неспокойней — вышла в окно луна. Все бренчала и бренчала жестяным голосом одуревшая собака —

прямо в уши вонзался этот навредный лай. Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать — и так захотелось, настолько показалось необходимым, что она, понимая, что незачем это, все-таки торопливо опустила ноги в носках на приступку, сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну. Пол-ограды было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде; пол-ограды лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. «Как вареный», — вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья — надо было что-то сказать — спросила:

— Уснул мальчонка-то?

— Уснул, — услужливо ответила Сима. — Давно уснул. А ты че?

— Так. Спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько, посмотрела, вы со мной говорели али не вы. Полезу назадь.

— Ну и кто с тобой говорел? — спросила Катерина. — Мы, нет?

— Кто вас разберет? По голосу навроде вы, а по словам — каки-то молоденькие. Ох, че щас Настасья наша — спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас поминает. Она ить не знает, что мы теперь в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья — от и коммуния, никого боле не надо. Ей-то, поди-ка, есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, че и за всю жизнь не видывала. За себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы слушать.

Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе:

— Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи. А хужей того — злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде незлая была. А потеперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать, дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут — ну и пущай. Оне хозяева, ихное время настало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не бросют, а боле мне ниче и не надо. Так, нет я, девки, говорю?

«Девки», не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались.

— Уснули, ли че ли? Ну спите, когда уснули. Скоро, однако что, рассветать зачнет. А рассветет, белый день выйдет — ишо потопчемся. Оно, может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не

об чем, люди говорят, твоему сердцу болеть. Только пошто оно так болит? Хорошо, ежли об чем одном болит — поправить можно, а ежли не об чем, обо всем вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет... Никакого спасу. Сильно, выходит, виноватая. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая, в чем каяться мне, многогрешливой? Рази можно без покаяния? Ох, да спи, спи... Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка, когда боле ниче бы и не было, можно жить.

18

Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый — унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под долгим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет божий рыжики, которые нынче опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разорные запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды, — сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле, и не набирался, после него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что пришла пора копать картошку.

Приезжие, покончив с хлебом, слава Богу, снялись — после них и прошел этот благодатный, очистной дождик. Стало полегче, поспокойней, можно было без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. Но прощание они устроили шумное, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне; верещали бабешки, кого-то успокаивая, а когда успокаивают бабешки, значит, больше того стравливая, сшибая злость со злостью; всю ночь как полоумные шарашились, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром, перед отплытием, на жаркую память подожгли вслед за собой контору, в которой квартировали. Только они отчалили, вышел из кустов на верхней протоке еще один из этого же войска — покорябанный, грязный и страшный в свежих лохмотьях на одежонке, имевший какую-то причину скрываться от своих. Завидев огонь, он кинулся в деревню — как бежал, не обрываясь, влетел в конторскую дверь, за которой у него, видать, что-то осталось, каким-то чудом сумел развернуться внутри и выскочил ни с чем обратно. Поплясал, поплясал поджаренно и успокоился, стал, отойдя, смотреть, как горит.

Горело на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще в темноте горячим, накальным жаром полыхала высокая горка углей — то, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром, когда проснулись, горела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на отставшего от орды парня нельзя было: он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессованный под ногами назем на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым — дым больше так и не сходил с Матёры.

На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и закуткам птичье перо. Не дай Бог, попадется на глаза живая курица — загоняют и отеребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха: зажав вдвоем меж ног, его уже доканывали. После этого чудо какой голосистый петух уже и не кукарекал, а только жалобно по-утиному крякал, — смертный страх даром ему не прошел. Куриное перо работнички втыкали в картофелины и с силой подбрасывали вверх — игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего потешней, если она находила цель, угадывала на чью-нибудь склоненную спину. Просто швырять картошку — хулиганство, а с пером — игра. Играли — такой народ! Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина. Наверно, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Дарья однажды издали наблюдала: галдят, жгут костры и, окружив, караулят их, чтобы ненароком не убежали, но кто работает — подвигается споро, вырывает ботву как коноплю. А что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чистя себя, готовясь к новому урожаю, она сама выказывала худую работу на глаза, а теперь, перед смертью, и ей было все равно.

В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин — из конторы, больницы, детсада, столовой — откуда только можно. Совхозное начальство, не без понуканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде всего прибраться на дальней и неудобной Матёре, сюда и гнали людей. И прибрались, верно, быстро: в прежние годы самая бы страда, самая работа, а нынче — все, конец, хоть праздник справляй. За центнерами не гнались: сколько окажется, столько и ладно, была бы очищена земля. За центнеры никто не спрашивал. Новому со-

вхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток — чего ж было на приговоренных, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? Пришло время обходиться без того, что давала эта земля.

Из матёринских баб на совхозную картошку мало кто ходил: сидели на собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь, в отличие от сенокоса, не сходились вместе, не пели песен, не вели о подступающей жизни бесед — торопились, каждый жил в своем доме, в своем огороде своим, а подступающее затопление уже и без бесед брало за горло. Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц: четвертый куль — твой, но скорей, скорей... Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собой паром — и будешь прыгать, кричать перевозу. Совхозное добро вон уже отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все больше оголялась и сквозила Матёра. Да и какие песни — полдеревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили. Какие песни! Горели уже матёринские леса, и в иной день остров, окутанный дымом, с чужого берега было не видать — туда, на дым, и плыли.

Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая, перебрались на Матёру. Было их то пятеро, то семеро — мужики, не в пример прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матёре устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными — той последней окончательной работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матёру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо, посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей — пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню. И верно, Богодул приметил, как к ним в барак приходили и долго толковали о чем-то Воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то они и поджигатели. И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не они, так другие сделали бы то,

что положено делать, но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то они, глаза видели перед собой их.

Картошка напоследок наросла не просто богатая, а дурная: два куста — ведро, два куста — ведро. А ведра, конечно, не базарные — свои. И так у всех, кто хоть мало-мальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег. Но, охая над белыми и чистыми в песочке, крупными, как поросята, картофелинами, охали и над мешками, которые приходилось ворочать по многу раз, прежде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С огорода на телегу ворочай, с телеги под яр ворочай, с берега на паром или катер ворочай, а подводу надо караулить, потому что на деревню осталась одна кобыленка, всех остальных увезли, а машин не осталось уже ни одной. Паром тоже не ждет под берегом. Мучились, ох мучились с этим богатством! Но самое страшное оханье: куда ссыпать там, в поселке? Совхоз, правда, чтобы выйти из положения, предложил свое овощехранилище, едва заполненное до половины, но это только подумать хозяйке: в одну огромную общую яму ссыпать свою картошку, которая кажется лучше, роднее и вкуснее любой другой, и достать потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к черту на кулички, а он, черт с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на печке спит! Что тут говорить! Не у себя — не свое. Да на двенадцать деревень никакого и подземелья не хватит.

Но это там, там, впереди... Здесь же надо было поскорей выкопать и увезти, чтоб не унесло водой.

Пинигины управились со своей картошкой в три дня, на четвертый остался небольшой докопок. Отпросился с работы Павел, впервые за лето приехала Соня, но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в конторе на счетах, с молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, эта Мила запрокидывала кудрявую, папашью голову и закатывала глаза, ну, а раз смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые, слепые. Что ни скажи — ей смешно, а того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она поначалу и не понравилась Дарье.

— Как, как, говоришь, ее зовут? — нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжая.

— Мила.

— Мила? Рази есть такое имя?

— Есть, — смеялась приезжая. — Есть, бабушка, есть. А что?

— Ишо не легче! Раньше это парень любую девку мог так скликать. Все милки. Частушки про их складывали. Нешто не слыхала? А теперь телок так зовут.

— Телок? — пуще того заливалась работница. — Ты, бабушка, скажешь... Значит, я телка? Похожа я на телку?

— Однако что, похожая, — с удовольствием соглашалась Дарья. — Тогды правда что Милка.

Работница копала два дня, и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным, под смех ее, именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем и у нее, как у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это, выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку — пускай, христовенький, отдохнет маленько. К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:

— Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой... У их хорошие бывают наклички. У нас, помню, Зойка была — куды с добром! Глядишь, и хаханькать стала бы помене. Че это тебе все смешно-то?

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала: может, это и хорошо, может, так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей. Есть они — ха-ха, и нет — ха-ха! К таким и горе придет — не поймут, что горе, отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть не пристанет близко к сердцу, все в леготочку, вся жизнь — потеха. И верно — чем плохо? Где бы такому научиться?

Павел на третий день повез картошку. Пятнадцать мешков нагребли, во всю имеющуюся тару, а наваленная в огороде куча едва поджалась лишь с одного края. Да еще сколько копать! Это значит, возить не перевозить. Дарья намекала, что надо бы помочь Катерине, увезти и от нее мешков пять; на Петруху надеяться нельзя, то ли он покажется, то ли нет, а старухе где-то жить, что-то жевать.

— Куда я их?! — не отказывясь, не зная действительно, что с ними делать, пожимал Павел плечами.

— А свою куда?

— Что не войдет, придется пока на веранду высыпать.

«Не войдет» — это в подполье. Павел промучился с ним с месяц: привез с Ангары песочку, сделал настил и избавился-таки от воды (хорошо еще, что дом угадал на взгорке: у кого в низи-

не — там не избавиться), но теперь оно стало заметно меньше, много в него не столкаешь. Отрывать в сторону — возни не оберешься: подполье цементированное, а отроешь — как знать, не забулькает ли снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть.

Соня, копавшая два дня внаклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за поночевство, пришли Сима с Катериной. Покуда у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья порой смотрела на нее как на незнакомую: потолстела, одрябла, остригла на городской манер и закручивала в колечки волосы, отчего лицо сделалось больше и круглей; глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. В Матёре не до болезней было, тут и фельдшерицы не усиживали: приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворый, и назад.

— Как там — ндравится? — осторожно спросила у Сони Дарья.

— Да уж не здесь, — не объясняя, с какой-то злостью ответила она. А что «не здесь» — хуже, лучше? — поди разберись.

И представила Дарья, что и отношение к ней, к старухе, там будет другим. Тут она жила в своей избе, все кругом на десять рядов было своим, идущим от нее, и над всем она почиталась хозяйкой. Пусть даже и не старалась показывать себя ею — это признавалось само собой. Там хозяйкой выступит Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей быть в силе, — пора выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее. Человек не может без того, чтоб над кем-нибудь не командовать, это ему самая сладкая служба, и чем дольше он просидел под началом другого, тем больше старается потом наверстать свое.

Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Вывозили картошку, вывозили, у кого оставался, скот, подбирали последнее, что еще могло пригодиться. Отставлять наперед больше было некуда: наступила та самая, объявленная крайним сроком, середина сентября. Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку, — по четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав, надломившись возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел. И без того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать

мешков, хватит с головой. Катерине он советовал сбыть все, а что понадобится на жизнь, обещал из своих запасов, картошка одинаковая. Но три куля Катерина все-таки оставила — мало ли что! Разбогатела на двадцать рублей и Сима — этой совсем некуда ничего девать, не то что рассчитывать, а огородишко, хоть и некорыстненький, что прошено было у него и даже сверх того, принес. После Сима охала, что надо было продать больше, а она придержалась, половину картошки для чего-то сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела.

Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. Настасья не ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла из него куриц — неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню последним: опустели кормильцы. Только кой-где торчала еще морковка, да свекла, да редька. Капусту, зная, что не дадут ей затвердеть, мало кто сажал. Не видя больше надобности в себе, заваливалась городьба, ветер позванивал на высоких грядках высохшей тонкой огуречной травой, ерошил бесполезную картофельную ботву. Только Вера Носарева для порядка стаскала ее, как и раньше, в копну, а увезти, пустить в корм скотине отказалась и она: больше того мороки. Не до ботвы — хорошо хоть сено переправила, и тому не могла нарадоваться.

Не ехала Настасья, и старухам ничего не оставалось, как приняться и за ее огород. Что делать? Закрыли в Настасьиной избе ставни и ссыпали картошку на пол, а для чего копали, для чего ссыпали — чтобы сгореть ей вместе с избой или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жаренными на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес, — вот так же, может случиться, испекут и картошку. Но в земле оставлять совестно — как, правда, допустить, чтоб не выкопать, это уж совсем из рук вон. Должна все-таки Настасья приехать, раз судилась, — как им там без картошки? Может, что задержало, может, вынырнет из Ангары в самый последний момент, когда будет не до копки, а сгрести времени много не потребуется, сгрести они ей пособят. И выкопали — нет Настасьи...

Вывезли скот; Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умница и послушница Майка, напуганная разором, огнем, одиночеством и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву — Майка мычала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью осмеливалась она выбраться из нее, да и то не на вольную волю, а в огород

рядом, чтобы подкормиться там ботвой, и обратно. Долгими часами стояла стоймя с наклоненной, вытянутой вперед, к дверке, головой, все время чего-то в напряжении ожидая, к чему-то готовясь. И когда Павел накинул ей на шею веревку и повел, Майка послушно пошла — куда угодно, на что угодно, но прочь, прочь с этой страшной земли. И послушно поднялась по доскам на паром, дала себя привязать, отвернувшись от Матёры, кося глазами на далекий противоположный берег.

Дарья, провожая ее, заплакала.

— Ну что, мать, — еще дома сказал ей Павел, — может, и тебя сразу соберем? Больше как будто тут делать нечего.

— Нет, — твердо отказалась Дарья. — Меня уж ты покуль не трогай. Я не корова, чтоб просто так с Матёры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне есть че делать.

— Подожгут скоро, мать...

— Пущай поджигают.

И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к чему спрашивать:

— Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?

Павел сник, на него было жалко смотреть.

— Видишь, как все нынче получилось, — стал оправдываться он. — Собирались же... если б не эта... А теперь когда? Я три дня сменщику задолжал. Наверно, не выйдет, мать. Не мы одни...

— Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут, — предрекла она. — О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то могилок?!

Когда Павел уехал, она пошла, еще не остыв, не успокоившись после этого разговора, на кладбище. День опускался, солнце скатилось больше чем наполовину и грело сухим остывающим зноем. Сильно и удушливо пахло гарью: снималась с земли, отлетая в небо, сосновая пустошка за поскотиной, и бесцветное, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик пламя то выскакивало вверх, то опадало. Если бы не треск и гул, доходящий оттуда, и не понять бы, что пустошка горит: дыма от нее почти не отличить было от приносного, стелющегося над Ангарой, чужого дымления. Дул слабый, угарный верховик, в горле у Дарьи першило, голова кружилась, ноги ступали наугад. Справа, за поворотным мысом, все еще доносился стукоток катера, с которым поехала Майка. Вот и Майка поехала, чуя беду здесь и не чуя ее там, где теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортилось мясо.

Воротца на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами, на первой же полянке, чернела большим пятном выжженная земля. Дарья вскинула голову и не увидела на могилках ни крестов, ни тумбочек, ни оградок — то, чему помешали старухи в начале лета, выступив войной против незнакомых мужиков, потихоньку под один огонь и дым сделано было теперь. Но теперь Дарья не почувствовала ни возмущения, ни обиды — один конец. Много чего было видано и вынесено с той поры — сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого — ну и ладно, что дождалась, так ей написано на роду. Озлиться нельзя: она шла к своим, а идти туда со смутливой, несогласной душой не годится, пришлось бы поворачивать назад. Один, один конец...

Она повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать, те, кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от вывернутого креста. Слева, ее клали первой, покоилась мать, справа отец. В изголовье, но не на холмике, а на сocтупе с него, росла рябина, посаженная когда-то ею же, Дарьей, на траве валялись клеванные птицей красные ягоды. А в изножье стояла сосна; в ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь и в помине не было, она взошла позже от вольного упавшего семени. Холмик давно уже казался Дарье чересчур коротким, она не раз удерживала себя, чтобы не прилечь, вытянувшись, и не примериться к нему, понять наконец, скатилась ли с него за долгие годы земля, или, верно, так невелик человек. Ветки рябины и сосны сошлись наверху вместе. И жутко, грешно, и угодно было думать, что, быть может, и в их жизни, как и в ее, есть какой-то долей участие тех двоих, лежащих в глуби, откуда питаются корни. Все, все кругом родное...

Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только на кладбище и чудится духом человеческого избывания.

Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма, ни разоренных могил, и, покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько объявилась:

— Это я, тятька. Я это, мамка. — Голос был неверный, вяклый, и, помолчав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для дальнего проникновения тоном. — Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька, придется

мне мимо Матёры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе лягчи, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я, на меня пало. А я бестолковая, не знала, че делать. Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила... я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А теперь че? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет... А я, клятая, отделяюсь, другое поселенье зачну. Кто мне такое простит?! Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? — Она уткнулась лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали. И туда, в траву, в землю, горько пожаловалась: — Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму. Сами видите. А меня-то вы видите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к вам надо... рази можно мне к живым? Я ж туда непригодная, я вашего веку. Мне к вам... я бы избу ишо проводила и к вам. Пушай огонь, вода... — Она подняла голову и поправила платок. — Избу нашу, тятька, не седни завтри тоже... тоже туды. А я глядеть буду. Подойду, чтоб не сильно пекло, и буду глядеть, хорошо ли горит. А после приду и скажу тебе. Че я сделаю? Ну?

И вдруг ей пришло на ум — будто донесло угадывающимся шепотом откуда-то издалека-издалека: «А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась, а как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо избу. Мы все в ей жили». Вздрогнув, Дарья торопливо согласилась: «Приберу, приберу. И как я из памяти выпустила? Сама бы должна знать. Приберу».

«А ишо че? — надеясь на ответ, спросила она. — Ишо че мне делать? Как быть-то мне?» — и напряглась, натянулась, вслушиваясь, собирая в одно слабые проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное не сказалось. Попрежнему было тихо, шелест листьев и травы не сошелся в ответ. Она спросила еще раз, уже без надежды, — могилы молчали. И она решила, что не получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его получить? Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они, — не стыд ли?

Дарья подняла глаза — в верхушках деревьев висел дым, в высоком небе плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому леску, длинные тени казались закругленными и твердыми — вдоль одной такой тени прыгали, как по лежащему стволу, друг за дружкой две пташки с задран-

ными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки, — было еще не время. Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, — все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче, все нетерпеливей и яростней... Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной...

Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью: «Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так».

Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет земля, — отметила она. — Седни, как никогда, тянет». Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше... Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое

прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его — солнечный свет померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.

А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше — впереди или позади? И кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного подергивания — зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной матёринской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она, — и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было — то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.

«Устала я, — думала Дарья. — Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти».

И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до

конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла.

Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя; прокалывались в небе звездочки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий «царский листвень». И тихо, без единого огонька и звука как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матёра.

19

Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский листвень» — так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его — тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвень присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имелись свои причины.

Толстые огромные ветви отходили у «царского лиственя» от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны — будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «Пашиным суком»: когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая матёринская девка Паша. Колча-

ковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.

И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под «царским лиственем» после войны: все с того же «Пашиного сука» оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.

Вот сколько всяких историй связано было с «царским лиственем».

За век свой он наронял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок, — и кора со временем сползла, листвень оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкие, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление — и только, все остальное казалось цельным и литым.

А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.

И вот настал день, когда к нему, «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых

две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.

Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, — с такой силой он спружинил обратно.

— Ого! — изумился мужик. — Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды два — четыре. Не таких видывали.

Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым визгом, шоркали. По той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и, как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились: на том и другом темнели дырки.

Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызванивая, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

— Как железное, — признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу: — Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять — двадцать пять.

Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Отставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

— Вот так, — удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. — Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое

дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.

Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.

— Гляди-ка ты! — удивился тот же мужик. — Стоит! Ну постой, постой... — Это был веселый мужик, он баском пропел: — «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».

Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой — пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.

— Ну зверь! — с восхищением щурился на листвень веселый мужик. — На нашего хозяина похожий. — Он имел в виду Богодула. — Такой же ненормальный. Нет чтоб добром согреть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть — тридцать шесть.

— Плюнуть на него, — неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя — в болотных сапогах. — К чему нам дочиста все соскребать!

Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:

— Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.

— Пилу надо.

— Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.

— Я говорю про бензопилу.

— Не пойдет. Ишь че: ширше... — следовало непечатное слово. — Для него твоя бензопила — что чикотка.

Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он. — Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.

— Разводили же вчера.

— Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.

— Давай попробуем еще. Должна загореться.

Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди,

рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин — не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.

— Как дважды два — четыре, — победно крикнул тот, веселый...

Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.

Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.

— Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, — согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.

И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:

— Плюнуть на него — и дело с концом! Пускай торчит — хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались...

— Все бы плевали! — разозлился бригадир. — Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут — куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?

— Было бы это дерево...

На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал

сильнее — пила зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом — не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, — результат один. И бригадир оставил пилу.

— Неповалимый, — сдался он и, зная теперь листвeню полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. — Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!

Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:

— Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь...

И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский листвень» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли матёринские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.

Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.

20

Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через «не могу» нажигать этот камень, как в старину. Но на диво, и сама начинала — не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и добыла известку. Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.

Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза — после осенней приборки перед Покровом и после

зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.

Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут — так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет, другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.

А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:

— Ну что, бабки, — перед ним они были все вместе — Дарья, Катерина и Сима, — нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам — доканчивать свое дело. Давайте не тяните.

И Дарья заторопилась — не то, не дай Бог, подожгут без спросу. Весь верхний край Матёры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не вырвать.

Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:

— А я свою не прибрала.

— Ты ж не знала, как будет, — хотела успокоить ее Дарья.

— Не знала, — без облегченья повторила Катерина.

Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась — сначала на четвереньки, — хорошо, стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила:

— Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.

— Сиди! — в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее немощь.

Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить ее не учить, за жизнь свою набелилась — и известка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала: «Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох, чует, чует, не иначе». И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться.

Там, на столе, с кисткой в руке, и застигнул ее другой уже поджогщик — они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко разинул глаза:

— Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!

— Завтри и поджигай, поджигатель, — остановила его сверху Дарья суровым судным голосом. — Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать — чтоб в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?

— Запомнил, — кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик. И, поозиравшись еще, ушел.

А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет — и не встанет. Она двигалась и не могла надивиться себе, что двигается, не падает — нет, вышло, значит, к ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы, нечего и думать.

Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей известки.

И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, зале-

живаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку.

— Давай мне, — вызвалась опять Сима.

И опять Дарья отказала:

— Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.

Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под завтрашнюю — так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать — спасали, иначе нельзя. Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось по-прежнему старое и святое, как к Богу, отношение к хлебу и картошке.

Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги — это пожогщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.

— И правда, спятила бабка, — сказал один веселым и удивленным голосом.

Второй голос оборвал его:

— Помолчи.

К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к «царскому лиственю». Мужик, кашлянув, сказал:

— Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все... переезжайте. Ты меня слышишь?

— Слышу, — не оборачиваясь, ответила Дарья.

Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю во всю свою беду и обиду заплакала — сухими, мучительными слезами; настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же, может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра — и что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!

Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой,

все выдержит, не пикнет. Плакать — значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели, нет. Перед живыми она ни в чем не виновата — в том разве только, что зажилась. Но кому-то надобно, видать, и это, надобно, чтобы она была здесь, прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матёру.

В обед собрались опять возле самовара — три старухи, парнишка и Богодул. Только они и оставались теперь в Матёре, все остальные съехали. Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью, привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину, а рамы увез в поселок. Набегал на той неделе и Воронцов, разговаривал с пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя, чтобы Богодул немедленно снимался с острова.

— Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве, — разъяснял он. — Райисполком устроит. Давай-ка собирайся.

— Кур-р-рва! — много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся тылом.

— Ты смотри... как тебя? — пригрозил, растерявшись, Воронцов. — Я могу и участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял?

— Кур-р-рва! — Вот и разбери: понял или не понял.

Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матёру больше не наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо — то и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.

За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:

— Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?

— Японский Бог! — возмутился Богодул, широко разводя руки. — Нар-ры.

— А завтра и я к вам, — пообещала Дарья.

После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вышоркать голиком с ангар-

ским песочком, чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по краске споласкивать легче, да ведь это не контора, дома и понагибаться не велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.

Сколько тут хожено, сколько топтано — вон как вытоптались яминами, будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.

Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мочью, — и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота. Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда угодно, не откажет ни тем, ни другим.

Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом — ну да недолго ей и лежать, недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.

Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила. Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает, ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а продолжение никуда не денется, будет.

И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, чо там должны быть ветки пихты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он где-нибудь на Матёре — все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.

Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, светленькой синевой в небе и в дальних, промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не сходил теперь с Матёры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке, земли. «Откуда же это?» — поискала Дарья и не нашла. «А оттуда, из-под земли, — послышалось ей. — Откуда же еще?» И правда — откуда же сырой земляной дух, как не из земли?

Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И дышалось тоже свободно и легко. «Правильно, значит, догадалась про пихту», — подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает правильно, даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Катерине, разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра — тоже, поди, не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, все со смыслом. И она уже смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда идти, как на дальнюю и вещую посланницу.

Она отыскала пихту, которая сбереглась для нее и сразу же показала себя, нарвала полную охапку и в потемках воротилась домой. И только дома заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит. Устали не было, и теперь, под ночь, руки-ноги точно раскрылились и двигались неслышно и самостоятельно.

Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она развешивала с табуретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение. И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный, застывший лик. «Чует, ох чует, куда я ее обряжаю», — думала Дарья, оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что она выпустила, забыла? Все как будто на месте. Ей мешало, досаждало вязкое шуршание травы под ногами; она загасила лампу и взобралась на печь.

Жуткая и пустая тишина обуяла ее — не взлает собака, не скрипнет ни под чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках ветер. Все кругом точно

вымерло. Собаки на острове оставались, три пса, брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по Матёре, кидаясь из стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они. Ни звука.

Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву.

И всю ночь она творила ее, виновато и смиренно прощаясь с избой, и чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль.

Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее похоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла, прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасьиной избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли самовар, и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она оставила свой сундучок возле первых сенцев, а сама направилась во вторые, где квартировали пожогщики.

— Все, — сказала она им. — Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой...

И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть ей в глаза.

Старухи искали ее, кричали, но она не слышала.

Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле «царского лиственя». Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела, как сносит с острова последние дымы.

— Вставай, мать, — поднял ее Павел. — Тетка Настасья приехала.

21

Настасья с зажатым в руках лицом, всхлипывая и раскачиваясь вперед-назад, слабо выстанывала:

— А Егор-то... Егор-то!..

Старухи растерянно и подавленно молчали, не зная, верить, не верить в смерть деда Егора. Кто скажет, не тронулась ли Настасья в городе за это время еще больше, и если здесь она выдумывала про старика, будто он без конца плачет да кровью исходит, не подвинулась ли там своей больной головой до смерти? А дед Егор, может, сидит сейчас и как ни в чем не бывало палит свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стала бы она хо-

ронить живого, что дело дошло уже до этого. И страшно представить, что деда Егора нет...

Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным, грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое, увязанное в узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе громоздилась гора посуды. Дарьин самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом курятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом — у другой, не пахло даже маломальски жилым духом.

Но выбирать, искать что поприличней не приходилось: к этому часу только он, колчаковский барак, и уцелел, ни единой ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чадили разверстые избища, в горячем пепле время от времени что-то донятое жаром, будто порох, фукало, мертво и страшно остывали вышедшие на простор и вид русские печи. Все: снялась, улетела Матёра — царство ей небесное! Этот барак не считается, он, рубленный чужими руками, и всегда-то был сбоку припека, с ним не захотели возиться даже пожогщики и под вечер на заказанном заранее катере, собравшись подчистую, укатили. На прощанье двое из них зашли на Богодулову половину, где, дрожа от страха и скрываясь от картины горящих изб, прятались Сима с Катериной.

— Ну что, бабки, с вами делать? — сказал один. — Неумные вы старухи — так и так ведь сгонят. А нам пережидать... ну вас! Мы лучше в баню поедем, вашу сажу смывать. Поджигайте эту крепость сами, раз такое дело.

— Слышь ты, бурлак! — окликнул второй Богодула. — Чтоб в целости не оставляли после себя, не положено. Спички-то есть?

— Кур-рва! — рывкнул Богодул, а Сима, испуганно и обрадованно засуетившись, перевела:

— Есть, есть у нас спички. Есть. Мы сами.

Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом привел с поскотины мать. Он растерялся и не знал, что делать со старухами: в одну лодку не сгрузить, тут еще

этот пень замшелый — Богодул, да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил:

— Может, сегодня и соберемся? Завтра я бы за остальными приехал.

Она не стала даже отвечать.

— Ладно, — подумав, согласился он. — Раз тетка Настасья тут — ладно. А через два дня я возьму катер. Слышь, мать: через два дня. Завтра я в ночь работаю. А послезавтра будьте готовы. И мешки прихвачу — может, увезем вашу картошку.

Он походил, походил возле горячих пожарищ и уплыл. Так они остались совсем одни, но уже не впятером, уже с Настасьей вшестером.

Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с Матёрой боль, Настасья рассказывала:

— Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорю: «Ты пошто, Егор, не выйдешь-то? Пошто к людям-то не выйдешь? Люди-то все такие же, как мы, все утопленники». А нас так и зовут другие-то, кто не с Ангары: утопленники. Весь, почитай, дом из однех утопленников. По вечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормо-очем, бормочем... Кто откуль: и черепановская одна старуха есть, и воробьевские, и шаманские. Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то... А он все дома, все один. Радиу разведет, радиа у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю: «Пошли, Егор, че люди говорят, послушай. Че хорошего ты по воздуху-то наслышишь?» Нет, он уткнется, ничем его не оттащить. На меня же ишо сердится, что я пристаю. Как домовой сделался. А сам пла-ачет, плачет...

— Как поехала-то ты, тоже плакал? Как сюды-то поехала? — замирая и стыдясь своих слов, которыми она хотела подловить и провести Настасью, спросила Дарья.

— Как поехала-то? — не понимая, переспросила Настасья. — Куды поехала?

— Да сюды-то поехала?

Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось.

— Он бы плакал... Он бы плакал, да он уж... он как плакать-то будет? Он опосле-от уж не плакал, когда помер, — вы че это?! Лежит, весь такой светленый, светленый, он-то, Егор-то... Я убиваюсь над им, я убиваюсь... — она опять закачалась вперед-назад, — ...а он лежи-ыт, лежит, молчи-ит, молчит...

— Схоронить-то пособлял кто, нет? — спросила Катерина, и Настасья, словно обрадовавшись вопросу, заговорила спокойней и живей:

— Схоронить-то хорошо пособили. Че зря говореть; народ добрый. Свой народ-то, из одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла... Да че говореть: весь заезд приходил. Там кто в одну дверку по лестнице заехал — «заезд» называют. Гроб откуль-то добыли, привезли, матерьялом обтянули — я ни к чему и не касалась. Опосле машину подогнали, вынесли. Однако что, Аксинья надо всем и правила, воистая такая... не погляди, что старуха, что в такой же деревне жила. А от как-то пообвыкла, как тут и была, и ниче. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал... Весь остатный свет — радиа эта. Слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спросю: «Че там, Егор, говорят-то, что ты не наслушаешься?» — «Посевная, — грит, — идет». — «Какая посевная? Какая посевная — под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли, — говорю, — решился?» — «А эта посевная, — грит, — круглый год идет». Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче, старый, поплачь, лишнего не выдумывай». А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачный сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал. Я спросю: «Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?» Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался, до последнего часу ерепенился. «Он слышишь, — грит, — бонбы кидают?» — «Это, Егор, не бонбы, — я ему говорю, — это землю спуста подрывают, чтобы не копать». Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я попервости-то, как ухнуло, едва тут и не кончилась. А он-то никуды не ходил, это я ему доносю, что так и так. «Ухозвон, — грит, — ухозвон замучил». Только на этот ухозвон и жалился, боле ни на че.

— А помер спокойно, не маялся?

— Помер спокойно. Спокойней спокойного помер, дай-то Бог и мне так. Днем говорит: «Поди, Настасья, возьми красненького, чёй-то я весь отерп. Возьми, — говорит, — я кровь подгоню, а то она завернулась куды-то вся». Я пошла. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было, я пошла ишо через дорогу. Там машины, со всего белого свету машины — так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, боле того простояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила. Ворочаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не сердись,

не ходовитая я по городу. Он ниче. Встал ко столу-то, встал и покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. Сели мы, уж вечер. Немного и посидели, а выпил он на два пальца в стакане. Нет, грит, не питок, не лезет. И назад в постель. Мы с им нарозь спали. Он на кровати на нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая в гармошку складывается. Лег — и вижу: глядит на меня. «Че, — говорю, — Егор, можеть, надо че?» — Голос у Настасьи напрягся, она подалась вся вперед, как наклоняются, не выдерживая, за ответом. — «Можеть, — спрашиваю, — надо че?» Я же вижу, что он неспроста смотрит. — И откачнулась назад. — А он ниче и не скажи. Знаю, что хочет сказать, а не сказал, — ишь, он боялся напужать меня. А чуял, чуял смерть. — Она опять прервалась и покивала. — Чуял, чуял. Я свет убрала, легла и заснула, непутевая. Заснула! — выкрикнулось у нее, но она тут же поправила голос. — А ночью пробудилась — слышу, дожжик идет. Че это, думаю, он — с вечеру-то ни одной тучки не видать было. Там хошь и плохо небо видно, да я все по привычке смотрела. И дожжик такой норовистый, тихий. Ой, думаю, че-то неладно. К окошку подошла, а он только-только направился, ишо и землю не замочил. А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, грит, нету. Я потихоньку говорю: «Егор, дожжик-то пошел. Он тебе нашто нужон-то был? Нашто, — вдругорядь спрашиваю у Егора, — он тебе нужон-то был?» Он молчит. Я за огонь, шарю по стенке, шарю. Зажгла, а мой Егор-то, Егор-то...

Настасья заплакала.

Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно молчали; испуганно теребил за рукав Симу мальчонка, она слабо отпихивалась. Со свистом гонял в себя и из себя воздух Богодул. Не дождавшись, пока примутся за самовар старухи, он в молчании этом вынес его в сени и стал булькать там водой.

— Баба, баба, — взялся за голос Колька.

Настасья, обернувшись, заметила его.

— Все с тобой Коляня-то? — спросила она у Симы.

— Со мной, со мной, — торопливо ответила Сима. — С кем он ишо будет? Пока живая, куда я его?

— У нас с Егором тоже ребята были, — сказала Настасья. — Вот Дарья с Катериной должны помнить. Помните?

Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили.

— Дак че — вру, че ли, я? — с обидой выкрикнула Настасья.

— Господь с тобой, Настасья, — сказала Дарья и, успокаивая, повела рукой по ее спине. — Господь с тобой, Настасья. Че ты?! Приехала — вот и хорошо, что приехала, вот и ладно. Мы-то тебя ждали как... Картофку твою мы выкопали.

— Каку картофку?

— Твою-то. Из твоего огорода.

— А-а, — отмахнулась Настасья. — Куды я с ей?

— Куды-никуды — не пропадать же картофке!

Спохватились зажечь свет, ан нет: у Богодула, как у таракана, светить нечем — ни лампы, ни свечки, а свою лампу Дарья оставила в избе, а она, поди, подбавила огня. Катерина сходила во вторую половину, где жили пожогщики, но и там ничего не отыскала. Пришлось сидеть в темноте. Так, значит, надо, и до этого дошло. Так оно было, пожалуй, даже лучше: не стоит все время перед глазами это убожество и кочевье и не пугает завтрашним днем. Причесали Матёру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел свет, и, чудилось, всё — никто не приедет и свет не вернется, а их, прилипших к Матёре, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час. И, будто чувствуя это, жалобно захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима.

Богодул занес вскипевший самовар, поставил его опять на стол, на ощупь отыскал в груде посуды запарник и заварил чай. И пили его, не слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками. Никто не спросил ни сахару, ни хлеба — казалось, ничего этого больше не положено. Хорошо хоть остался чай. В дыру в окне тянуло свежестью; Сима, пряча от нее Кольку, зашебуршилась, стала укладывать его — Колька продолжал хныкать. Скоро чуть посветлело, выявились стены, и Богодул доложил:

— Цыганско солнце, кур-рва!

— Ты самовар-то увезла — ставила его там, нет? — вспомнив, спросила у Настасьи Дарья.

— Два раза за все время ставила, — со вздохом сказала Настасья. — Один раз при Егоре ишо, а в другой — уж опосле. Аксинья черепановская пришла, давай, говорит, вскипятим. Ой, да какой там чай! Вода не дай Бог мореная, ее там травят чем-то, чтоб Ангарой не пахла. И углей нету. Она же, Аксинья, шишек сосновых насобирала, залили самовар и по лесенке вниз его, на улицу. А где ишо греть? Боле негде. Сидим с ей, караулим, а народ кругом ходит, смеется. Она, Аксинья-то, боевитая, ниче не боится. Замучилась ждать — без трубы тяги никакой нету,

шишки наши как каменья. Ну, дождались все ж таки, надо назад тащить. У нас-то фатера на четвертом поднебесье, я на пустых ногах койни-как туды заползаю со своей одышкой. На каждой ступеньке стою. Лесенка не дай Бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье — хоть и немного, а пониже. Там на каждый заулок по четыре дверки выходит, у ей крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали. С ей там ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва ходит. Ну, мы как засели — самовар-то опростали. Знам, что не подогреть будет — ну и давай, ну и давай.

— Назадь поедешь, нет?

— Ой, да не знаю, Дарья. Ничего покуль не знаю. Я бы и рада не поехать, дак куды меня?

— Ты там, поди, не привязана.

— Не привязана, а визжи. Куды деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И Егорова могилка там — как я ее брошу? А лягчи-то нам, видать, нарозь доведется, это надо в одночасье помереть, чтобы вместе лягчи. Я уж узнавала. Кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронют, кто с кем угадат. Ой, да мне-то долго не продержаться — все, может, недалеко от Егора посторонюсь. Не знаю, зиму перезимую, нет ли... Думаю, поеду, проведаю вас, на Матёру в остатний раз гляну. И зачну готовиться. Изба-то наша с Егором сгорела?

— Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо догорала. Весь наш околоток до седни держался, однем махом сгорел. Не видала, ли че ли?

— Ниче я не видала. Я не видала, как и сюда-то приплыла, как на пароходе ехала. Все будто во сне. А так приспичило на Матёру напоследок поглядеть, так приспичило... свету белого не вижу. Ниче не надо, кусок хлеба в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жисти не будет. Нюню, кошечку, привезу. Ой, — спохватилась она. — Нюня-то моя живая? Я и не спросю. Дарья, Нюню-то я тебе оставляла?..

— Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою...

— Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.

— Вечор ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. Может, обратно в продушину залезла, а может, бродит где.

— Надо завтри поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна-то буду? — В темноте Настасья засморкалась, закачалась.

Дарья вдруг подсказала:

— Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Али Богодула. А то про Нюню...

— Ык! — отказался Богодул. — Гор-род! — и возмущенно фыркнул.

— Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала, — обрадовалась Настасья. — Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, матёринские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы некуды.

— Я не знаю, — растерялась Сима. — Надо, наверно, разрешение брать. Могут не дать. А так хорошо бы...

Настасья вздохнула:

— Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а без ее я совсем бы пропала. Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и есть. Хлебушко купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушко, он недорогой... Аксинья меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах — у меня ажно голова закружилась. Ну, приехали. Дак нашто и ехали? Котелок картофки три рубли стоит, головка чесноку — рупь. Да это че, думаю, деется, где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! Я так ни с чем и обратно поехала. Нагляделась зато за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды оне столь хапают, нашто имя?! Ой, да че говореть! У нас покуль за телку деньги оставались, дак жили. А потеперь не знаю. Сулятся за Егора пензию назначить. Не знаю. За фатеру ондай, за огонь ондай. Можеть, ниче, я теперь уж много не ем. Не надо стало. Совсем ниче не надо стало. Другой раз крошки в рот забуду, не возьму, и он не попросит. Как святая сделалась. В чем душа держится.

Завозился, укладываясь с краю у двери, Богодул, и Настасья умолкла. Часто, раз за разом, вздыхала Катерина, не слышно было ни мальчишку, ни Симу. Какой-то дальний, издонный холодный свет кружил по курятнику, смутной рябью падал на стены и лица, тенетил дверь напротив окошка. И завороженные этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись.

22

Павел добрался до поселка в сумерках. Дежурная машина, все лето гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не ра-

ботала, и Павел, замкнув лодку и поговорив со сторожем, подволошенским стариком Воротилой, прозванным так когда-то за огромную силушку, а теперь немало усохшим и ослабшим, направился было за десять верст в гору пешком, но ему неожиданно повезло: уже где-то на второй версте его догнал на мотоцикле незнакомый мужик в шлеме над острым, строгим и морщинистым лицом и сам, без просьбы, остановился и подсадил. Спрашивать, куда едешь, не надо было: дорога от сворота вела только в поселок, ни дальше, ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой и удачной попутке домчал Павел за десять минут. Возле гаража при въезде в поселок мужик притормозил, молча, кивком головы ответил на благодарность и повернул по улице влево. Павел пошел прямо, его улица протянулась наверху, возле самого леса.

Солнце зашло, и в остывающем сгустившемся свете, четко выделяющем каждый предмет, поселок больше всего походил на пасеку. Ровными, правильными рядами стояли одинаковые, за одинаковыми же невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны — влево и к Ангаре. Собственно, поселок слева и оставался, улица, по которой поднимался Павел, была крайней, всю правую сторону ее занимали в глубине производственные постройки — гараж, мастерские, заправка, котельная, а еще дальше — баня. Она Рабочей и называлась. Всегда шумная, рокочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и пустынной; один Павел и шагал по ней, держась жилой стороны, где было меньше изжулькано и изрыто. Жизнь шла там, за заборами, — там разговаривали, бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо, собаки (всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили — после того как участковый Ваня Суслов, молоденький веселый парень из пограничников, едва не половину их перестрелял), там, за забором, устраивалась своя жизнь и свой порядок, быть может, высаживались даже черемуха и березки. Здесь же, на улице, как и на всех без исключения улицах, было просторно и голо — ни единого палисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли, или считалось, не надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали без умолку мотоциклы — гоняют, поди, обучаясь, пацаны. Мотоциклов этих развелось — в каждом дворе, за ними едут в Братск, даже в Иркутск, их покупают с какой-то ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их прекращен и это остались последние, или будто выхваляясь

друг перед другом: и мы, мол, не лыком шиты, и мы кое-что имеем и кое-что можем. Не понимая этой торопливости, Павел, однако, и сам подумывал, что придется к весне обзаводиться мотоциклом и ему. В Матёре он был без надобности, там все под руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, если пешком, а летом и до воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод — хоть куда доведись — на своих двоих не находишься... Это не Матёра.

Что верно, то верно — это не Матёра. Вот и не стало Матёры — царствие ей небесное, как бы сказала, перекрестясь, мать. Вот и не стало Матёры-деревни, а скоро не станет и острова. Еще можно будет, наверно, нынче же сплавать, покружить, гадая, тут или не тут стояла она... И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как не один раз пережитое, — и лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лодке, пытающегося по далеким берегам определить место Матёры, пристально вглядывающегося в темную замершую массу воды — не подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак, не блеснет ли где огонек. Нет, ни знака, ни огонька. Поперек воды, если править с берега на берег, еще можно сказать: тут — потому что где-то в каком-то месте ее пересечешь, а повдоль — нет, повдоль даже приблизительно не угадать, где ж, на какой линии она, христовенькая, стояла, обетовала, куда она залегла... Все — поминай как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегающей, разрешившейся боли: будто нарывало, нарывало и прорвало. Все равно это должно было случиться и случилось, а от ожидания этой неминуемости устали и измучились больше, чем от самой потери. Хватит, хватит... никаких сил уже не осталось. Теперь не придется изводиться Матёрой, сравнивать одно с другим, ездить туда-сюда, баламутить, натягивать без конца душу — теперь, и, взыскивая с новой жизни здесь, в этом поселке, придется устраиваться прочно, врастать в нее всеми уцелевшими корнями.

Павел повернул влево и, скосив на одну улицу — так было ближе к дому, — пошел опять в гору. Откуда-то со двора сладко потянуло дымком, и Павел, только что приехавший оттуда, где дымы больше месяца не сходили с земли, не давая дышать, невольно приостановился и потянул в себя приятный, как бы со всем старым связанный запах, который, казалось, должен был с переездом сгинуть и не сгинул. И верно, печей, банек здесь не топят, дымокуров не разводят, но просто дымка на своем клочке никто еще не отменял; Павел стал вспоминать, добывал ли он за

все лето огонь у себя во дворе по какой нужде, и выходило, что не добывал. Мусор, сгребенный в кучу, так в углу и преет, сквозь него уж трава проросла; собрался еще по весне сжечь, но представил, что могут прибежать: что горит? — и плюнул, оставил, хотя никто наверняка не прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли: все, как у чужого дяди, делаешь с оглядкой, на все ждешь указаний. И, возвращаясь опять мыслью к Матёре, к сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспоминал, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул из себя, искал какое-то сильное, надрывное чувство, — не пень ведь горит, родная изба — и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа! Точно оправдывая в чем себя, Павел подумал, что ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к жизни: после войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших, казалось ему, пришел. Все, что требуется, они делают — и детей рожают, и работу справляют, и солнце видят, и радуются, злятся в полную моченьку, но все как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз, все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью. О себе Павел хорошо знал, что у него часто случаются затмения, когда он теряет, выпускает куда-то, на какую-то волю, себя, и, бывает, надолго; и где он был, куда отлетал, что делал — не помнит. Затем спохватывается, держит память ближе, ступает прочней, делает все, чтоб крепче зацепить себя, с зарубками, с заметами — и так идет неделю или две, порой больше, и снова провал, снова стягивает в какое-то свихнутое и чужедальное, как у лунатика, состояние, когда шевелиться шевелишься, но без головы, только лишь по инерции.

Выплеснулись единым махом ребячьи голоса, и Павел догадался, что это из школы, кончились уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюминиевой краской водосточной трубой был виден и отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув отчего-то, оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли и им не учиться здесь. Хорошую, даже по нынешним временам, выстроили школу — веселую, в три этажа, приподнятую надо всем остальным, окнастую — и если поселок действительно походил на пасеку с вымеренно и ровно поставленными ульями, то они, постройки нежилые — школа, магазин, детсад, столовая, даже баня, — пятнали, разбавляли его от красивого и унылого однообразия. А как, верно, хорошо, если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков, ходил в эту школу, а его вызывали бы на собрания и спрашивали за двойки и шалости. Но нет, видно,

не бывать и этому. Вот отчего за самое горло берет тоска, когда он глядит на школу и слышит, как вот сейчас, ребячьи голоса. Прошла, значит, жизнь — и не время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнил он опять о матери, о том, что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь ступит она в этот поселок. Что-то не давало, не пускало поверить — хоть ты что делай! — ни в какую невозможно было это представить себе, перед глазами тотчас опускалась пелена.

Отсюда, с горы, стало как бы светлей, и высокие, крытые шифером крыши домов струились с улицы на улицу живыми спокойными волнами. По-прежнему трещали мотоциклы, взбивая пыль; с полей доносился натужный вой трактора, все еще гомонили, растекаясь по улицам, школьники, и горько, страдальчески взмыкивала раз за разом запертым нутром где-то во дворе корова. Далеко-далеко синел за запанью, где шла Ангара, противоположный берег и круто, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с одним-единственным, заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного облачка. Здесь же, над головой, небо уже остыло и смеркалось, клонясь туда же, в сторону Ангары. Было не как в Матёре, где сразу после солнца прохватывала свежесть, — было кругом тепло и сухо, и шло это тепло от нагретой за день земли и построек, чувствовалось, как пахнет от них краской и бензином.

Павел вышел на свою улицу, застроенную только с одной стороны против леса, дошел до калитки и остановился, высматривая, нет ли среди бродящих в кустах, потрескивающих сучьями коров Майки. Ее не было. Павел заглянул в щелку в заборе и увидел, что она во дворе.

До чего умная корова — и здесь, где скот одичал без выпасов и присмотра, шастая, как звери, по лесу, она сама каждый день приходит домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него — хоть убей — не возьмется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся. Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху, и Соня, решительная в таких действиях, только бессильно и брезгливо махала рукой, когда он норовил сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми, но тут поделать с собой ничего не может, таким уродился.

Что-то не хотелось ему идти домой... Не хотелось, и все. Вечер тек тихо и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все

еще не просела. Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись — будто осторожно сносило их той же течью властительного времени. Слетел с осины напротив красный лист и застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, подхватило его и вынесло на дорогу, продернуло еще чуть по земле. Павел без памяти и без мысли чему-то кивнул: так и должно быть. А что так и должно быть, о чем подхватилось опять дальнее-предальнее неспокойство — поди разберись. Наверное, надо было все-таки настоять и перевезти сегодня мать. Он уезжал с Матёры без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех, чтоб не разлучать их в этом переезде, но сейчас вдруг стало не по себе. И не «вдруг» — что-то ныло и наплескивалось постоянно с той поры, как он оставил их, а он считал, что ноет другое. Но как опять же было настоять? С матерью не больно поговоришь, если она не захочет, от старух она, конечно, никуда бы не поехала. И без старух, будь она совсем одна, но сразу после того, как сняли избу, тоже, наверное, не поехала бы, не сумев хоть немножко успокоиться на родной земле, возле этой избы.

И опять он не поверил, что когда-нибудь она войдет в эту калитку...

Постояв еще, помучившись без утешения, Павел пошел в дом — пора было укладываться, утром рано на работу. Соня, ожидая его, сидела внизу, в кухне, и вязала, из большой кастрюли на полу тянулись красная, зеленая и черная нитки. Вязать она пристрастилась уже здесь, в поселке, когда в магазин навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской пряжи, и конторские, все без исключения, опять же чтобы не отстать друг от друга, набрали ее ворохами. В Матёре от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать, и не было тем носкам и рукавицам износу. В них воду наливай — не капнет, не то что Сонина, со сплошными дырками, как кружево, по моде работа.

Поднимаясь, чтобы накормить Павла, Соня сказала:

— Земляк наш два раза уже за вечер приходил, спрашивал тебя.

— Кто такой?

— Петруха. «Где, — говорит, — моя мать?»

— Вспомнил про мать...

— Я и говорю: не рано ли вспомнил про свою мать, сыночек? Подождал бы, пока затопит, потом и искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезвый он или пьяный. Одинаково боталит.

Павел не стал расспрашивать, что такое «боталил» Петруха, ему это было неинтересно. Но повидать Петруху надо бы: пускай поможет послезавтра перевезти старух. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай бы забирал — только куда, в какие хоромы, в какое царство-государство станет он ее забирать? Но это уж не его, не Павла, забота. На него, чувствовал и предвидел он, достанет заботы определять куда-то Симу с мальчишкой и Богодула, провожать обратно Настасью. Будет еще мороки, будет... Но не это, в конце концов, страшно, с этим он как-нибудь бы управился, больше всего пугало его, и мыслью не давая подступиться и разрешить, угадать хоть немного наперед, — что будет с матерью? Отсрочка на один день ничего не даст; оглянуться не успеешь, как вот оно, послезавтра, и надо ехать за нею, надо перевозить...

Только он поужинал и еще не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги, и по громкому, нарочитому упреждающему этому стуку Павел догадался: Петруха. Легок на помине. Но Петруха явился не один, с ним был — вот уж кого нельзя было ожидать — Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал «здравствуйте», кинулся зыркать своими круглыми, навыкате глазами на круглом же и румяном лице по углам.

— Павел Миронович, — быстро и требовательно спросил он, — где у вас старуха?

— В Матёре, — уже начиная догадываться, что к чему, ответил Павел.

— Как в Матёре?! Ты же ездил сегодня туда! Почему в Матёре?!

— Я-то ездил, да она не поехала.

— Шутки шутить будем или что будем?.. — вскинулся, растерявшись, Воронцов. — Как не поехала?! Что значит не поехала?! — Он, все еще не веря, осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглядывая наверх.

— Нету, нету, — остановил его Павел, а то бы и наверх полез. — Зачем я обманывать буду? Нету. Там. Не нажилась, говорит. Осталась пожить.

— А моя мать? — вскричал Петруха — ну прямо сердце кровью, можно подумать, окатилось у него в эту минуту о матери. — Тоже там?

— Ну если ты не снял ее оттуда — тоже там.

— Когда?! — завопил он. — Когда я сыму ее! Я только седни с задания воротился, я задание выполнял. Вот Борис Андреич скажет, — сослался он на Воронцова, тряхнув у того перед

носом грязной, перебинтованной почему-то черной тряпицей рукой. И по этому истовому взмаху, по горящим глазам и выжимаемому до конца голосу Павел понял, что Петруха нетрезв.

Воронцов передернулся.

— З-задание! — вскипел он. — З-зад-дание! Мать у тебя почему в неположенном месте находится, пьяница ты несчастный?! Твое задание, чтоб она здесь находилась. Где хошь чтоб находилась, а не там. А ты что делаешь?! Есть указание, оно всех касается! Понимать будем или что будем?..

Что до понимания, Павел понимал, что говорится, кричится это не столько Петрухе, сколько, конечно, ему.

Но Петруха решил обидеться.

— Я, может, и пьяница, — он исподлобья оглядел всех, приглашая прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания, — но чтоб нещастный — и-из-вини-подвинься, товарищ Воронцов, Борис Андреич. Я на себя такую кличку взять не могу. Не имею права! Да! — капризно вздернул он голову и замер, проникаясь силой своих слов. — А пьяница... че ж пьяница... — Петруха помолчал. — Че бы вы делали без этих пьяниц?..

— Где они там живут? — не слушая его, опять быстро и нервно спросил Павла Воронцов.

— В бараке.

— В бараке?! Барак стоит?! Стоит барак?

— Стоит.

— Да это же! Это же... Вы понимаете, что это значит?.. — Воронцов даже затрясся и кинулся к окну — и что он там хотел увидеть, было непонятно. — А ты, — отскакивая от окна, накинулся он на Павла, — ты, Павел Миронович, куда смотрел? Как позволил? Ты же коммунист, не то что этот, — брезгливо кивнул он на Петруху. — А ты мать, столетнюю старуху, не можешь к порядку призвать! Барак стоит! — простонал он. — А у меня завтра государственная комиссия. Утром нагрянет. Я им что — барак буду показывать? Людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия — понимаешь ты, Павел Миронович? А он съездил и приехал. И чай пьет. И никаких! А с кого завтра спросят? — При собственном же вопросе «с кого завтра спросят?» Воронцов напрягся и решительно приказал: — Собирайтесь. Хватит в игрушки играть. Надо понимать положение. К утру чтоб ни барака, ни людей. Не вздумай смыться, — предупредил он Петруху. — Поедешь. На з-задание поедешь. Вместе со мной. Ты, Павел Миро-

нович, тоже собирайся. Хватит. Это дело государственное. Черт знает что творится!

Не хотелось Павлу ехать, устал он, да и ночь на носу, а утром рано на смену, значит, спать не придется совсем, но больше того не хотелось тормошить сейчас и выгонять из гнезда старух и на глазах у них поджигать последнее, что осталось на Матёре, — барак, давший им последнее же пристанище. Но делать нечего — надо было ехать. Павел представил, как станет Воронцов в темноте суетиться и покрикивать на старух, поторапливая и загоняя их на катер, как, не выбирая выражений, станет он грозить им и ругаться, кляня вместе с ними все на свете. Представил мать и то, как она будет одергивать эту власть и как, с какой болью и требовательностью станет она смотреть на него, на Павла... представил потерянную, дрожащую от страха Настасью, с перепугу кивающую беспрерывно головой... плачущего мальчонку... нахохлившегося и задиристого Богодула, за которым к тому же надо присматривать, чтобы он — чего доброго! — не кинулся на Воронцова... Представил Павел все это и предложил Воронцову:

— Может, тебе не ездить? Мы как-нибудь одни управимся.

— Не-ет, — вскинулся тот. — Нет, Павел Миронович, на вас я больше надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать, я должен быть уверен, что территория очищена, а на вас надейся — вы мне опять попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за нее.

Он велел Петрухе идти поднимать катериста, дал на сборы и на дорогу до гаража, где решили собраться, чтобы без задержки оттуда выехать, полчаса и выскочил.

— А что, — сказала Соня. — И правильно. Зачем человека под удар ставить? Он отвечает.

— Пущай отвечает, — взъярился Петруха. — Пущай отвечает, никто ему не мешает отвечать. Да пущай человека уважает. Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться да меня же чем попадя обзывать. Извини-подвинься. У меня гордость. Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть!

Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого катеристом и называли, угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивал его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью сбегал, прошло не полчаса — час. Выехали уже в темноте, при звездах, на маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль сел Павел. Дорога была хорошая, и под гору

покатились быстро; торопливо набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны, лес; мельтешила на свету, каким-то чудом успевая вонзаться в него, ночная крылатая мелочь; ровно, сплошным отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла молчали. Петруха попробовал было завести беседу, доставая до Воронцова намеками о сверхурочных, но Воронцов даже и оборвать его посчитал недостойным себя, и Петруха затих, отчего-то (Павел видел это в зеркале) страдая и морщась. Старик Галкин дремал. Воронцов сидел впереди них прямо, будто даже и не покачиваясь, когда встряхивало, пристально и сердито уставившись в лобовое стекло.

Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в окно сыростью. И как-то медлительней, ленивей стал набегать лес, еще глуше зашуршала резина. А когда выскочили на открытое место в полутора километрах от реки, на машину надвинулись сначала редкие, затем все больше и больше нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар, серые мочальные лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Старик Галкин позади Павла встрепенулся и с неуверенностью и тревогой в голосе спросил:

— Туман?

— Туман, — обрадованно подтвердил Петруха. — Может, это... — Он не решался ясно высказать свое желание и только поддернул голову, закидывая ее назад. — Че по туману шариться?..

Воронцов и на этот раз не посчитал нужным ответить.

Не разворачиваясь, Павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел. Катер, стоящий за вереницей лодок справа, не был виден, но туман висел еще в воздухе, и полоса воды понизу просматривалась, насколько позволяла темнота, довольно хорошо. Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким случайным чмоком со сна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста течения, молчала земля — все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью. Поднялись, не слыша шагов за собой, на катер, Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестности и надрывая уши, а заработал, точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва ли стукоток его пробивался дальше, чем за тридцать шагов.

Последним заскочил на катер Петруха, со счастливой усмешкой похвалился Павлу:

— Воротилу подпер. Даже не шевельнулся, спит без задних ног.

— Все ребячишься? — поморщился Павел.

— Пуш-шай. Сторож, дак сторожи, а не спи как сурок. Проснется, а выдти — хрен ему. В окошко надо вылазить. Вылезет, а катер угнали. Вот запляшет Воротила.

Петруха хохотнул и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу, отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли будкой.

Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, а испотью. Павел чувствовал, как тяжелеют, наливаются противной сыростью и лицо его, и одежда, но подниматься и идти в будку не хотелось, он устроился позади нее на приспособленном под сиденье чурбане и закурил, от прохлады и тревоги с особенным удовольствием и жадностью втягивая в себя дым, но тревога не рассасывалась, напротив, все больше и больше обострялась и росла. Вот сейчас приедут они — и что будет? Замирало и отнекивалось от этого вопроса все внутри, и так не хотелось, хоть в воду бросайся, плыть. Сильней всего он жалел, что согласился на этот ночной внезапный десант; он уже и забыл, что ничего другого ему не оставалось. Как, как, в самом деле, угораздило его согласиться? И как опять-таки мог он отказаться, если там мать, если переезд ее нельзя перепоручить кому-то другому: мать никогда бы ему этого не простила.

Матёра лежала на нижний искосок верстах в двух от берега, от которого отчалили. Галкин взял сразу на Ангару и теперь вел катер вслепую, на ощупь: уже через пять минут после того, как снялись, забрались в такой плотный, дремучий туман, что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было совершенно невозможно. Павел подумал задней догадкой, что следовало, наверно, сначала спуститься хоть немного вниз по течению и только затем повернуть поперек, чтобы не промахнуться и наверняка наткнуться на Матёру и уж по берегу обогнуть ее и спокойно подойти, куда нужно. Но сейчас говорить об этом было поздно, надо было думать сразу. Ничего, Галкин плавал здесь полное лето, дорожка знакомая, доберется, поди, по памяти, одним чутьем. Он вел катер осторожно, на малых оборотах; до Павла донеслось, как Воронцов добивался, чтобы он прибавил

газу, но Галкин не подчинился, и ход остался тем же; на полной скорости, чего доброго, недолго залететь на мель — потом куkуй. За катер отвечает моторист. Мотор едва слышно стучал где-то далеко-далеко внутри, представлялось даже, что под водой, зато хорошо слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки, и под это мягкое и монотонное шипение Павел, тревожно затаившись, забылся.

Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло: вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но никакого берега, как ни всматривался, не увидел. Туман стоял сплошной стеной, и, катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи; Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости. По времени пора бы уже приехать, однако непохоже было, что они причаливали; Павел пошел в рубку, и по тому, с какой пристальностью, с каким беспокойством вытягивая шею, всматривался в темь Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь в дорогу, да еще по воде, ясное дело, не отправились бы... И он, Павел, тоже как маленький: куда повели, туда и пошел, не пробовал даже возражать. Теперь что ж, теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное, они все-таки проскочили Матёру выше, а потом незаметно развернулись и пошли по течению. Наверное, так и получилось. А если так, надо, значит, брать вправо и пробовать встретить Матёру с другой стороны, от своей Ангары. Павел неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот, обрадовавшись, что не ему одному отвечать за руль, не раздумывая, туда и повернул.

— Долго что-то, — почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева. — Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?

— Найдем, — без уверенности ответил Галкин.

От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода (был он, как и днем, все в той же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.

— Ого, туманчик-то! — удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать руками грудь. — Хошь ножиком режь. Закружали, значит? Закружали, закружали... Я говорил... — Ничего толкового Петруха не говорил, ни от чего не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть и самому неведомой, правоте — и Петруха его, конечно, не упустил. — В такой туман надо рыбой быть, чтоб не закружать. Дела-а-а!

Проплыли еще минут пятнадцать — вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей Ангары в Матёру или Подмогу, — ничего: ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

— Глуши, — решившись, сказал он.

Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана, — самой воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз — там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода. Воронцов не выдержал:

— Долго мы еще тут будем возиться? Вы что — не понимаете или понимаете? Скоро утро, надо дело делать.

— Не кричи, — оборвал его Галкин. — Тут тебе не собрание.

И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что приказами здесь не поможешь. Однако «не кричи», которое обидело его, потому что он не привык к такому обращению к себе, подвинуло его к другому решению, он потребовал от Петрухи:

— Кричи.

— Че кричи? — не понял тот.

— Что хошь кричи. Хоть караул. Есть же тут где-то живые люди или что? Может, они услышат. Или вы все сговорились? Ну?

Петруха не сразу, не вдруг, показав, что он подумал и согласился с Воронцовым, пошел в нос катера, и оттуда донеслось:

— Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Где вы? Э-э-эй!

Ни звука в ответ. И смешно было надеяться, что кто-то отзовется: туман тут же, на месте, впитывал и топил голос, выбраться из его трясины ничто не могло.

Снова завели двигатель и поплыли, правя, казалось, к наконец-то точно угаданному берегу, не отыскав его, поворачивали к другому, потом к третьему — и ни к одному не могли добраться. Все сгинуло в кромешной тьме тумана.

— Так нам и надо, — уже с последней, безучастной злостью, обращаясь к Воронцову, сказал Павел. — Какого дьявола было на ночь плыть — до утра бы не подождали, что ли?

— Если бы ты днем их привез, не поплыли бы, — оправдывался Воронцов.

Павел смирился: будь что будет. Он уже не подсказывал Галкину держать ни вправо, ни влево, тот правил куда-то, в какую-то пустоту, самостоятельно. Затих, смирившись, и Воронцов, он сидел с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой красными, воспаленными за ночь глазами, но время от времени не забывал расталкивать дремавшего рядом Петруху. Петруха встряхивался, выходил на борт и глухо и безнадежно кричал, едва слыша себя, все то же:

— Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матёра!

Затем возвращался и, наваливаясь по-братски на Воронцова, опять засыпал.

В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана.

Заплакал со сна, тревожно и неутешно мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая, — они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

— Ты не ложилась, Дарья?

— Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли? Это ить я сидю-то.

— Потеперь вижу. Я куды-то летала, меня тут не было. Ниче не помню.

— Куды летала — там люди есть, нет?

— Не видала. Я летала по темени, я на свет не выглядывала.

— А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

— Я-то? Я Настасья.

— Это которая с Матёры?

— Она. А ты Дарья?

— Дарья.

— Это рядом-то со мной жила?

— Ну.

— Я ить тебя, девка, признала.

— Дак я тебя поперед признала.

— Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

В два голоса ответили:

— Рехнулись.

И замолчали, то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание Богодула. В лад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи.

— Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нить.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюся.

Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи, очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то? Говори — че ты молчишь?

— Не видать, кур-рва! — ответил Богодул. — Туман.

Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

— Это ты, Дарья?

— Однако что, я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

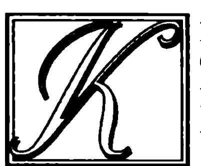
— Я здесь, здесь.

Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой — то был прощальный голос Хозяина.

1976

Рассказы

В ТУ ЖЕ ЗЕМЛЮ...



райней улицей микрорайон выходил на овраг, обширный и пустой, лежащий огромной неровной впадиной. Его можно было принять за заросший карьер, но нет, грунтовой выемки тут никогда не было, так устроилось природой. Вокруг этого города, блиставшего в свое время славой великой стройки коммунизма, земля перебучена и перелопачена на десятки километров, здесь вбили в русло гигантскую плотину для электрических турбин, построили огромный алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, до десятка других крупных заводов, но и здесь кое-где остались участки нетронутой земли. Одним из них и был этот овраг, заросший среди глинистых проплешин обдерганными кустами ольхи, осинником да крапивой. Город с двух сторон полукругом подступил к нему и остановился. На третьей, на южной стороне, где ходило солнце, противоположной микрорайону, сразу за оврагом тянулся в гору сосняк, вблизи города побитый, с частыми следами кострищ и палов, но все-таки живой, отрадно зеленеющий и зимой и летом.

В прежние годы, когда еще делались попытки приукрасить жизнь, у обрывистого края оврага, где микрорайон, соорудили спортивный трамплин для прыжков с лыжами. И прыгали, пружинисто выбрасываясь в воздух, и летели на птичьей высоте выгнутыми вперед фигурами, насаженными на лыжи, и, приземляясь, взрывали снег и долго катились под уклон. На трамплин со всего города собирались мальчишки, здесь всегда было шумно, весело и колготно. Потом, когда жизнь открылась сплошной раной, трамплин забросили, и металлическая ферма его теперь торчала голо и мертво, как скелет.

Как раз напротив трамплина через дорогу, в первом подъезде длинного пятиэтажного дома, делающего поворотный изгиб вместе с дорогой, глухой ночью горел на третьем этаже свет. В

городе ночным светом никого не удивить. Но на этот раз весь огромный дом был темен, весь он утонул во мраке ночи, смешанном с мраком тумана, и два одиноко светящихся окна, едва пробивающихся сквозь туман, ничего, кроме тревоги, вызвать не могли. К этой поре все засыпают, и в эту пору без беды или болезни не поднимаются.

Тяжелая фигура женщины с непокрытой головой выступила из тумана, обтекающего дом, еще раз бросила взгляд на окна, с усилием поднялась по каменным ступенькам к разверстому входу и полезла по лестнице. Дверь в подъезд была сорвана, свет внутри не горел, подниматься приходилось ощупью. Она открыла незапертую дверь в квартиру, после свежего холодного воздуха потянула носом, принюхиваясь, и, пройдя мимо закрытой слева двери, вошла во вторую комнату, сбросила отсыревшую темную куртку на узкую продавленную кушетку, стоящую за дверью справа, упала на нее сама и только теперь, словно в назначенную минуту, тяжким прерывистым стоном заскулила по-собачьи, закрывая рукой рот, чтобы не услышали.

В первой, в маленькой комнатушке лежала покойница, мать этой женщины, самой ей было под шестьдесят, но не о матери, зажившейся на свете и скончавшейся несколько часов назад, плакала эта рыхлая мужиковатая женщина, не себя она жалела, никогда не снисходя до жалости к себе, а, сильной, ко всему привыкшей, не хватало ей сил, чтобы подступить к страшной тяжести приближающегося дня. Она и на улицу выходила, чтобы движением облегчить ее, эту тяжесть, и только сильнее еще придавилась. Не хватало воздуха, нечем было дышать.

Звали эту женщину Пашутой. Имя, как и одежда, меняется, чтобы облегать человека, соответствовать происходящим в нем переменам. Была Пашенька с тонкой талией и блестящими глазами; потом, войдя в возраст, в замужество, в стать — Паша; потом один человек первым подсмотрел — Пашута. Как фамилия. Так и стали называть, порою не зная, имя это или фамилия. «Это сытно звучит. И сама ты баба сытная», — говорил в похвалу тот самый человек, который окрестил ее Пашутой.

Накануне вечером Пашута воротилась домой поздно, уже в темноте, доходил десятый час. Поехав в город, она не собиралась задерживаться. Но не утерпела и зашла в свою столовую, а там девчонки пригласили поработать вечером на спецобслуживании. Спецобслуживание — это когда снимают столовую

для события. Какое было событие, Пашута не разобрала, как ни прислушивалась к тостам. Праздновала какая-то незначительная организация, гуляли и невесело, и скромно, но Пашуте пришлось возиться с посудой чуть не до конца, пока не понесли мороженое. Девчонки и ей сунули в баночке два комка мороженого. Девчонки — по привычке, по старой памяти, когда они действительно начинали девчонками, половина из них уже в бабках. В сумке у Пашуты лежал еще и пакет с пловом, выскребенным из остатков в котле. Приходилось не брезговать и этим. Тыкавшая себя постоянно в свое униженное положение, Пашута корилась, что она и в столовую продолжает ходить ради подачек. Но это неправда. Всю жизнь проработавшая в столовых и почти десять лет проработавшая в этой, последней, она скучала без нее, никак не могла отвыкнуть от «ада», как дружно все они проклинали чад и смрад, жар и пар среди печей и котлов, густых и одуряющих запахов пищи, впитывающихся в тело, по нескольку часов на ногах. В столовых она сполна прошла весь трудовой путь от заведующей до посудомойки. Путь в обратном направлении. В двадцать лет, среди восемнадцатилетних, — заведующая, и два года, уже с пенсией, — посудомойка. Месяц назад ее рассчитали. Столовая была кормным местом, в нее напрашивалась и молодежь, а у Пашуты совсем стали отказывать ноги. Девчонки бы еще постояли за нее, но и их ожидала та же участь. Хозяином столовой становился казбек, гибкий, поигрывающий телом молодой человек из кавказцев с пронзительными глазами на узком птичьем лице. Дело шло к приватизации и перестройке в ресторан — и уж тогда в городе, кроме заводских, не останется ни одной столовой.

Девчонка была дома, когда Пашута вернулась. С нею жила внучка, учившаяся с сентября в педагогическом училище. Но родных детей у Пашуты не было, она брала приемную дочь, когда жила семьей; внучка от приемной, родная и не родная, без кровной близости. Мать ее, Анфиса, ушла в замужество в леспромхозовскую деревню, за двести километров от города, там и осталась, потеряв мужа. В Пашуте она видела воспитательницу, но не мать, матерью и не называла. Но вот удивительно: чем больше она отдалялась от приемной матери, тем больше на нее походила. Такая же внешне вялая, но с твердым характером, так же тянет в разговоре слова, такой же замедленный шаг. И такое же безмужество, только от Пашуты муж ушел, у Анфисы утонул, оставив ее с двумя маленькими ребятишками. Пашута догадывалась, что,

обижаясь на свою неудавшуюся жизнь, Анфиса за это сходство в том, что она не любила в себе, не любила и ее, Пашуту.

Но за девчонку Пашута простила бы ей вдесятеро больше. За то, что она прислала на учебу пятнадцатилетнюю Таньку. С нею как-никак посветлела жизнь. Вот почему в семье нужны дети. Разве бы обрадовалась она так мороженому, доставшемуся с чужого стола, разве бы торопилась так домой, чтобы оно не успело растаять? Не мороженое она несла ей, а свою нежную душу, устроенную грубо, свою ласку, не умеющую себя показать.

Танька была с подружкой из какого-то дальнего подъезда в этом же доме. Подружка, по имени Соня, хорошо шила, и Пашуту эта дружба не тревожила. Она вручила девчонкам мороженое, и те от восторга завизжали, запрыгали.

— Бабуля, ты где взяла? — приплясывала Танька. — Ты где украла?

— Украла и есть, — усмехнулась Пашута и пошла к матери, лежавшей за закрытой дверью.

Вернулась она скоро, спросила у Таньки:

— Ты давно дома?

— Уж скоро час. Мы у Сони были.

— К старенькой бабушке заглядывала?

— Заглядывала. Она спит.

Пашута ушла в кухню и, высматривая оттуда, ждала, когда девчонки доедят мороженое. И — обратилась к подружке:

— Ты Таню не сможешь на ночевку взять?

— Бабушка, зачем? — удивилась Танька. — Я не хочу никуда идти.

— Надо! — грубо оборвала ее Пашута. — Из бабушкиной деревни приехал один человек, мне некуда его положить.

Врала — и зачем врала? — с перепугу, что ли?

— Я могу на полу, — предлагала Танька.

— Нет, уходи! Уходи, Татьяна... Я тебе потом все расскажу. Не будут твои родители ругаться? — Она не спрашивала у подружки, а поторапливала.

— Нет, нет, не будут.

И смотрела неотрывно, как девчонки испуганно и торопливо собираются. У двери Танька обиженно буркнула:

— Сначала мороженое, потом уходи...

— Погоди-ка! — Пашута задержала Таньку и отвела ее от подружки. — Дай ключи. Без меня не приходи. Я буду вечером. Ты все поняла?

Аксинья Егоровна скончалась тихо, во сне. Не пришлось и глаза закрывать. Так ее намаяла, так изъездила жизнь, что она в последний месяц и не знала, живет она или не живет. Оскудевшая телом, высохшая, с бескровным желтым лицом, с руками в обвисшей коже, похожими на перепончатые лапки, она лежала в кровати как в усыпальнице и по большей части спала. Сначала ее поднимали к столу, вели в кухню, Танька заговаривала с нею, пытаясь расспрашивать, но она в ответ только растягивала под глазами морщинки, что выходило прежде улыбкой, говорила тихо и услужливо нитяным тонким голоском и просилась обратно в кровать. Эти выходы доставляли ей мучение, и ее оставили в покое, стали приносить еду в постель. Ела она так помалу, уже не испытывая потребности в пище, что тепло в ней со дня на день должно было дотлеть.

И вот оно дотлело. Пашута широкой большой рукой гладила мать по маленькой, быстро остывшей голове, по ввалившимся щекам, по подвязанному подбородку и думала, думала... Она и сама, казалось ей, постепенно закостеневает в мумию и уже не способна отдаться горю. Произошло то, что и должно было произойти. Но, как ни ожидала она его, как ни смирилась давно уже с ним, она не была к нему подготовлена. Ничего в ней не было готово к тому, чтобы встретить материнскую смерть. Не врасплох и все равно врасплох. Мать так долго оттягивала неприятность, которую она доставит дочери своей смертью, что Пашута и дальше собиралась оставаться в этом удобном ожидании. Впрочем, ничего она не собиралась. А безвольно тащилась по дням своей расползшейся фигурой, делая только самые необходимые движения. И к чему-то готовиться, что-то предупреждать она разучилась.

Не смерть матери ее ужасала, нет, а то тяжкое и властное, что надвигалось теперь со смертью, то, как обладить двухдневные проводы до окончательного прощания. Но и после прощания — девятины, сороковины, полгода, год... Существуют давние, крепче всякого закона, календарь и ритуал проводов. В городе живых заведено немало служб, принадлежащих, в сущности, тому свету, в которых заняты люди, устраивающие туда дорогу. Мертвый не имеет права считаться мертвым, пока не выдано свидетельство о смерти. По этому свидетельству его отвезут в морг, там, окаменевшего и униженного в смерти последним, самым жестоким унижением, окатят из шланга водой, воткнут в принесенную одежду; по этому свидетельству на фабрике ри-

туальных услуг подберут гроб, украсят его по одному из пунктов ассортимента и подадут под тело; по этому же свидетельству на кладбище выроют могилу в такой тесноте мертвых, что на похоронах натопчешься всласть на соседях... И всюду заплати. В морг, наверное, можно не возить, а всего остального не миновать. Там миллион заплати и там миллион с полмиллионом, а там только полмиллиона и еще семь раз по полмиллиону. Меньше нигде не берут. Но откуда у Пашуты такие деньги? У нее нет их ни в десятой, ни в сотой доли. Где она их возьмет?

Но и это еще не все. Чтобы быть прописанным на городском кладбище, надо при жизни иметь прописку в городе. А у Аксиньи Егоровны ее не было. Она не имела права здесь умирать. Пашута, как и до того трижды привозила ее, привезла мать на зимовку; одной ей в восемьдесят четыре года отапливать и обихаживать себя в деревне было непосильно. Но как только отогревалось солнышко и вскрывалась ото льда Лена, Аксинья Егоровна рвалась обратно. Никакими уговорами или запугиваниями удержать ее было нельзя — скорей, скорей на волю из ненавистной каменной тюрьмы, скорей взойти на свой порожек, надышать избу своим духом, и хоть букашкой ползать, да по натоптанным родным тропкам. Нынче, приехав за матерью, Пашута не могла не видеть, что матери едва ли суждено вернуться, но разве позволила бы Аксинья Егоровна себя из деревни выписать! Да и как Пашута стала бы ее выписывать, если деревня, продолжая еще стоять под небом, под государством больше не стояла?! Не было здесь ни колхоза, ни совхоза, ни сельсовета, ни магазина, ни медпункта, ни школы — все унесло неведомо куда при новых порядках. Отпустили деревню на полную, райскую волю, на безвластье, сняли подчистую вековые держи, выпрягли из всех хомутов — гуляй на все четыре стороны! Хочешь — объявляй свое собственное государство, хочешь — отдавайся под руку Китая. Не было сюда летом твердой проезжей дороги, а зимой заносило снегами так, что не пробиться и танкам. Мужики промышляли в тайге, брали в Лене рыбу — этим и жили. И пили, пили...

Земли, угодья здесь завидные. С этого воля и начиналась, что выглядели богатство, позавидовали и добились, чтобы колхозные земли отошли сначала в подсобное хозяйство крупного машиностроительного завода... Но завод по дальности и бездорожью не потянул. Передали новому хозяину — БАМу. БАМ тогда по своей силе мог осваивать Луну, не то что ленские про-

сторы. Погнали в деревню технику, повезли кирпич, принялись строить новую ферму и овощехранилище, на берегу поставили причал, одарили местный народ бамовскими льготами. Что под таким хозяином не жить?! И никто не подозревал, в том числе и хозяин, что можно полететь в яму в считанные месяцы. Ничто стало не нужно — ни строительство дороги, ни подсобное хозяйство; рабочие кинулись врассыпную с великой стройки, а деревне куда деться? С землей, с волей, беспривязная, брошенная — залегла она под ленский берег и ждет, все меньше и меньше трезвясь с непривычки к свободе, кому бы отдаться, чтобы хлеб привозили?..

Тем паче из такой деревни надо было вывозить мать окончательно. Пашута это видела. Она и собрала ее на всякий случай так, что можно было не возвращаться... Но какая тут выписка, какая прописка, в какое государство обращаться? Должно быть, ехать требовалось в район, а это в обратную сторону, им с матерью предстояло спускаться по течению к железной дороге. Да и когда это бывало, если даже поехать, что поехал и справил дело?

Пашута сидела и сидела возле матери, словно советуясь с нею, что теперь делать, как быть, а рука все тянулась прикоснуться, приласкать. Немного в жизни досталось Аксинье Егоровне ласки от дочери. В восемнадцать лет убежала на стройку — и зачем? — щи варить да камбалу жарить веселым, дерзким и прожорливым строителям коммунизма. К матери приезжала редко и, сунув гостинец, сразу рвалась обратно, в шум и гам несусветной толчеи, без которой уже не могла обходиться, в общежитие, не понять, мужское или женское, которое сделалось ближе родного дома. Почти десять лет то в общежитии, то в бараке, таком же веселом и холодном. Квартиры противоречили романтике, а когда через годы и годы стали даваться рабочим, давались, как и положено, в первую очередь детным семьям. А у Пашуты детей не было. Ее Бог наказал за аборт. В такой колготне, «навстречу утренней заре по Ангаре, по Ангаре», семьи могли держаться только ребятишками. Пашута разошлась, не осознав толком, что выходила замуж, с первым мужем, с безалаберным бетонщиком из моряцкого отряда (на стройку приезжали бригадами, классами, выпусками, отрядами), путавшим жену с девчонками, только через три года вышла снова — за бригадира взрывников, человека много старше себя, с которым из барака переселились наконец в квартиру. Этому помогла приемная четырехлетняя девочка, взятая из приюта. Но не ради квартиры удочерила ее

Пашута. А поняла, что своих детей ей не иметь, надо строить на будущее подпорки. Взрывник оказался мужиком едким, насмешливым, они часто ссорились, и она мало удивилась, когда, уехав в командировку взрывать диабаз для котлована соседней стройки, он не вернулся.

Так что же делать?

Где-то пропищали сигналы, возвестившие наступление круглого часа. Одиннадцать или двенадцать? Все равно. Все равно надо подниматься. Пашута вышла в прихожую и с испугом увидела себя в зеркало. Тюха, даже зеркало не завесила! Вот тюха так тюха! Но перед тем как завесить, она вгляделась в себя: широкое, затекшее лицо, некрашеные пегие волосы, которые были когда-то черными до цыганской черноты с синим отливом, забитые тоской глаза, над верхней губой знак какого-то внутреннего неряшества — бабьи усы. Она никогда не была красавицей, но была добра, расположена к людям, и эта доброта вобрала в себя и обрисовала все черты лица, делая его привлекательным. И в возраст вошла — была миловидна с блеском больших карих глаз и со спадающими на высокий лоб завитками волос, с чувственно оттопыривающейся нижней губой. Трудно поверить, что еще десять лет назад тело ее оставалось без всяких упражнений и диет подобранным и чутким. Девчонки в столовой завидовали: «Ты, Пашута, ртом дыши, ртом, изнутри вздувай фигуру, чтобы она загуляла».

Сейчас ее можно принять за сильно пьющую, опустившуюся, потерявшую себя. Но в водочку Пашута не окуналась. Так разве рюмку-две когда по случаю, и то без удовольствия. А что потеряла себя — да, потеряла. В одиночестве это происходит быстро. Человек не может быть нужен только самому себе, он — часть общего дела, общего организма, и когда этот живой организм объявляется бесполезным, обмирают и все его органы, существовать внутри своей функции они не в состоянии.

Выходя на улицу, Пашута вела себя, направляя — куда, по какой дороге идти, как обойти прохожего, куда поставить ногу, чтобы войти в автобус, но как только необходимость наблюдать за собой отпадала, глаза обращались внутрь, в темноту и боль.

Приезжая за матерью в деревню, чтобы взять ее на зиму в тепло, она спрашивала по обычаю у окоченевшей в одиночестве Аксиньи Егоровны, сидевшей не в избе на кровати, а на крылечке под солнышком: «Ну, как ты, мать?» Аксинья Егоровна отвечала:

— Сидю и плачу.

Глаза ее были сухи, она плакала в себя. Это там все болело и стонало в муке, которая уже становилась привычной. Пашуте нечем было ее утешить. Аксинья Егоровна и не поняла бы утешения. Не везде, не ко всем членам доставала теперь в ней кровь, но боль, продолжающая жизнь, обтекала каждую клеточку.

Господи, но как же просто было бы сейчас в деревне! Как близко там почившему от дома до дома! Снесли бы Аксинью Егоровну на руках, положили просторно среди своих, деревенских, и весь обряд был бы дорогой к родителям, а не хождением по мукам, по хищникам-разбойникам, наживающимся на смерти. Там бы и небо приспустилось над Аксиньей Егоровной, труженицей и страдалицей, и лес бы на прощанье помахал ветками, и дых ветра, пронесшись струнно, заставил бы склониться в прощальном поклоне всякую травку.

Но что-то уже стало собираться бессвязными обрывками в обмершем сознании Пашуты, что-то постукивало в его стенки. В материнской комнате она подняла крышку высокого сундука (это деревенское происхождение заставило Пашуту заказать такой сундук) с тряпками Аксиньи Егоровны и сразу же наткнулась на аккуратно и красноречиво уложенное в прозрачный полиэтиленовый пакет смертное. Пашута узнала его по темно-коричневому вельветовому платью с черным витым пояском, ею же, Пашутой, давным-давно купленному и ни разу не надеванному. Оно показалось матери при дарении настолько праздничным, что ни один из прижизненных праздников не мог до него подняться. И тогда же Аксинья Егоровна положила: это для смерти. Пашута напрочь забыла о существовании этого платья — и вот оно, во исполнение воли усопшей сразу же ей под руки... Там было и все остальное: тонкие шерстяные чулки, чунчики, как их называла мать, — что-то вроде мягких низких сапожек с меховым отворотом, темный платок, нижнее... Мать готовилась к смерти. В восемьдесят четыре года как не готовиться!.. Но сложено и поднято наверх было недавно, в близком и ясном предчувствии — как для заказанной бани. Невольно начинало высматриваться то первое, что надо делать. Нет, никому она мать не отдаст, вымоет сама. Хотя это вроде не полагается — самой. Бог простит. Богу, похоже, придется прощать ей многое.

Без малого сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг — никого поблизости. Ни к ней никто, чтобы хоть изредка душу

отвести, ни она к кому. Пашута теперь уже и не знала, почему это бывает, что человек остается один. В молодости сказала бы, что для этого нужно быть чересчур нелюдимым или гордым, не иметь тепла в душе к тем, с кем сводит жизнь. Сейчас все по-другому, обо всем надо судить заново. Сама ли виновата, по характеру своему, или это судьба всех уходящих в старость — ей не хотелось в этом разбираться, да и, пожалуй, не под силу было. Как медведи, в зимний гнет залегли по берлогам и высовываются редко, только по необходимости. В какой-то общей вине, в общем попущении злу прячут глаза. Невольно прячут — и те, кто считает себя виноватым и кто не считает.

Редко-редко вспоминала Пашута свою молодость. Слишком далеко и нереально это было. Только встретит если смутно-знакомое лицо и начнет в поисках его отлистывать назад годы, когда она знала здесь всех и все знали ее. Разве бы удалось в то время кому-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где все гремело, светилось, кипело и кружилось? И разве, пройдя котлован, можно было миновать столовую на левом берегу при въезде в него? Столовая работала круглосуточно — и весь котлован, сотни и тысячи людей, кормился там. Плыли и плыли они с подносами мимо раздачи, голодные, веселые, нетерпеливые, и только и слышалось: «Паша, подгоняй своих девочек, пусть не заглядываются!», «Паша, разберись, почему у вас двойная порция входит в одну тарелку», «Паша, — громче всех кричал кто-нибудь один. — Значит, как договорились, да?!» Она успевала метаться по кухне, успевала отвечать и распоряжаться этой огромной алчущей волной так, что та вовремя откатывалась, чтобы через четыре-пять часов накатить снова. Когда перекрывали Ангару и в проран летели бетонные кубы с надписями, должными увековечить это событие, на одном из кубов голубой краской, под цвет ангарской воды, было выведено ее имя. Выводил кто-то один (она знала — кто), но как бы по общему мнению. Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дружеских сходок, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум подъема и веселья, сердце билось возбужденно, захватываясь общим могучим ритмом, и, по-деревенски замкнутая, она раскрылась, разговорилась, научилась смотреть смело и отвечать дерзко.

Но, порывисто вознесшись в общем вихревом потоке, она, как только он начал спадать, почувствовала это и остыла вместе с ним.

Это началось с переезда из поселка гидростроителей в город, куда на смену мятежной и окрыленной кочевой молодости собирался оседлый и расчетливый народ — эксплуатационники. Кочевье укатилось дальше, на следующую стройку. Оставались пожинающие плоды, они обзаводились машинами, дачами, дефицитом и, как и всюду, где жилось льготно, острили и напитывали ядом умы. Их оседлость была временной — до выработки стажа, до служебного возвышения, а там — на юг, где заранее возводились дома, или в столицы, куда отлетали избранным кругом вслед за одним, достигавшим высоты. К тому времени, когда окончательно вырисовывалось, во что превратилась великая стройка, в городе из высокоинтеллектуального «золотого» общества, каковым считали себя его представители, никого не осталось.

Город постепенно приобретал другую славу. На дешевой электроэнергии выплавляли на самом крупном в мире заводе алюминий, на самом крупном в мире лесокомплексе варили целлюлозу. От фтора на десятки и сотни верст вокруг чахли леса, от метилмеркаптана забивали в квартирах форточки, законопачивали щели и все равно заходились в удушливом кашле. Через двадцать лет после того, как гидростанция дала ток, город превратился в один из самых опасных для здоровья. Строили город будущего, а выстроили медленно действующую газовую камеру под открытым небом. Народ пошел на площади протестовать, эти протесты, как и всюду, были использованы, чтобы свалить старую власть, но пришла новая — и сами собой протесты прекратились, потому что новая знала самый верный способ борьбы с недовольством: не делать одно лучше, другое хуже, а развалить без сожаления все, и тогда в охоте за куском хлеба, хватаясь по-животному за любую жизнь, забудут люди о такой причуде, как чистый воздух и чистая вода.

Но это было позже. Позже и квартиру свою в городе, в хорошем доме, поменяла Пашута на микрорайон: отравлялась она в городе от аварийных выбросов с комбината до того, что лежала пластом, не в силах встать. Микрорайон же выстроили в стороне, верилось — там чище. Но разницы или не было вовсе, или она оказалась так мала, что ее нельзя было почувствовать. Поменялась еще и ради приплаты за большую площадь, которую оставляла, но разошлась эта приплата за три месяца. В микрорайон стала Пашута привозить на зиму мать. И где-то далеко-далеко, как в другой жизни, осталось, что растила она девочку,

взятую из приюта, что сразу же после вдохновенной молодости пришлось надеть тягло матери-одиночки: работа, детсад, потом школа, подмены во время болезней девочки, нескончаемое рысканье по городу в поисках то молока, то лекарства, то теплой одежды. С одиноких загнанных женщин молодость слетает быстро — и вот уже приходилось замечать, что все меньше и меньше остается желаний, все длиннее невидящий взгляд и все пустынней и мимолетней дни. Не стало у Пашуты близкого круга друзей, не стало ярких праздников, опьяняющих привязанностей... Что случалось — случалось как бы из милости. Все это еще словно бы расставлено было перед нею с раскрытыми дверями, но никто не зазывал из них, как раньше, а самой стучаться уже и не хотелось.

От одного удивления не могла она освободиться: как из того, что начиналось тут, получилось то, что есть...

Пашута принесла в тазу воды, нашла махровое полотенце и раздела мать донага. Поворачивать, раздевая, было мукой, не окоченевшее до конца тело выгибалось в пояснице с сухим хрустом — будто косточки ломались. А ведь предстояло еще мыть, поворачивая с боку на бок, предстояло одевать, приподымая. Пашута накрыла голое тело простынью и торопливо вышла отдышаться.

Господи, что же она делает?! Можно же было, наверное, найти днем старушек, чтобы помыли и свершили обряд как положено!.. Но она не знала, где искать этих старушек. Обмывают знакомые, подруги по старости, возрастом и положением подготовленные для этой роли, а таких у Аксиньи Егоровны не было, никого она здесь, не выходя из квартиры, не знала. Не было их поблизости и у Пашуты, а ехать в город, зазывать женщин, с которыми она давно потеряла знакомство, не хотелось.

Но самое главное: если чужие руки будут обмывать, то и все остальное придется делать чужими руками. Нет, надо хоть сердце свое заменить, чтобы оно не пугалось, но справиться самой. И сразу сказать себе, что другого выхода у нее нет.

Матери совсем стало плохо месяца полтора назад. До этого она выходила к столу и с жалкой улыбкой ждала, когда ей нальют чаю. Все жаловалась на воду — вода не такая, как в Лене, чем-то травленная. Спрашивала робко, нет ли письма из деревни.

— От кого ты ждешь письмо? — Пашута не курила, но голос у нее был грубый, как прокуренный; меняется, становится бесформенной фигура, меняется и нутро. Этот голос пугал мать.

— Кто-нить, поди, напишет. Я Лизу просила написать. Как узнать без письма, че там деется.

— Никто нам, мать, не напишет. Не жди.

Не могла себя пересилить Пашута: «мама» не выговаривалось.

Это она подхватила месяца полтора назад, уже при Таньке, грипп и заразила мать. Та совсем перестала подниматься, ее приходилось таскать на руках. Две недели кормили ее с ложечки. Тело подсушилось, вжалось в кости и сделалось легким. Жила в это время Аксинья Егоровна в деревне и разговаривала не с Пашутой, которую не узнавала, а с Лизой, деревенской соседкой, расспрашивая ее про корову, про сильно пьющего зятя, про внуков... Всех их она помнила по именам. Спрашивала, как о живых, о давно умерших. И голос у нее в разговоре с Лизой становился крепче, и память наплывала из глубин, и лицо разминалось — нет, деревня, деревня постоянно была у нее на уме, деревней она только и дышала.

В последнюю неделю она опять, пусть и с огромным трудом, стала подставлять под себя негнущиеся ноги, вошла в память. Но уже молчала — ни о чем не хотелось ей говорить, все умолкало в ней. В смерть входила тихо и незаметно (а Пашута считала, что это она возвращается в жизнь), подолгу спала, почти бездыханно, лежа на спине кверху заострившимся маленьким личиком.

Во сне и оттолкнулась последним вздохом.

Пашута обмыла мать, справилась и с этим. Вернее, не обмыла, а обтерла мокрым полотенцем. Кожа уже не краснела, оставаясь пергаментной, тело как бы налилось чем-то изнутри, разгладив лишнюю изношенность. И потом, когда одевала, ломая тело, почувствовала, как оно потяжелело.

Но перед тем как одевать в прощальные одежды, Пашута опять отдохнула. Каждое новое движение требовало все больше решимости и сил. А ведь это только начало. Но она управлялась пока почти бесчувственно, без страдания, с какой-то стылостью и глухотой, подгоняя себя: дальше, дальше... Не дочь это хлопотала над матерью, а какое-то неловкое и бездушное обряжающее существо, взявшееся не за свое дело. Ей и самой становилось страшно за свою опустошенность: уж человек ли еще она? И страшно становилось, и нужно было пользоваться этой бесчувственностью, чтобы успеть.

Мать лежала прибранная, торжественная, со скрещенными на груди руками, с расчесанными волосами под темным платочком, завязанным под подбородком. Подвязаны были вместе и вытянутые, вдоволь набегавшиеся ноги. Такой покой был на ее лице, будто ни одного, даже маленького дела неоконченным она не оставила.

Перед утром Пашута, не раздеваясь, прилегла ненадолго, чтобы обмануть отдыхом тело, особенно ноги, которые придется в этот день таскать без жалости. И почему-то до рези устали глаза, будто она часами неотрывно смотрела на яркий свет.

Она полежала, должно быть, с час, не шелохнувшись и на этом экономя силы. И за четверть часа до шести поднялась, поставила чайник. Ей надо было успеть до того, как пойдут на работу. А ехать далеко. Ехать надо было в железнодорожный поселок за тридцать километров от города, но входящий в городскую черту; такие же взмахи своей чертой город делал не в одну сторону, будучи разбросанным и представляя собой создание уродливое, бесформенное. На автобусе она доедет до вокзала, а там электричка. Должна успеть. Раньше не получится, она выйдет к первому автобусу. Но если все-таки не успеет, не застанет дома — пойдет искать на работу. Возвращаться ни с чем ей нельзя.

Только бы согласился Стас.

Она поехала к тому самому человеку, который впервые назвал ее Пашутой, который говорил, что она сытная баба, такая, стало быть, что возле нее чувствуешь себя сытно, успокоенно. А он знал ее. Лет восемь подряд, оба одинокие, потрепанные жизнью, грелись они друг возле друга. То она приезжала к нему, то он к ней. Было это давно: все, достойное памяти, было давно, последние годы только уродовали ее и унижали. Она и связь со Стасом порвала оттого, что ей стыдно стало показывать себя, больную, расплывшуюся тоже «за черту». Встречались они теперь совсем редко; раз или два в году по обязанности доброго сердца он заглядывал, пытался растормошить ее, упрекая за безволие, и уходил, она видела, расстроенным.

Стасом она называла его про себя, а перед ним — Стас Николаевич. Навсегда он остался для нее человеком другого круга — образованным, многознающим, собранным аккуратно в приятный порядок, так что не топорщилось ничто ни в одежде, ни в речи, ни в поведении. На стройке он начинал с диспетчерской,

голос его разносился через громкоговоритель далеко — и всегда без крика. Потом как инженер поднимал алюминиевый завод. У него рано погибла жена, которую он очень любил, погибла у него на глазах во время спуска на резинках по горной реке, куда он ее затащил, оставив ему, кроме трехлетнего сына, незаживающее чувство вины. Сына пришлось отправить к своим родителям в Рязань; тот, выучившись, там и остался. А Стас надолго сник, переходил с работы на работу, чуть было не ушел в пьянку, но удержался и перебрался из города в этот пристанционный поселок, купил здесь небольшой деревянный домик и, уже оформив в прошлом году пенсию, подрабатывал в столярке.

Кроме Стаса, не осталось у Пашуты ни одного человека, кому бы она могла довериться.

Она вышла к автобусу в темноте, забитой сырым вонючим туманом. Шла к остановке и билась в кашле. До чего же горазды они делать аварийные выбросы в туман — будто это туманом нанесло невесть откуда, а они здесь ни при чем. Но уже без возмущения вспомнила о них Пашута. Они и раньше были недосягаемы, хотя и признавалось открыто, что творят беззаконие, теперь же и вовсе превратились в небожителей, обращаться к которым можно только с мольбой, превратились в признанных богов, дарующих кусок хлеба. А за него простится все. И не к ним, как все вокруг, взыскивала Пашута, а к своему нездоровью, к своим грехам. За грехи наказываются.

Слабо толкнулось в нее: что-то мало народу в автобусе. Но как толкнулось: слава Богу, можно не давить тушей на ноги, а усадить ее, пусть еще ноги поберегутся. Но и в электричке было свободно. Пашута принялась рыться в памяти и вырыла с трудом, что сегодня суббота, день для нижнего густого народа нерабочий. Можно было и не торопиться. Сегодня жмут на свои педали, качающие деньги, всякие «куммерсанты», как выговаривала Аксинья Егоровна, да банкиры. Но они выходят позже и в автобусах не ездят.

Пашута не помнила, учится ли по субботам Танька.

В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Стаса с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома? Она давно его не видела; у него был телефон, но ей и в голову не пришло позвонить. А когда бы она стала звонить? Еще полсуток не прошло, как отбыла мать; это кажется, что давно. И пришлись эти полсуток на ночь. Решения, которые принимала она, были

не результатом работы мысли, не сигналы, посылаемые в мозг и возвращающиеся с ответами обратно, направляли ее — ничему она, оцепеневшая и затухающая, не сигналила, а словно бы отслаивалось что-то в нужный момент от корковатого сердца и подталкивало.

В восемь, не дождавшись из окон света от гидростанции, которую они со Стасом строили, Пашута позвонила. Нет, не зря строили: свет вспыхнул. Стас открыл без окрика. Вслед за ним, полуголым, ни о чем не спрашивающим, прошла она в дом, сбросила куртку и скорей убирать из-под тяжести ноги.

Они сидели за чаем в кухонке, в голом, без ставня окне которой, засиженном мухами, летели космы тумана, путаясь в черных и острых ветках яблони, и виднелся навес с верстаком по левую сторону и поленницей дров по правую. Все промозгло за сырую осеннюю ночь и стояло уныло. Рассвело мутным болезненным светом.

Пашута дорвалась до чая, пила и пила. Стас подливал уже дважды. Он был в старой меховой душегрейке-безрукавке, накинутой на майку, крепкие руки ходили с силой. Потрескивала остывающая конфорка электроплиты в углу, а рядом, возле двери, потрескивал в печи живой огонь. В деревянных домах все уживалось вместе — и старое, и новое. Передом печь выходила в кухонку, а задом в единственную и просторную комнату.

Пашута сказала о смерти матери, но о самом главном, ради чего приехала, молчала, ожидая подходящего момента. Встряхиваясь среди редкословного разговора, тревожно всматривалась она в окно: время шло. Время шло, а ничего не сделано, наступивший день начинал придавливать не снятым с него грузом. Так хорошо прежде бывало со Стасом! Она словно бы погружалась в другую, нереальную жизнь, даваемую за страдания, где все к ней благоволило, все приносило утешение, — и как из теплой обласкивающей воды выходила потом на берег, встречающий холодным безучастием. Здесь, в этих стенах, она, казалось, и оставалась постоянно той своей частью, которая не потеряла радости, сюда приходила на свидание с нею, здесь пополняла свои душевные запасы. А Стас только устраивал эти встречи, приводил ее, приходящую, потайными ходами к живущей в счастливом затворничестве.

А теперь и здесь ее не сыскать.

Пашута наблюдала за Стасом: тот и не тот человек. Держался по-прежнему прямо и потому казался высоким, все так же

коротко стриг седую крупную голову. Рядом с нею он выглядел хоть куда, и она правильно сделала, отойдя от него, избавив Стаса от неизбежно явившегося бы чувства жалости и брезгливости. Но и в нем еще глубже врезались морщины в продолговатое, мужественно вылепленное лицо с волевым подбородком — врезались густо и не подчеркивали, а скорее перечеркивали мужественность, оттеняли жизнь, потерявшую цель. И загас в глазах знаменитый высверк, вспыхивавший неожиданно и ярко, как молния, который умел сразить наповал. Глаза смотрели печально и терпеливо.

Тянуть было некогда. Пашута, как и по земле ходила тяжелой поступью, и здесь двинулась к цели без тонкостей. Ничего, что можно было подостлать под просьбу, смягчить ее, не находилось, она спросила напрямую:

— Ты, Стас Николаевич, не сделаешь нам гроб?

— Гроб? — Нельзя было понять, удивился ли он. Но смотрел на нее длинным пристальным взглядом, забывчиво держа на весу кружку с чаем. — Разве *там* не сделают гроб? У них правило: покойник ваш, а гроб наш. Разве не так?

Она покивала: так. И сказала наконец то, к чему уже приступила за ночь. Сказала с замедлением, вдавливая слова:

— Я, Стас Николаевич, задумала мать сама похоронить. Без *них*. Мне к *ним* идти не с чем.

Он невольно перешел на тот же выговор, давя на каждое слово:

— Без *них*, дорогая Пашута, *туда* не попасть. Это не деревня. Сердце продавай, печень, селезенку, душу... Теперь все покупают, но иди к *ним*.

— Мою печенку-селезенку никто не купит. Я бы продала... — И с отвращением отказалась: — Вру, не продам. И продавать не буду, и к *ним* не пойду.

— У многих не с чем идти, не у тебя одной, — продолжал он, не убеждая, а отыскивая выход, который можно было бы предложить. — Но собирают как-то. Теперь так и хоронят: с миру по копейке. Соберем и тебе. Есть же у тебя родственники, друзья, знакомые...

Она освободила голос и — показалось — с облегчением ответила:

— У меня никого нет.

— У всех есть. Ты гордыню свою не выставляй. Не тот случай.

— А у тебя родственники, друзья есть? — спросила она, задетая «гордыней». — Что молчишь, Стас Николаевич? Есть они у тебя теперь? А сколько их увивалось возле тебя! Не разлей вода до гробовой доски! К многим ты пойдешь, так чтобы ноги несли?

— Ноги наши по другой причине не несут. Ты путаешь...

Пашута перебила его. На нее, намолчавшуюся, настрадавшуюся, с ворохом обид, унижений, недоумений и горечи, теснившихся безответно в груди, обжигая ее, нашло злое вдохновение — то самое, которое не выносит боль, а только ее обнажает.

— А чего тут путать?! — перебила она. — Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили... Ничего не стало. Встретишь знакомых — глаза прячут, не узнают. Надо было сначала вытравить всех прежних, потом начинать эти порядки без стыда и без совести. Мы оттого и прячем глаза, не узнаем друг друга — стыдно... стыд у нас от старых времен сохранился. Все отдали добровольно, пальцем не шевельнули... и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что будет стыдно. — Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где только сердце надрывать. — Дадут! — согласилась она. — Если просить, кланяться — дадут. Те дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, насобираю я по-пластунски, может, сто тысяч. А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком — приходить и просить. А чем еще просить — не знаю.

Стас осторожно напомнил:

— У тебя ведь дочь есть.

— Дочь мне неродная, — глухо сказала Пашута. — И живет она с мальчонкой в последнюю проголодь. Девчонку мне отдала в учебу. Живет одна, без мужика. Это вся моя родня. Дальняя есть, но такая дальняя, что я ее плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я одна. Все ненормально — верно ведь, Стас Николаевич?

— Не паникуй. Куда твоя твердость девалась?

— Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства у меня, скорей в угол загонит.

Туман разошелся, света за окном стало больше, но оставался он серым, утомленным. Поддувал ветер. Яблонька томилась такой тоской, высветившись еще черней и корявей и поскребывая ветками по стеклу, что на нее было больно смотреть. Никак не

могла затянувшаяся осень проломиться в зиму, никак не набирался сухой мороз, чтобы упал снег. Слишком заморилось все.

«Но земля, слава Богу, талая», — подумала Пашута. И опять стеснило ее надвигающимся днем: ничего она пока не добилась. А пора, пора...

— Ну, сделаю гроб, — спрашивал Стас, — и куда ты с ним? Дальше-то что? В какую контору, под какую печать? Это же все потребуется!

Пашута и здесь кивнула: потребовалось бы... Но не потребуется.

— Я тебе еще не все сказала. — И, говоря, смотрела на него пристально, не отводя глаз. Он упомянул о твердости — вот она, твердость. — Мне ничего не потребуется, Стас Николаевич. У нас не будет свидетельства о смерти, потому что не было прописки. И здесь, наверное, можно добиться... За деньги теперь всего можно добиться. — Сделала паузу, говорящую, что не ей этого добиваться. И повторила: — Мне нужен гроб, Стас Николаевич. Я сама вырою могилу.

— Где?

— У нас за пустырем лес. Место сухое. И от меня недалеко.

На Стаса это произвело впечатление. Он поднялся, завис над столом на длинных руках.

— Но это же не похороны, Пашута. Это же — зарыть!.. — Он сдержался, не стал продолжать.

— Зарыть, — согласилась она.

— Взять и зарыть?! Ты с ума сошла, Пашута! Ведь она у тебя русского житья была человек. А ты — зарыть!

Он перешел на шепот. На шепот гремящий.

— Дай Бог, чтобы тебя не зарыли, Стас Николаевич. А мы — ладно. Я и на зарытье согласна. — И вернулась: не о ней сейчас речь. — Если будет гроб, все остальное я сделаю сама.

— Ка-ак? — добивался он. — Ты все продумала, но как? Как ты повезешь, как ты землю будешь бить? Там же, наверное, камень... В городе! Там же город, люди! Все это надо отставить, Пашута. Отставить! Это же человек, мать твоя, а не собака! — И еще одно со страхом вспомнил он: — Ты и попрощаться с нею людям не дашь.

— С ней тут некому прощаться. — Пашута смотрела в окно куда-то далеко-далеко, чувствуя, как в глаза наплескиваются слезы. Но нет, не заплакать, ни за что не заплакать. — Завезла я ее в такое чудесное место, что никто тут ее не знал. Она и на улицу почти не выходила. — Пашута встряхнулась. — Ладно, Стас

Николаевич, нет — так нет. Скажу я тебе самое последнее. Денег у меня нет, ничего нет... Но если бы и были... Знаешь, кажется мне: все равно надо было бы так сделать.

— Ты не была сумасшедшей, — хмуро ответил он.

— Ох, какой я была, Стас Николаевич! Разве теперь сравнить! — И выбило разом все запоры, хлынули слезы, и, не успев подложить руки, стукнувшись о стол головой, затряслась в рыданьях, вырывавшихся рваным некрасивым клекотом.

Стас растерянно ходил рядом, гладил ее по голове, по пегого цвета спутавшимся волосам, отходил и снова молча гладил, ощупывающе, с какой-то беспомощной слепотой в руках и глазах. И сам теперь, своим опытом и умом шел той дорогой, которую выбрала Пашута, всматриваясь, где могут быть непроходимые места. Они были всюду от начала до конца.

Пашута заставила себя успокоиться и подняла голову. Он спросил:

— Когда ты хотела это сделать?

Она не стала ломаться, понимая, что заставила его согласиться.

— Завтра воскресенье. Люди спать будут.

— Да ведь по обычаю на третий день?..

Что было объяснять? Все тут поперек обычаев, за все отвечать придется. Пашута после слез закаменела еще больше. Стас перешел в комнату и кому-то звонил.

— Серега, — говорил он в телефон. — Подходи-ка ко мне. Очень ты мне нужен. Давай-давай, Серега, по пустякам я бы тебя не погнал. Подходи.

Пашута подковыливала к дому, когда заметила Таньку, стоявшую в отдалении, среди чахлых топольков, которыми дом пытался закрыться от дороги. В синенькой курточке с откинутым капюшоном, с непокрытыми льняными волосами, как-то особенно чисто и грустно светившимися в пасмури дня, она бродила тут, должно быть, давно. Шел двенадцатый час. Пашута приостановилась, поджидая несмело приближавшуюся девчонку.

— Я тебе сказала — до вечера не появляться! Что ты тут делаешь?

Танька молчала, быстро и с испугом вскидывая на Пашуту и опуская глаза.

— В школе была? — Пашута училище называла школой. Да ей, малолетке, в школу бы еще и ходить, а не в заведение, где чего только не наберешься.

— Н-нет.

— А кто будет платить за твои «нет»? — В училище за каждый пропущенный урок и за каждую двойку полагалось платить — все мужающими тысячами. Ушинские и Сухомлинские, предлагавшие свои известные воспитательные системы, до этого не додумались. Чтобы додуматься — нужны были умы решительные, дерзкие, широкого государственного размаха, и время их немедленно представило.

Танька набралась духу, подняла на Пашуту свое белесое, в конопушках, круглое лицо, вздрагивающее от недоброго предчувствия:

— Что у нас случилось, бабушка? Почему ты меня выгнала?

Пашута тяжело думала, что сказать, как поступить с девчонкой. Вечером она не додумала — и вот Танька здесь.

— У нас что — старенькая бабушка померла?

— Пойдем, — подтолкнула Пашута девчонку поперед себя. Теперь уже ничего другого не оставалось.

В квартире стоял запах — еще не тления, но горя. В жилых стенах пахло запустением и горечью, в них поселилось бестелесое существо, приходящее в тяжелые дни, чтобы справить какой-то свой ритуал. Пашута принюхивалась, пахло как от овчины, из которой не вынашивается дыхание жизни, ее породившей.

Танька скинула курточку, прошла и села, приготовившись к разговору, на свою кушетку, нервно поводя глазами и сложив руки на сдвинутые колени. Кровать Пашуты стояла в той же комнате за шкафом. Теперь они смогут разъехаться, у каждой будет своя комната.

— Пришла так пришла — ладно, — начала Пашута, выходя от матери. — Может, оно к лучшему. Старенькая бабушка у нас умерла, это ты верно догадалась. — Голос ее при этих словах не изменился, не дрогнул, она думала о чем-то, чему появление девчонки все-таки мешало. — Бабушка наша правильно сделала, что не стала тянуть. Не смотри на меня так, я старуха грубая. А прикидываться разучилась. Бабушка и пору выбрала самую подходящую — перед зимой. Она нам все устроила как лучше. А теперь, Татьяна, слушай. — Она опустилась с девчонкой рядом на кушетку. — Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись буду хоронить, ночью, чтобы люди не видели. На кладбище везти — денег у нас с тобой нету. А побираться я не хочу. И еще слушай. Ни матери, ни кому другому я не дала знать. Потом скажем. И ты покуда молчи.

Танька сидела, замерев, уставив глаза в стену.

— С этого момента придется тебе стать совсем взрослой, — продолжала Пашута. — Некогда нам дожидаться, когда это само произойдет. Отгуляла детскую радость... хотя и такой радости, девочка ты моя, у тебя, однако, было не много... Принимайся-ка теперь за долю. Будет у тебя все, будут и радости... А пока придется нам горемычество принять. — И, помолчав, подтолкнула к первому шагу: — Иди, взгляни на бабушку.

Танька пошла. Пашута осталась сидеть: не вздымали ноги, ныли пронзающими тукающими ударами. Но можно было поддаться теперь ненадолго и слабости — после проявленной силы. Она вернулась от Стаса, добившись большего, чем ожидала. Теперь, если ничто не собьется с хода, а самое важное — если ничто не воспротивится беззаконному ходу, будет легче. У могилы матери, когда встанет она перед могилой (а так далеко еще до этого и так ненадежно!), когда вглядится Судия недремный, что же такое там бесславное происходит и кто это затеял, она не станет прятаться. Видит Бог, Стасу это было совсем не по душе.

Вышла Танька, присела рядом, вздрагивая и испуганно прижимаясь. Пронзило девчонку. С этого дня и без наставлений Пашуты ей станет не просто пятнадцать, а пятнадцать с этим днем, который потянет ой как много. Не мать жалко, не себя, а ее. Мать и грехи с собой понесла... Господи, какие у нее грехи! — вся жизнь в работе и робости; на себя Пашута давно махнула рукой, довлачиться бы только каким угодно ползком до конца... Но легче жить без надежды, чем умирать бессветно. Танька — девчонка ласковая, в лесу сохранилась. Надо не потерять ее, в городе на каждом шагу погибель. Господи, что это за мир такой, если решил он обойтись без добрых людей, если все, что рождает и питает добро, пошло на свалку?!

— А бабушка верила в Бога? — спросила неожиданно Танька.

Пашута обернула к ней лицо и внимательно всмотрелась. Вот так недолетка! Она спросила то, что Пашута боялась додумать. «Там разберутся», — казалось ей. Там-то там, но и здесь, выходит, надо разбираться. Вот этого она и избегала — разбираться здесь. Одно дело — грубо, вопреки правилам, спровадить неприкаянную душу, и совсем иное — если и там у души дом родной, где ее ждут.

— Не знаю, — угрюмо ответила она. Ответила не только Таньке. — Как, поди, не верила — она старого житья была человек.

— Она просила, чтобы я ей в церкви иконку купила...

— А ты купила? — напряженно спросила Пашута.

— Маленькую такую. Богородицу. В ладошку входит.

— А как я не видела?

— Она на этажерке стоит. Ты не заметила.

Пашута задумалась. Она легко уходила от разговора и теперь думала о том, что надо подниматься и выстраивать в новый, более определенный порядок намеченное дело. Засиделась. Почти наяву она видела, как дело выгибается к ней странной, ненаполненной, схематической фигурой, чтобы поторопить. Но так не хотелось отлепляться от девчонки, как никогда, ищущей сегодня ласки и слов!

— Крестить тебя надо, — вспомнив, о чем говорили, сказала она.

— А ты крещеная?

— Нет! — С такой легкостью, как сейчас, твердел у нее голос и с таким трудом мягчел. — Я выпала, обо мне нет разговора. А тебе жить.

— Но я видела: совсем старых крестят.

— Ты, значит, бываешь в церкви?

— Мы с Соней из интересу заходим. Совсем старые есть, которые от советской власти родились...

— От кого родились? — охнула Пашута.

— Ну, это так говорят.

— Говорят... Как это у вас все ловко говорится?.. Ладно, — решительно предложила она. — Поднимаемся, что ли?

И — промедлила. Танька вдруг прильнула к ней, обняла, ткнулась головой в грудь. Пашута растерялась:

— Ну, что ты! что ты!

— Бабушка, ты разговаривай со мной, разговаривай!.. — отчаянным шепотом рвалось из Таньки. — Ты молчишь, я не знаю, почему молчишь... Я не маленькая, пойму. Почему ты вчера не сказала мне?.. Ты думаешь, что я неродная, а я родная... хочу быть родной. Хочу помогать тебе, хочу, чтобы ты не была одна! Мы вместе, бабушка, вместе!..

Пашута застыла. Сегодня она уже дала слабину — у Стаса, когда разрыдалась. Если еще раз пустит слезу — дело плохо. Она приказала себе замереть, чтобы ни звука не вырвалось из ее недр, пока не откатит волна сладкой боли, перехватившей горло, так давно не испытываемой. Что-то еще осталось в ней, что-то вырабатывает эти чувствительные приступы. Она успокоилась и лишь после этого в ответ обняла Таньку, прижала неловко и пообещала:

— С кем же мне еще разговаривать, как не с тобой! Больше у меня никого нет.

— Мне шестнадцать будет — я могу в подъезде мыть. Или телеграммы разносить — я узнавала. Я могу... я могу, бабушка! — сорвалась опять Танька на слезный шепот. Она выпрямилась и, моргая часто от слез и напряжения, искала, искала в Пашуте перемен, которые могли произойти от ее порыва. Она бы хотела, подняв голову, увидеть Пашуту совсем другой — ласковой и доступной. Пашута понимала ее и ненавидела себя еще больше.

Она сказала:

— Прокормимся, Татьяна.

Не выговорилось у нее: спасибо, милая девочка; вот мы и породнились еще ближе.

— Давай дверь откроем, — предложила Танька, поднимаясь первой. — Она там совсем одна.

Сама же и растворила дверь.

Как в жизни была Аксинья Егоровна незаметной, тихой, все старающейся спрятаться в закуток, так и теперь лежала она сиротинушкой, и в смерти, в единственный день, отпущенный ей для внушения остающимся, не взяла главного места. Ни одной обиде не оставила она попрека. Морщинистое лицо, еще вчера досуха обтянутое кожей, разгладилось от какого-то последнего посмертного дуновения. Вид матери, торжественный и смиренный, как бы подтверждающий, что ни за что она по лихой године не взыщет, ненадолго успокоил Пашуту: все должно получиться. Но уже у дверей, уходя, чтобы купить обивку для гроба и что-нибудь для завершающего дело стола, она опять ощутила нескончаемость и неподатливость своего вызова, который должен быть уложен в строгие рамки времени.

А ведь моросило. Не дождем еще, а мелким вязким бусом, налипающим на одежду. Все кругом было затянуто угрюмой тяжелой завесью. Время обеденное, а дня уже нет.

В пятом часу постучал парень и, когда впустили его, коротко и угрюмо спросил:

— Сюда?

— Сюда, — ответила Пашута.

Ни он не знал их, ни они его, но никакой чужой человек прийти в эту квартиру не мог. Никто в Пашуте не нуждался, никто к ней давно уже не заходил, не пойдут и лихие люди, снаружи умеющие видеть, за какими дверями живет бедность и за какими богатство.

Это и был Серега, от Стаса Николаевича, — невысокий, широко и могуче сбитый, со щеткой усов, которые называют пшеничными. Невеселое предстояло ему дело, и всем своим видом он не скрывал, что «мобилизован», выглядывая из глубоко сидящих глаз с сочувствием и одновременно с досадой. Присесть отказался.

— Поедем, тетка, смотреть, куда что, — нетерпеливо сказал он. И в том, что назвал «теткой», как в автобусе или на базаре, тоже чувствовалось недовольство: день сорван, сорвана и ночь, а это значит, что завтрашнего дня тоже не будет. — Может, света хоть немножко прихватим, — мрачно, в тон погоде добавил он.

А его уже и не было, света-то. Задернуло его низким сырым небом, забило все сочащимся сеевом. В окне стоял полумрак. Размыто, как высокая гора, темнел лес за пустырем, куда предстояло ехать.

Пашута принялась торопливо одеваться. Танька из дверного проема в большую комнату смотрела на Серегу с испугом — как на вестника чего-то неземного, страшного. Ей жутко было остаться наедине с покойницей и жутко было напроситься поехать куда-то в надвигающуюся темноту вместе с этим суровым посланником происходящей вокруг неотвратимости. В полинявшей штормовке поверх свитера и разбитых кирзовых сапогах, плотный, сильный, Серега держался до того уверенно, прочно, что Пашута опять успокоилась. Она влезла в ту же куртку и те же сапоги, что и утром, других сапог для опухших ног у нее не было. Танька выслушала наказ сварить принесенное Пашутой мясо, а кроме того, сварить еще и кисель — беспрекословно, в этот момент и не понимая, что от нее требуется. Она бросилась к окну, когда вышли, и сквозь водянистый полумрак рассмотрела, что садятся в зеленую «Ниву», которая тронулась сначала вправо, к соседнему микрорайону, но остановилась и принялась разворачиваться влево, к дороге, ведущей в аэропорт.

«Если ехать от микрорайона, с той стороны и в лесу еще могут шататься, — рассудила Пашута. — Лучше подняться от дороги, там от жилья далеко, там и в добрую погоду ходят меньше». Но кому в такую мокреть ходить? Что тут сейчас делать? Погода самая воровская, но для какого-то особого, как у нее, у Пашуты, воровства, от которого страдает не собственность чья-то, а сами человеческие устои. Против чего-то слишком серьезного и святого выступила Пашута; как знать, не держится ли сейчас, в эти минуты, всемогущий и справедливый совет: допустить ли,

даже из милосердия, ее готовящееся покушение... На что покушение? — Пашута до сих пор не решалась додумать.

Они съехали с асфальта, как только сосняк справа из мелкого поднялся выше. Показывала, куда ехать, и сама не зная куда, Пашута. Оба микрорайона вокруг оврага лежали в сбившихся в кучу мелких дрожливых огнях. Пашуте хотелось, чтобы с места, которое они выберут, виден был ее дом. Она узнает его по трамплину, он и сейчас изгибался над высоким берегом оврага как мостки, под которыми ходит, казалось, темная вода.

Но — если видеть дом, смотреть пришлось бы, откуда ни возьми, со свалки — так был захламлен, набит стеклом, завален банками и пакетами, зачернен кострищами, затоптан и загажен ближний к оврагу и городу лес. Надо отодвигаться дальше. Но отодвигаться так, чтобы не уехать. Иначе не достать потом Пашуте с ее неходячими ногами.

Выехали на полянку среди редколесья; Серега затормозил и первым вышел. Выбралась, уже видя, что нашли, и Пашута. Вокруг стояли сосны, а с темной, с северной стороны высоко и могуче вздымались из одного корневища, расходясь, как сиамские близнецы, на высоте человеческого роста две лиственницы. Других таких во всем лесу быть не могло. Будут стоять как сторожа над материнской могилой. Да, здесь разводить могилу, ничего другого можно не искать. Полянка небольшая, но, должно быть, веселая и приветливая при свете и солнце, в мягкой хвойной подстилке с негустой травой. Из города слабо промелькивали сквозь лес огни, но город оставался недалеко, и утробный гул его стоял в воздухе. Но он слышен и на кладбище; для тех, кто переезжает туда, есть, кроме расстояния, еще одна защита. Будет она и здесь. Надо только поглубже ее сделать.

Серега сбросил с машины лопату и ломик, велел Пашуте оконтурить «работу». Он так и сказал — «работу», не прибегая к слову, которое не хотелось произносить. По городским огням Пашута сориентировалась, где восток и где запад, чтобы правильно развернуть могилу, и сделала надрез. Пока совсем не стемнело, Серега поехал вмять в землю напрямую к дороге след. Пашута слышала, как на обратном пути он метит деревья затесями, показывающими дорогу. Вернулся, отнял у нее лопату и заработал, как машина.

Стемнело до чуть сквозящей темноты и остановилось. Небо по-прежнему было глухо затянуто, по-прежнему моросило, уж не бусом, а мелким тихим дождиком, но различимый отсвет че-

го-то огромного, излучающегося сквозь любую преграду стоял над землей подобно свечению единой всечеловеческой жизни. Непогода пригасила электрическое зарево города, придавила многие и многие тысячи огней, взмелькивающих как-то сиротливо и обреченно, а этот неизвестный и глубокий подтай ночи загасить была не в состоянии.

Продернуло сквозь лес холодным ветерком, шумнуло в соснах и стихло, через минуту опять.

Серега сгибался и разгибался, сгибался и разгибался, уже по пояс в яме. Ему приходилось капывать, и вел он углубление со-ступами, аккуратно складывая землю с левой от себя стороны. Почва оказалась слоеная, вслед за черной землей шла глина, в которую лопата входила вязко, но податливо, затем глина с песком, и зашуршало, зашуршало, стекая с холмика обратно, затем заскреблись камни. Серега выбрался за ломиком, осветил фонариком дно. Там лежал плитняк. Он снова спустился и пошел крушить плитняк ломиком, вымахивая удары мощными движениями. Плитняк поддавался лому, но не брался саперной лопатой. Серега стал выбрасывать его руками.

Ветер трогал все чаще и чаще, нахлестывая дождем. В соснах от дождя и от ветра шумело не переставая, и этот шум тоже был кстати, без него удары железа о камень раздавались бы далеко. Все было до везения кстати. Прятаться в машину, куда отправлял ее Серега, чтобы не мокла, Пашута не хотела. Почему-то надо было мокнуть и мерзнуть, но быть рядом с этой все углубляющейся прямоугольной ямой, присутствовать при ее творении. Никаких чувств она не испытывала, а только присутствовала. Холодность, безразличие, равнодушие пугали ее все больше; она спрашивала себя, понимает ли, что это могила матери со стуком разверзается перед нею, бездна, которой мать будет поглощена навсегда, и казалось ей, что не понимает. Не хватало для этого ни ума, ни чувств, ни представлений, все укорачивалось, слабело, отмирало. Похоронит мать, и надо будет думать, как быть с собой.

Серега вылез и отряхнулся.

— Поехали, — сказал он.

— Мало, — решительно возразила Пашута и взяла у него фонарик, осветила. — Мало, парень.

— Знаю, что мало, — ответил он без раздражения. — Остальное потом. Сейчас надо ехать.

Спустились на асфальт, и он остановил машину, вышел, что-то примечая, затем для верности снял на бумажку цифру

со спидометра. Работа примирила его с выпавшей ему ролью, и, мокрый, измазанный грязью, он повеселел, воодушевился, готов был разговаривать.

— Место мы с тобой хорошее выбрали...

— Хорошее, — согласилась Пашута.

— Вот думаю: не забронировать ли у тебя рядышком? Не люблю толкотню, тоже на выселки не отказался бы.

— Тебе до этого далеко... — В машине с включенной печкой Пашута стала согреваться, нагрелись в ней и чувства, она говорила искренне. — Было бы кому передать свою волю, мне-то рядышком с матерью Бог велел.

Серега понял это по-своему:

— Припекло тебя?

— Припекло.

— А ты сопротивляйся.

— А я что делаю? Зачем ты мне землю долбил, если не сопротивляюсь?! Только как: одни сопротивляются — хочу жить. А я не хочу так жить, не умею. У меня ноги больные — на колени падать. И спина не гнется.

— Бабы должны быть нежные или такие, как ты, — сделал Серега вывод. — Можно пополам. А они вздорные пошли, дерганые.

— Сказать тебе, какие мужики пошли?

— Я знаю. Мужики пошли как танки — для выполнения боевого задания. Без мозгов. Кто заплатит, тот и стреляет из такого мужика.

Высаживая Пашуту возле дома, Серега предупредил:

— Я у Стаса сосну часок, потом приедем, если у него готово.

...Танька спала, свернувшись клубком на кушетке. Мясо на электроплите уже и не варилось, а жарилось в выкипевшей кастрюле. До киселя дело не дошло. Девчонка уснула со страха, и взыскивать с нее было бы грешно. Не стала и Пашута возиться с киселем. Разве можно одним киселем обмануть отвергнутый порядок?! Столько было хлопот, что она не знала, за что взяться, но все это могли быть хлопоты из старой обрядности, а Пашута шла мимо, не заботясь о ней, поэтому можно было, казалось, ничего не делать.

Она только и смогла заставить себя — почистить картошку. Мужиков, когда вернутся они из леса, надо накормить. Поминками это назвать нельзя, а накормить, налить рюмку надо. Картошка была мелкая, чистить ее приходилось, заперев и мысли, и

сердце, уткнувшись в одно только это занятие. Мелкая — придется жарить в духовке. Кажется, это называется: картофель по-французски. Русское горе по-французски звучит красиво.

Стас с Серегой приехали только под утро. Первым прокрался Стас, постучал тихонько, и следом за ним, обхватив сбоку руками длинный прямой предмет, обернутый в мешковину, поднялся Серега. Он подал этот предмет в дверь Стасу, тот принял и поставил стоймя к стене направо. Запахло деревом, смольем.

Чтобы не топотить, скинули сапоги, говорили вполголоса. Вдвоем — не загремело бы — развязали мешковину, скинули ее, цепляющуюся за углы, и приняли гроб на руки, почтительно держали его с двух концов, пока Пашута не подставила табуретки. И как только здесь же, в маленькой прихожей установили его, новенький, из свежей золотисто-янтарной сосновой доски, остро и сладко пахнущий, не просто скаляканный в четыре доски, а высокий и просторный, солнечный, к изголовью расходящийся, а в ногах поуже, с горбатой крышкой, да как только сняли эту крышку и открылась телоприимная обитель Аксиньи Егоровны — это было уже не изделие рук Стаса, над которым он провозился весь день, а нечто, явившееся по высочайшей воле, огромное, важное, заполнившее не одну лишь квартиру, но весь дом. С незапамятных времен называют эту обитель человеческой бренности домовиной. Боковые ребристые стены ее, под углом расходящиеся, чтобы не тесно было в локтях и не давило грудь, и снова сдвинутые, шатровый потолок, общая ее форма, «архитектура» — все внушало почтение и трепет, от всего замирало сердце.

Домовина для Аксиньи Егоровны была выстроена по первому разряду, ничего не скажешь. Грех обижаться. Но эту домовину нужно было еще выстелить теплом и убранством. Красный материал для обивки Пашута купила. Залезла в долг, истратилась, но материал был под стать гробу — праздничный и суровый. Им она и принялась выстилать ложе, закрепляя его кнопками. Стас помогал ей. Разговаривали шепотом. Серега попросил чаю, Пашута отправила его в кухню распоряжаться самому. Опоздали из-за него: он, заехав домой, уснул.

Ничего не умела, ничего не знала Пашута из обряда, на похороны ходила в провожающих, не заглядывая в правила. И сейчас она выстилала домовину по своему разумению: обила тряпкой ложе и крышку, под спину подложила легонькое стеганое одеяло — не из новых, под голову подушечку — как для сна.

И надо было торопиться, и не торопилось, движения сдерживались сами, отмеряя положенный ритм.

А много ли прибора? Пашута выпрямилась и кивнула Стасу. Вдвоем, не отрывая от табуреток, они перенесли гроб, поставили его рядом с кроватью Аксиньи Егоровны. Подняли ее, подхватывая с двух сторон под спину, опустили в новую хоромину. Удобно легла Аксинья Егоровна, не тесно. Пашута поправила ей руки, платок на голове; вспомнив об иконке, сняла ее с этажерки и положила под руки.

Вот теперь дома. Теперь дома, Аксинья Егоровна, и вместе с домом поедем прибавлять земли. Поедем в истинные отчие пределы, где тебя заждались. Только это и выскреблось из сердца Пашуты, ворочающегося медленно, гулко, как из-под гнета.

Проснулась Танька и стояла в дверях, глядя на происходящее расширенными от ужаса глазами. Старенькая бабушка лежала лицом к ней, и так много за полминуты сказало ей это лицо в раме гроба, успокоенное, освещенное нездешним светом, обращенное к ней одной, что чувствительная душа девчонки опалилась. Не бездыханно лежала Аксинья Егоровна перед Танькой, а стояла, как и она, в раме выходной двери, обернувшись всем телом для прощания. Сколько потом придется пытать себя — всю жизнь! — чтобы понять то обосветное, что говорилось ею.

Пашута укрыла мать сверху белым, аккуратно подоткнула со всех сторон, постояла с минуту и пошла собирать сумку. Стас с Серегой опустили на домовину крышку и вдавили наживленные гвозди. Все без стука, с редкими, приглушенными словами. Наблюдая, как они обуваются, Танька вдруг поняла, что сейчас уйдут, уйдут все, вместе со старенькой бабушкой, и только ее собираются оставить здесь. Она закричала, не сдерживаясь:

— И я! И я! С вами! Вместе!

На нее зашикали, Танька испугалась еще больше, со стоном повторяя:

— И я! И я!

— Куда ее? — тяжелым шепотом спросила Пашута.

— Некуда, — пожал плечами Серега. — Заднее сиденье мы убрали.

Танька умоляюще смотрела на Стаса, чувствуя в нем главного. Вот что значит: нет лица — один страх, одни слезы, одна мольба. Стас сдался.

— Как-нибудь поместимся, — сказал он.

Собрались, приготовились. Насторожили Аксинью Егоровну ногами вперед. Зашли слева, подняли ее на длинных поло-

тенечных жгутах, приобнимая гроб правыми руками, открыли дверь, тронулись. Пашута придержала Таньку — пусть снесут — и встала у окна, чтобы видеть, когда выйдут. Все тайком, все как у татей.

На улице серело. В холодном предсветье было сыро, но без дождя. Похватывал порывами ветер. Пашуту усадили на переднее сиденье рядом с Серегой, Стас с Танькой устроились позади, рядом с Аксиньей Егоровной, домовина которой высовывалась наружу. Потянут в гору — начнет она скатываться... Но сейчас важно было скорей отъехать с глаз долой, укрепят потом. Скорей, скорей!..

«А ведь везет. Пока везет», — думала Пашута, уставившись в раскрывающуюся перед светом фар дорогу. И уже не ее — посторонней мыслью продолжилось: «Можно было все это среди бела дня делать. Никто бы внимания не обратил. Никто сейчас ничего не видит».

На выезде из города остановились, подвязали заднюю дверцу, накинули на гроб петлю из того же полотенечного материала, концы ее Стас намотал на руку. Танька с ужасом смотрела, как он садится на гроб верхом, точно взнуздав его, точно собираясь подстегивать. Но, должно быть, и Стас разобрался, что сидит он нехорошо и встал на колени рядом.

Серега все-таки потерял сворот. Отметил, до метра отметил, сколько от него до подъезда Пашутиного дома, а обратно, включив скорость, память не включил. Остановился и раз, и другой, но в нечистой мешанине тьмы и света, угарных городских выбросов и морока след разглядеть было невозможно, а лес справа возвышался сплошной, глухо ворчащей под ветром стеной. Шепотом выругавшись, Серега решительно повернул назад.

Обратно поехала Асинья Егоровна, должно быть, первая из покойников.

— Шесть километров четыреста метров, — мрачно, как пригрозил, уже громче объявил Серега.

Пашута не приняла разворот за дурной знак. Если все от начала до конца не так, то по нетаку и это так. Но светало, светало, над городом обозначилось небо. Она прикрыла глаза, прислушиваясь, как ездит в просторной домовине мать.

Через шесть километров четыреста метров от подъезда Серега остановился, сделал вперед шагов десять и красноречиво вскинул руки в сторону леса. Нашел. Теперь в гору, в гору... На вымокшем скользком подъеме натужно ревел мотор.

И били, били камень, теперь уже вдвоем, сменяя друг друга. Били кайлом и ломом, от могучих, на весь вынос сил, ударов Сереги сотрясалась поляна. Рассвело мутно, день опять обещал быть слепым. В соснах ходил гул ветра; накатывался с запада, где стояла тайга, и здесь, возле поляны, обрывался в пустоту, точно разбивался о берег, скатываясь слабым выдохом обратно. Снова вал и снова с отдачей назад и срываемыми с неба мелкими редкими брызгами.

Аксинью Егоровну оставили в машине одну. Танька ушла в лес, Пашута топталась возле мужиков, то подходя взглянуть, то отходя присесть на выброшенные из машины доски. Когда спускался вниз Серега, казалось, что осталось только подчистить, но вот он, вспотевший, взлохмаченный, с набившейся в усы землей, выбрасывал свое тело наверх, наступала очередь более высокого, едва не на голову, Стаса — и видно было: мало. Без огорожи, без догляда опустить следовало дальше. Сидя на коротких, сложенных одна на другую досках и глядя на торчащий из машины гроб, прислушиваясь к гулким размеренным ударам заостренного железа о камень, Пашута раз за разом забывалась до беспамятства от напряжения и двух подряд бессонных ночей, с трудом приходила в себя, еще пытливей и еще тупей всматривалась в гроб, ждала, когда ее проберет стыд за неспособность к боли и, не дождавшись, встряхиваясь от онемения, поднималась. Поднявшись в очередной раз, она заметила, что Стас удлиняет могилу новым надрезом в изножье, чтобы отступить от неподатливого, огромного камня в изголовье. Просторной вышла для Аксиньи Егоровны домовина, но еще просторней выходила могила. А вокруг такой простор под солнцеходом, что лежи не тужи, такой перебор ветра в тяжелых тугих ветках, что днем и ночью будет звучать музыка.

Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле!

Пашуту подтолкнули: рядом с могилой на деревянных брусках, нарезанных для полатей, уже стояла домовина с Аксиньей Егоровной, ее открытое, успокоенное, сухое лицо было подставлено небу. На лицо падали снежинки. Они взволновали Пашуту больше, чем все, происходившее здесь до сих пор. Она клохтнула неразборчиво и обрадованно, звуком, в котором смешались горечь и утешение, боль и порыв, опустилась перед матерью на колени, только для нее одной выдохнула «прости» и прикоснулась к холодному твердому лбу поцелуем. Ткнулась и

Танька в старенькую бабушку и отпрянула, не отводя оцепеневшего взгляда, попятилась.

Дали еще полежать Аксинье Егоровне под небом, с которого, набираясь, спадал снег. До чего кстати этот снег — словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия. Словно высшая сила сникала над человеческой слабостью и своевольством. Ветер затихал, прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нем красиво и грозно.

Пашута пристально смотрела, как опускают гроб, как вытягивают из-под него веревки; беззвучный стон пронзил ее, когда Серега спрыгнул сверху на гроб и принялся наставлять стояки для полатей, которые ненадолго защитят тело Аксиньи Егоровны от каменного гнета. Днем, как она представляла, вместе с матерью и половина ее, Пашуты, отделится и уйдет в могилу. Что ушло, понять было нельзя. Но ушло, меньше ее стало, и стучащие о доски камни, осыпающийся, плотно закрывающий поры песок начинали давить и ее, она хватала ртом воздух, жадно подставляла лицо под снежинки.

Не похожи лицами были они с матерью, но Пашута сейчас видела только сходство. Дышала, дышала учащенно, и жадно — и не хватало воздуха.

... — А что, — громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке оглядывая оставляемый холмик. — Хоронят же при дорогах шоферов, когда погибают при исполнении обязанностей. Какая разница — где?! В ту же землю... Правда, Танька?

Танька торопливо закивала. В освещенных недетским прозрением глазах ее стояли слезы. Решительно вступала в свои права зима — снег шел густо, небесный свет его должен был проникать глубоко.

Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до нее лишь по весне, когда в лесу еще томились снежные обтаи. Подковыляла к полянке и ахнула: по обе стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика. Аксинья Егоровна лежала не одна. Такое славное сыскали место, что появились соседи. Но как и кто среди тучных снегов мог обнаружить ее последнюю обитель?

Удивление Пашуты было настолько велико, что она не выдержала и отправилась к Стасу. Он вышел к ней мятый, с резко обострившимся лицом из тех, которые несут на себе весть, со-

всем больной. «Заболел, что ли?» — от порога спросила она. «Вроде того», — ответил он.

Прошли опять в кухню. Стас принялся расчищать неприбранный стол, с бряком сваливая посуду в мойку. Все так же черно и коряво заглядывала в окно яблоня, все так же терзал ее ветер. В доме было прохладно и неуютно. Пашута не стала тянуть.

— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — спросила она, внимательно в него вглядываясь.

— Как же забыть?.. Не забыл...

— Я вчера пошла... и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали...

Стас глухо сказал:

— Одна могила Серегина. Чья другая — не знаю.

— Как Серегина?! — ужаснулась Пашута. — Ты что говоришь, Стас Николаевич?

— Убили Серегу, после Нового года. Остался я без товарища. Я и подсказал туда свезти, к хорошему человеку. Вместе веселей. И себя заказал туда же.

— Кто убил, почему?

— Он в органах работал, — с нарочитым покашливанием, чтобы не выдавал голос слабость, говорил Стас. — Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание. Вот так, Пашута. Такая теперь жизнь и смерть.

Последние слова заставили Пашуту всмотреться в него еще внимательней. Не его это были слова, не его интонация, какая-то манерная, жалкая.

— Пьешь ты, что ли, Стас Николаевич? — спросила она.

— Пью, — признался он. — Пью, Пашута. — И, округлив рот, со шлепом бил изнутри по щекам языком.

Она не пожалела его:

— Сильных убивают, сильные спиваются... Кто же останется, Стас Николаевич?

— Кто-нибудь останется...

— Но кто? Ты знаешь их?

— Нет. Все, кого я знаю, не те.

— А где те?

— Я тебе скажу, чем они нас взяли, — не отвечая, взялся он рассуждать. — Подлостью, бесстыдством, каинством. Против

этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого. Говорят, русский человек — хам. Да он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти, которые пришли... Эти — профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! — ничего страшней и законченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк. Молчала и она, испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека. Он добавил, пытаясь объяснить:

— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией... И фамилия какая — Черные!.. Эти Черные взяли и хапом его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили!

— Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь... Не может того быть! Чтобы взяли... всех взяли! Ты же не веришь в это?

Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка — изломанно-скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира.

...На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла одна под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в будний день и в час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение — должно быть, в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели свечи. Неумело Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила — две на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души Стаса.

1995

ИЗБА



зба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро — постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду — и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не без оснований держащееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку

и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души. «Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадовавшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травиной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя.

Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволуцким же парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохористым, во все встревающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась... еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело — бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, се-

стра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом, закутываясь от мошкары, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтобы не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду, и голос заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость, — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах течения три версты до Верхнего острова, и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти... если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только выправились с одежонкой и обужонкой, досыта принялись стряпать хлебы, а самое главное — только избавились от мошки и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой заоглядывались вокруг, чтобы такое еще сыскать для справного житья, — вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплением в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна — надсада, от других она выкрепилась в кремень. В те же годы накануне затопления впервые за всю ангарскую

историю стали проводиться медосмотры, на специальном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья врачи и каждого-то поселянина в обязательном порядке выстукивали и высматривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, стращая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем. Криволуцкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, унизительно распластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала. Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием, что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимаются уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось ей отпочковываться от криволуцких. День после сердитого холодного утренника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же

поездами широко и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела, убегала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без дверок, тупо, оглушенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стянутый тросами воз с тем, что было ее избой и что оказалось теперь таким жалким и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега напротив Криволуцкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, — она не слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его имя — Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, стоявшую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать поздно, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим сердцем запросила остановку. Савелий, не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу.

Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные крепкие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем свои рябины, пятнавшие лицо. Занося одни ноги, не прихватывая руками, как при всходе на бугор, поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Агафьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, — рост в нем не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями натирать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы.

После удачной переправы и прогулки в кусты Савелий повеселел, его потянуло на разговор.

— Не попала, говоришь, на Криволуцкую улицу? — в который раз за дорогу спрашивал он, закуривая и заглядывая куда-то за Ангару.

— Не попала.

— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?

— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за последние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибудет. — Не приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по нам, парень, леченье. Кому, может, и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони.

— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?

— Много они калечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку делать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась и заговорила живей, отчаянней: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеваную... Несут — глотай! — на чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому говорят! А как ее глотать?! Как, грят! Вида-

ла, как воробей червяка глотает? Маленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон лезут.

— Для чего глотай-то?

— Сок из нутра качают. Там сок есть.

Савелий кивнул:

— Желудочный сок.

— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твово соку мы ниче опознать не можем. Они мне силой туды, я выдерьгиваю обратно. Они — туды, я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла.

— Проглотила кишку-то?

— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, сидю, и уж дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через каку-то пору вы-дерьнули, а он, коло-то, все стоит. Подымайся, грят, и иди, а я сдвинуться не могу. Охнуть не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следующей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с воза, пора было ехать.

Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.

— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой руке рассматривая, прищурив один глаз, окурок.

Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:

— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. Как ребятенка похвалили: ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольно приспуская веки. — В глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутоватый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда не видавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям,

на которые съезжался весь колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а приглядевшись теперь, разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это общее светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.

Но она догадалась:

— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?

— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.

Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:

— Давай я тебя на Ереминскую улицу завезу? А?

— Где я там буду?

— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.

— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.

Агафьину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не попавшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке врастания в новую жизнь никого это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-деревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канава, которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на Канаве. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла до угла тянулись стайки да огороды.

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля и ни вырубок, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она выдрала их

только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал мала меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отталкивая друг друга, громоздились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни было.

Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы успеть. Деревней переезжать — все равно что без огня погореть, а уж когда вся волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.

Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подхватываются.

А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краешком, но захватила. Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать начин песне, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит

и в песне тешиться надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная.

В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами собой под деревенскую ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаенными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказываемых не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег... не верите мне, спросите у дяди Егора... вот лег он вдругорядь, и вдругорядь стук в окошко. «Выходи, дядя Егор!» — нечеловечьим голосом вызывают его. Он бы и рад не выдти, да как не выдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напужают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!..» — И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек, и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!

Агафья помнила лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пузыри на окнах вместо стекол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, и добавлял при этом с тяжелым недоумением: «Чего уж не могли догадаться изнутри заслонки делать, тут никакой особой хитрости не требуется».

Зато потом закипела такая смекалистая жизнь, что только успевай поворачивайся. И казалось Агафье, когда она раздумывала об этой жизни, что не похоже, чтобы ее и сто лет спустя можно было назвать стариной, что все больше выкореняется она, выходит на поверхность и не вниз ляжет, как века до нее, плотным удобренным пластом, а выдуется в воздух.

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья таскать мох. Все равно пригодится,

без мха, без конопата и стайка не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку сбоку, скатывающимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы лиственничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. Делать нечего — пошла она опять к Савелию. Пошла уже в сумерках и не застала дома. Обошла кругом его избу и не узнала ее. Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от речки с ее неумолчным серебристым говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, с поляны, которая заботливо уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картинкой, — здесь, в общем ряду на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, откнувшуюся, где ей было велено. «А ведь он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меня-то будет?»

Не застала она Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плавал в Еремину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый убор, среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, потерявшую вид полянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не захотела с ним разговаривать и все отводила глаза. Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — Привезем. И валить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад, ясно дело, нужно листвяковый. — И, прищурив по обыкновению левый глаз, вглядываясь в нее, помолчал и добавил с чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и съездим. Приди вечером, я тебе верней скажу.

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, можно бы и догадаться. Ой, простота с пустого куста».

Вечером Агафья, отворив калитку, которая на скорую руку запиралась бесхитростной вьюшкой, наткнулась на Савелия во дворе. Маленьким топориком с крашеным желтым топорищем он вел по доске такую ровную стружку, что не надо и рубанка. И,

оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил поверх доски.

Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — И Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Криволуцкой кросна. Им тоже скорей всего не бывать в деле — кто теперь садится за тканье! — да ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца. Изба у Савелия изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была она нараспах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом дальнем углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы. Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет класть из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным одеялом, стол, накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обстановка. Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого подручья, что запрягается и объезжается в дому постоянно.

— Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча глаза, — такая моя хоромина. Сверху, видишь, не капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, точно ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновенье переломил себя, скрываясь за шутовской тон, весело предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. Чего мы будем вторую избу ставить!.. Перезимуешь... не поглянется — весной поставим.

— Ты никак меня сватать задумал? — от неожиданности растягивая слова, спросила она.

— Задумал. Сватаю уж...

— Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба! Ты че это? Ни сварить, ни обшить. Я все на бегу. Я вся на бегу, — поправилась она. — Ниче не умею. Ты че-то во мне не то увидал. Я выхолостилась уж не знай когда.

Это была не игра, не ломанье бабы, любящей узор и силу напора, сомневаться в этом было нельзя, и Савелию ничего не оставалось, как отступить. А ведь и не обидела даже баба. Он без натуги рассмеялся, прекращая «сватовство»:

— Глаза плохо видят, вот и не увидал.

На другой день, когда поехали за листвяками, Агафья расспросила подробно, с чем остался он, вступая в новую жизнь.

Но говорили они не в продолжение вчерашнего разговора, о котором молчаливым согласием постановлено было раз навсегда забыть, а совсем отдельно от него, совсем самостоятельно. Попытку Савелия сойтись постановлено было забыть, и все же, странное дело, после нее, ни к чему не приведшей, ничего не оставившей, кроме неловкости, стали они ближе, каким-то утешением, невесть откуда взявшимся, связались теснее, и все, что узнавала Агафья о Савелии, расспрашивая его, укладывала она в свою душу поближе. Старшая его дочь по накатанной всеми деревенскими девчонками дорожке уже укатила в город, поступила в поварскую школу, младшая, четырнадцати лет, которой оставалось доучиваться в восьмиклассной школе год, вострила глаза туда же, а пока в учебные месяцы жила у тетки в райцентре. Старшая в мать, быстрая, легкая, смелая, а младшая тоже в конопушках, задумчивая, приземистая. И любит отца, и обижается на него за рябь на лице. Почти десять годочков помогала Савелию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, как он называл ее, «моя молодайка». Тогда, после войны, это было нетрудно — привести в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: высокая, волоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и ребятишек, и избу содержала в чистоте, в деревенскую маету впряглась без понукания, но к затянутой дремучими лесами Ереминой так и не привыкла. Еремина и из Криволуцкой смотрелась глухим углом, жизнь поживее шла правым берегом. Звали «молодайку» Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за это они недолюбливали ее, но за ласковое обращение с девчонками прощали ей все, а за то, что водила она девчонок на могилу матери, еще и не удерживались от чувствительной слезы. Так и жила — не своя и не чужачка; должно быть, так же, как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия. Как в отпуск, уезжала на неделю, на две на аборты в райцентр, возвращалась осунувшаяся, неразговорчивая, отмякала не сразу. Баба в ней тянулась к Савелию, к его спокойному и красивому нраву, к сильным и умелым рукам, а неуступчивая, тоскующая по чему-то другому душа тянула к разрыву. Как раз начался переполох с переселением, сковыриваемый народ заметался, еще за год до того уехал в город в ремесленное сын Паны, потом поехала старшая Савельева дочь — и однажды утром в начале лета встала перед Савелием с окончательным решением и его «молодайка». Он ждал этого, чуял и удерживать не стал. «За

десять лет возле девчонок я поклонился ей в ноги», — сказал он, и Агафья знала, что это не пустые слова, что так он и сделал; нет, было, было в нем что-то дальнее.

Теперь вот перебрался на людное место, а один. Жить ожиданием дочерей, которые изредка станут приезжать гостьями на показ родителю? Но еще будут ли приезжать? Едут к матери, там неодолимая тяга плода, помнящего вынашивающую, утробную колыбель, к отцу такой тяги не бывает. А одиночество мужик выдерживает недолго.

Доставили листвяки, намаявшись с ними меньше, чем боялась Агафья, и в тот же вечер, не обрывая везенья, оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить. Развернули хорошо: два окна будут смотреть на восход солнца и два — на дневной его ход. Впервые за последние месяцы, с той поры как угодила она в больницу, сердце ночевало у Агафьи на месте. И утром вскочила она весело, жадно, в нетерпении побежала к Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, застала его прежде чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе, потом присела вместе с ним за стол и, подливая в кружки себе и Савелию, погружаясь в тепло от чая и от близости к нему, стала рассказывать:

— Я три дни назад на корову свою ходила поглядеть. Корову я ишо летом в общее стадо сдала... не насовсем, до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. Ну и отвела, леспромхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем содержать ваших коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в детский сад. Для меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно там под коровник приспособили.

Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Приходю, у прясла стала. «Марта, Марта!» — зову, она у меня мартовская. Марта моя услыхала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, не идет. Голову к земле пригнула, набычилась, в характер уперлась и никак, осердилась на меня, что я с хозяйства ее сняла. «Марта, Марта!» — Я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стайку браться. Ой, да когда бы не эта беда, не больница, разве бы я счас такая была? У меня бы разве две руки было?!

В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых сапогах... Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три. Когда лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на еловый пень и потянулся за папиросами, а парень, как показалось Агафье, в ожидании ходил вокруг сделанной работы и, постукивая по лиственницам топором, слушал с восхищением тугой звон, сказала Агафья виновато:

— А мне вас и угостить нечем.

— Нечем — обратно вытащим! — развеселился парень. — Обратно в лес увезем. Заводи, друг Савелий.

После этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на каждый стукоток мотора. Нету — значит, нету в поселке, значит, турнули куда-то вместе с трактором. Леспромхоз о садившихся на его землю бывших колхозниках не особенно горевал, они — как мухи: если и пристынут от морозов, так оттают, но у леспромхоза уходило время, чтобы поставить гараж, мастерские, пекарню, подвести электричество, пригнать, пока есть дороги, технику, а работнички расползлись все по собственным стройкам, и выковыривать их приходилось чаще всего облавой: кого поймали, того и запрягли.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала — ничего: тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? «Какая я баба? — одергивала она себя. — Одна затея бабья».

Еще поперед главного дела сколотила она каморку от дождя и зноя, пустила на нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подсказал, что крыша эта свое отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и нощно. Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться и сварить. Но ночевать она по-прежнему убегала в

Криволуцкую... ой, да не на ногах убегала, а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу на Криволуцкую дорогу — и себя не помнит, как добежит. Возле русской печи, брошенной под небом, и разбередится, и успокоится как на родной могилке. Все свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова ворохом наседают, и надо торопиться, чтобы укладывать их в стены. Зато как хорошо потом, насадив на свое законное место венец, сесть без сил подле, прислонясь спиной к бревешкам, вытянув ноги в кирзовых сапогах, и чувствовать, как тукает-тукает в спину легкими толчками: оживали бревешки, врастая в одну плоть, начинали дышать. «От своих-то рук теплее будет», — и не различить уже было, от нее шли эти слова или они шли к ней.

Вот уже и поката задрала она вверх и взялась за веревки: подтянет бревно с одного конца, закрепит и тянет задругой, помучится, насаживая выемкой на нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно в углах в замок, но уложит и порадуется... Вот уже пошли на две стороны оконные проемы и способней стало наваливать из-под рук — от живота рывком вверх, и там! Вот уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, поднялся Агафье в рост, и вот уже принялась она разбирать на две укладки, где потолочные плахи и где половые... Все на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами на бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше себя, выругается невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет. А застряв раз, идет в другой раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли она с надрыву, и опять застрянет... Ищет на закате солнца холостежь место для сборища и приостановится в нерешительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

— Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое указание?

Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:

— Седни-то уж так и быть. Проходите, щ-щупайте своих девок... А завтра этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.

— Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.

— А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.

И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо подставит, другой даст совет, третий пройдется брусочком по топору и натешет клиньев и штырей, четвертый на

ходу крикнет, чтоб звала ставить стропила, когда дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с откинутым задним бортом несколько сутунков: «Это тебе на стояки под печку — будешь класть печку-то?», а Агафье до печки, до подполья и до стояков — еще как до второй жизни.

Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестанно пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно — не сбилось бы что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы... Зарядят, к примеру, проливные дожди — и нет недели, а то и двух. Всего боялась, а между тем сердце стучало все ровней и уверенней, все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую наперед по привычке защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет. Погода стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовий Ангары добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону и стояло сухо, томительно-хорошо. Гром наладился греметь точно бой небесных часов, не могущих замедлить свой ход и поторапливающих, поторапливающих... С Ангары ему откликались и вторили протяжными тоскливыми гудками суда, уходящие на зимний отстой.

У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на другой, и она не могла припомнить, спала ли, и где спала, и какая работа была вчерашней, какая сегодняшней. Все реже бегала она на ночевку в Криволуцкую, дотягивая до последней минуты, когда уже и бежать было незачем, и все чаще в темноте подогревала чай в старой закопченной манерке, прихлебывала его без вкуса, заливая саднящий, долго не остывающий огонь внутри, ненадолго задумывалась, а уж в щелястую дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела, оглядываясь на поселок, где по-прежнему царил беспорядок, но подросший, тянущийся вверх, выкидывающий, как на грядках, одинаковые заостренные головки крыш; прислушиваясь к дробному, неумолчному стукотку топоров, визгу пил, она забывалась до того, что во всем ей мерещилась своя изба, двоящаяся, троящаяся, сотящаяся под слепящим солнцем в усталых глазах, и везде слышался разно-

симый эхом свой стукоток. Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая свое сухое тело легко и быстро, она стала потеть, высохла еще больше и выветрилась грудью вперед. Сама себе говорила голосом Савелия: «А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху. Вот так пополам и лопнешь». И сама же себе отвечала: «Но-о, лопну! Я посередь воза никогда не лопну. Не имею такого права».

И вдруг, ночуя в Криволуцкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли руки. Агафья лежала на деревянной кровати, грубо сколоченной еще ее Чапаем, которую она держала как память о нем, лежала, только и сумев толкнуть в улицу низкую амбарную дверку, и слышала, прислушиваясь к себе, как в пустоте ее тела от дыхания ходит ветер. «Вся, че ли, вышла?» — с ясностью думала она, совсем просто и коротко, без досады и страха. В амбаре было прохладно, стены завешены одежонкой, углы завалены всяким скарбом, от чугунов и кринок до деревянной лопаты для хлебов, от керосинового фонаря до резиновых сапог — все это ждало переезда, все прежде поторапливало хозяйку, а теперь скорбно притихло. Отдаленно и кисло тянуло запахом от мышей — еще с той поры, как в амбаре были сусеки с мукой. Солнечный свет не заходил за порожек. Там, за порожком, стояла нежилая, погасшая тишина, быстро дичающая, горчащая от брошенных печей, потом опять несердито зарокотал гром, научившийся не взбивать грозу, а ограждать от нее, на этот раз словно окликающий Агафью — и она в ответ послала ему слабый и виноватый вздох. Закрыло солнце, дунуло коротким ветерком, зашумело сносимой листвой, и опять все стихло. Солнце не показывалось долго. Воздух в проеме стеклянно посинел, лес за ним стоял вогнутой искривленной стеной. И в дреме поплыла, поплыла от всего этого Агафья на другой берег, наклоняясь вперед и гребя руками, досадливо взмахивая, когда руки не доставали до воды.

Не поднялась она и на второй день, но полночи проспала в полном забытьи и проснулась со слабой занывающей болью в теле. Вспомнив, что за сутки маковой росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя спустить на пол ноги, заставила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два шага до фанерного ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, отломила кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебушек она хотела пощипать

на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти минут не могла. Пришлось снова лечь — так, с куском хлеба на груди на темной мужской рубахе, и заснула опять, с особой остротой чувствуя во сне, как сереет, становясь пористым, небо и подкрадывается дождь. Просыпалась, убеждаясь, что и верно набухает видимый край неба над горой, и опять, неудержимо утягивалась в сон, снова просыпалась, слушала с минуту жесткое шуршание дождя о землю и крышу и еще стремительнее забывалась.

Изба к тому времени стояла у Агафьи под стропилами и был настлан потолок. Некстати свалилась она, некстати пошел и дождь, но когда ж в такую страду это вышло бы кстати? Дождь начался крупным и резким боем и точно взбил тепло от нагретой земли — через час не по-осеннему помякло, смиренно и скучно притихло и замаяло, занудило сверху липким сеевом. Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с белыми мухами. В Криволуцкую притарахтел на своем тракторе Савелий и застал Агафью сидящей на кровати. На полу валялись хлебные крошки, перевернутый ковш лежал на постели в ногах. Сидела Агафья склонившись вперед, опершись вытянутыми руками о колени, точно приготовившись к рывку. Обута в сапоги, на плечи накинута телогрейка. Лицо еще больше заострилось и в то же время разгладилось, доболела она до кости, на которой морщины не держатся. Савелий тотчас поставил диагноз:

— Надорвалась. Дурная ты баба!

— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.

— Обо что споткнулася?

— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и на ногах!

— Ты научись стоючи спать, — подхватил он. — Научись-ка! Как кобыла, которую не распрягают. Или того лутше — на ходу!

— Так а че... — неопределенно вздохнула Агафья, как будто и соглашаясь. — Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да вскочу. Я ни один сон, однако что, не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в болото.

— Встать-то сможешь?

— Вста-а-ну! Это мне нипочем. Седни же встану. А завтри на избу. Видал ты мою избу?

— Видал.

— Ну и че?

— Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но

ты баба неумная, ты алчная до работы. Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила... А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там здоровая нужна.

— Начать да кончить, это верно, — согласилась она, кивнув и надолго оставшись с мелко кивающей головой. — Это уж верней верного.

Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окриком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрикнула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порывистый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все вскидывала глаза, все вглядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Агафьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно, и мучился от безвкусной распаренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с заваркой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не угодила бы она в хозяйках и ему и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.

На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, набивая тяжелые молочнистые доски, — но когда же их было сушить? — и набивал внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, подпрыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась ли, радостно, возбужденно выкрикивала:

— С чего? С чего умаяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.

Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и новизной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по крыше топором, спустился Савелий вниз, — будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, как он сам называл себя, «бессрочный старик», по той при-

чине, что не знал своего года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случалось, чтобы всем сразу потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзительным голоском, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:

— Как седло на корове!

— Зато какое седло! — не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, сказал: — Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато счас... сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе — большого начальника.

Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуцкой... В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом... А над ее, Агафьиной, избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, — оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!..» Она поискала в небе — Стожары стояли еще высоко, и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало — вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.

И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла — это само собой, но и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и влечется, а вся остальная жизнь — как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. Только одно и знала Агафья — скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла дождаться: «Где же это утро-то заблудилося?», отрывалась от работы, чтобы сбегать в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб

из пекарни обещают «вот-вот», но десяти — пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: «Че ж я, без обеда, че ли, не перетерплю?» Не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.

Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокоилась, стала лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незнакомых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.

Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из каморки железную печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за которым гоняться не пришлось: услыхал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обнаружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а высмотрев, отстала и сложила печь сама.

Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а гладя бледными лучами, уже налетали с низовий ветры в белых ряднах и нещадно трепали оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пустила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон доносилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по рукам и лицу, сказала в окно:

— Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.

Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие тепло стены, как тяжко отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от рассказов о леших и домовых и хозяйской, ничего не упускающей мыслью решила: «Ниче, я сама буду домовым».

Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда и дотаскивая до последней мочи. И верно — ходила она постоянно в темном, обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под телогрейкой, тонкие кожаные чирки после переезда заменила на кирзовые сапоги, бессменные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбородком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, когда они не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам «лихоманки», которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока не хватила ее однажды «лихоманка» в лесу. Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Агафьиных каш и раз, и другой и видя искреннее простодушие, с каким не понимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзака тушенки и уже навсегда проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.

Она держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой сначала свой амбар, а потом и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять катала бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то слеги, вытягивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски.

Разодрала огород и загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят-шестьдесят кулей. Поставила ограду — тыновую, высокую, что тебе крепостная стена. Все из-под Агафьиных рук выходило не по линейке, вразнобой и вразнохлыст: столбы не держали строя, тын то приседал, то вытягивался — зато прочно: те же столбы уходили в землю на полтора метра, сени смотрелись жилым пристроем. Экономить силы она не умела, но каким-то загадочным круговоротом они возвращались к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиходный круговорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел беспрерывный. Один сенокос чего стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась своим и каждую осень два зародчика вставали за стайками в огороде, будто там и росли. А тайга! Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по Криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу в Илиме, потому что в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда не распугали их леспромхозовской войной против леса.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть последнего, но к деньгам у нее было старинное отношение, не дающее им воли. Ей удавалось продавать понемножку то молоко, то мясо, реже картошку, но, с другой стороны, и хлеб надо было теперь покупать, а не из квашонки наставлять в русскую печь, и за простенькой мануфактурой отправляться в сельпо, а не шить из самотканой холстины, и сено из-за хребта, где сенокос, на лошадках теперь было не привезти, потому что вывели тех лошадок, и расчет пошел на бутылки. Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, замкнувшего провода, не забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст... Воду и ту, качая ее из скважины, стали привозить за деньги. Тут деваться некуда, тут хочешь не хочешь, а расплачивайся. Но с удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужика, покупающего в магазине топорище, или на разъевшуюся, поперек толще, бабу, нанимающую работницу копать на трех сотках картошку. Не карман этого мужика и этой бабы она жалела, а сами деньги, попавшие в несерьезное место, где им не знают цены. Полоруких развелось — через одного, и, как всегда, когда полость обнаруживается в неположенном месте, в другом неположенном месте появляется у человека язвенный нарост, вроде пьянства. Никаким новым обычаем было не сбить

Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в недостатке, все, что сверх того, пользы не принесет.

Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с приливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъявляла желания приехать, а Агафья и не звала, не зная самого простого — как звать и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требовалось расписаться за пенсию.

У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, она и везде-то, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усаживалась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:

— Ну, так че решил?

Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. После перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два двоюродных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настойчиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех сторон выходило, что прямой резон ему, одинокому и стареющему, перебираться. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. Присмотренную им избенку продавали, находилась другая — продавали и ее, и он, ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома

краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу. Агафья, увидев красавец буфет в первый раз, так и ахнула:

— Нет, парень, тебе в рай-ен надо, в рай-ен. — «Рай-ен» выговаривался у нее с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких руках тебе тут делать нечего... — и несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привез Савелий курятник— с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.

Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что пробили наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.

А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.

Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, о нее с бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида,

тоже никуда не собиравшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство.

Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанными голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навыпуск, старой вытертой рубахе, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, сквозь дряблость разогретое, неспокойное. Он подливал себе чаю и рассказывал о двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись угадывать, где шестнадцать лет и где двадцать, он удивлялся:

— Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки... Конфорку с плиты подняла и чуть не всю головенку туды затолкала. Француженка, ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, поглаже... эта арихметику будет давать. «Вы, говорит, эта-то, говорит, — сколь раз на дню, ежели по зиме, печку топите?» — «Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз — одного раза хватит». Француженка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Продолжительность топки, отвечаю, до ломоты в косте». — «Нам леспромхоз, — они мне докладывают, — должон бесплатно топливо доставлять... мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать...» — «Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам эстолько и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокоем».

Агафья смотрела на Савелия печально: он не был разговорчивым, и, если разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, что впереди, что позади, — снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не по-местному

одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности.

— Там тебе климатней будет, — сказала и на этот раз Агафья.

— Везде хорошо, где нас нету.

— Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, Криволуцка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта... как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову... Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела.

Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к порогу:

— Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.

Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: «На мягких, на покладистых людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще». И без жалости подумала о себе: «Ты-то вся из одной людской запусти, на тебя и там спросу нету».

Много спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой дорожка к отбытию, приснился ей сон, поразивший ее откровенным своим смыслом. Сон такой: у себя в избе сидит она на полу, неловко подвернув ноги на одну сторону и кренясь на другую, и смотрит, смотрит неотрывно перед собой, ничего не видя... Справа от нее лежит дочь, слева Савелий.

— Ты, мама, лежишь? — спрашивает дочь.

— Нет, сидю.

Чуть позже голос Савелия слева:

— Ты легла, Агафья?

— Ишо сидю.

Через полгода под самый Покров, укрывающий землю белым саваном, накрыли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на погост, поставили над нею тяжелый лиственничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась ночью

в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем по окну, пока не обратили внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать ее, а она уж далеко.

Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла она безжизненной — ни дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепеневшая, безуходная, холодная, скорбная. Снег завалил ее снизу и сверху, только ставнями и чернела она, уткнувшись в сумет. Люди отводили от нее глаза и, избегая ненужных размышлений, торопились пройти мимо. Ходило над нею холодное солнце, выли метели, с грохотом проносились по улице лесовозы, звучали голоса ребятишек, возвращающихся из школы, — ни на что Агафьина изба отозваться не могла, умершая безмогильно, наводящая на живых тяжелую тоску. Соседние избы невольно отжимались от нее, нахоженная по снегу тропка по переулку делала стыдливый отворот.

Где жизнь, туда и весна приходит раньше. Уже вовсю бежала капель, булькали по улицам ручьи, уже и канава в переулке вздыхала томно и нетерпеливо оседающим снегом, а Агафьина изба по-прежнему коченела все в той же стылой неподвижности. Она и на избу перестала походить — так, строение, выпятившееся на глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость.

Потом кто-то догадался открыть ставни. Всего-то и надо было — дать свет в окошки. И задышала изба, очнулась, натянулась вся, подставила солнцу маленькие ослепшие глаза, заслезилась, принимая тепло, и за два дня скинула с себя смертный вид.

— Господи! — крестились бабы, оборачиваясь на избу. — Будто Агафья воротилась.

В те годы леспромхоз был в силе, работники зарабатывали хорошо, и ни парни, ни девки из поселка не убегали. Летом в Агафьиной избе поселилась молодая семья Горчаковых с годовалым парнишкой, решившая жить самостоятельно, отдельно от родителей. Вася Горчаков, сутулый неразговорчивый парень с длинными, постоянно тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был золотой работник в лесу, на трелевке, но не лежали у него руки к чужой избе, которая требовала то доски на замену оторванной, то поправы завалинки, а то просто молотка. Дождь мочил в сенцах, непогода бухала чем-то на крыше; пол-огорода запустили сразу же, стайки, сарайки оказались вовсе без надобности, курятник, тот самый, от Савелия,

выбросили. У молодых были свои вкусы, а от курятника пахло. С месяц пролежал он на боку под открытым небом, пока кто-то не пожалел и не прибрал. Стеша, Васина жена, мясистая и медлительная 18-летняя деваха, не нажившая еще привязанности к своей семье, какая-то отвлеченная, часто уходившая с ребенком ночевать к матери, и не пыталась наводить уют в этом временном и случайном жилье. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены, Агафья по старинке скребла половицы косарем и натирала песочком. И все равно держался в избе какой-то древний, словно бы и не человеческий, пропитавший стены, острый даже в своей угасшести, мускусный запах, вызывающий у Стеши аллергию.

— Смертью, что ли, пахнет? — постоянно морщилась она, напрягая большие открытые ноздри и вздрагивая чутко, по-животному, с пробегающей по всему телу дрожью.

Она и не заметила, не пытаясь привыкнуть к избе, что в сенцах перестало мочить. Вася заметил. «Затянуло чем-нибудь дыру, — решил он. — Обошлось без меня». И забыл. Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбудил среди ночи стук — будто в чьих-то руках молоток погуливает по крыше. Он не поленился, вышел — никого, в мозглом сыром рассвете, как в трясине, едва проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблазнилось. Но ложился обратно в постель Вася с мыслью, что надо сегодня же, не откладывая, поговорить со Стешей и соглашаться на половину двухквартирного дома, который скоро достраивают, не ждать, как они собирались, следующего, получше.

Но и этот, первоочередной, сдали только к лету. Последние два месяца Стеша доживала у своей матери, Вася у своей. Не слепилось гнездо в Агафьиной избе — ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за собой как положено, хлопнув дверью... Вздохнула Агафьина изба, прощаясь, — так тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть.

Следующие постояльцы прожили года три. Эти — пили. Пили зло, беспощадно и тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и

направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросать из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле — выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях, выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгребать кладовку.

Чем не жизнь! — так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сенник, и все темнели и темнели изнутра их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли.

В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая кухоньку от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в

сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись.

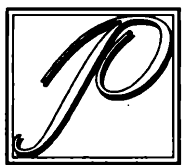
С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена — лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть предел и Божьему, если выбирать его без меры. Одною зимой делали возле нижнего склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот в тысячу с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! — и его не распознали. И стала год от года ужиматься в поселке жизнь: меньше давала тайга, безрыбней становилась распухшая, замершая в бестечье Ангара, все реже стучали топоры на новостройках. А потом и вовсе ахнула оземь взнятая ненадежно жизнь и покалечилась так, как никогда еще не бывало.

Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять отеплялась солнышком. Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно от нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто-мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец.

Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры.

1999

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО


асположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого — теснила расползшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего — асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повел Сеня Поздняков свою группу, как только объявили, что «Метеор», на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она — бывший врач. Но это еще по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта, и поговаривали, что закроют и фельдшерский.

Третья замараевская — молоденькая девчушка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.

Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Рас-

селись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный час.

Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли — и помочь старикам в их непрестанном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама приедет, пусть папа приедет — соскучились.

А что такое «соскучились» — понятно.

Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Федоровна прямо называла себя «савраской». Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, «везея». Гостила зимой внучка и оставила золотые сережки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые сережки какого-то фасонистого издела? Пришлось снаряжаться самой. А сын привез сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.

Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось еще не расспрошено. Впереди длинная дорога. И до дороги сидение в маете. Девчонка, Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет, не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.

Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддергивая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семилетним внуком. Сын жил по эту сторону Ангары

далеко, за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни выспрашивал Сеня, не признавались, в чем дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведенье надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймет. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же уставила их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выспросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, выспрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выглядит. «Как вот в деревню залетают такие имена?» — подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя еще больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во все вникнет.

По скверику неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили морщась от убитого и захламленного угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнаженной земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый звон и бряк, возбужденные голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверику, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.

Девчонка отошла от табора и стояла неподалеку. Отошел и инженер, рассматривая за решетчатой оградой машины.

Правдея Федоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были неукусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой черной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склонясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодрябшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки

пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.

Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы или что покупалось, шло в легкую укладку. Только инженер вез большой и плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. «Крыло для “жигуля”», — еще при встрече догадался Сеня, по привычке всем интересоваться, спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. «Все в порядке, — решил он. — Никакого торможения». Он все угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?

Замараевская фельдшерица, елозя на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землей и торчащим зеленым отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нем на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть заухаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.

— А и правда! — громко подтвердила Правдея Федоровна. — То-то я все смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьезная причина.

— А у меня вроде ниче, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.

— Где ты ее держишь? — Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сейчас причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.

— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.

Фельдшерица повторяла:

— У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки голые. Будто съезжать собрались. — Она

подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косолапого отростка. — Но уж этот-то, говорят, никакой заразе не поддастся.

Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший... А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..

И вдруг Сеню осенило: ведь все просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдеи Федоровны:

— У тебя в какой комнате цветы стоят?

— Во всех стоят.

— Где телевизор — стоят?

— Телевизорная у нас большая, на три окна.

— Ясно. — Теперь Сеня взялся за фельдшерицу: — А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?

— Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.

— Телевизор на них влияет?

— Откуда я знаю?

Сеня перешел к бабке Наталье:

— А у тебя, бабка, телевизор влияет?

— Нет, — опять виновато отвечала бабка Наталья. — Не виляет. Он у меня не вилятельный.

— Нету, что ли?

— Нету, Сеня. Одна доживаю.

Подошел, привлеченный страстным Сениным голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:

— Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. — Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. — Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придал значение, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня — о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приезжему кому покажешь — не верит.

— У нас сват тоже ростит, — сказала Правдея Федоровна.

— Не знаю уж, как твой сват теперь ростит, если меры не принял, — усомнился Сеня. — Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до «перестройки». А завозилась она — кто

мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои все хужей, все мельче. Уж не балдуины... так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмется — и обгнила. Только завяжется — отпала. А у меня книжка, я по книжке провожу уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом вожусь! — еще решительней отмел Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: — И только после, как выбросил я телевизор из дому!.. я по другой причине его выбросил... А почему по другой? — спохватился он. — Причина одна. Причина какая: что он преподносит. Я выбросил — такие номера он стал откидывать, что я... человек неконченый... возмутился!

— Возмутился! — слабо ахнула бабка Наталья.

— И выбросил! — продолжал Сеня. — Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! — оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла — еще лучше. И пошли, и пошли!

— Телевизор виноват? — насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него желтого листа.

Сеня задрал голову: откуда взялся желтый лист среди сплошной зелени? — внимательно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало... Август как-никак. И только после этого твердо ответил:

— Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу если рявкнет — тут твоей гераньке смертная казнь.

— Они музыку любят, — добавила Лена.

— Музыку любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост дает. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором — и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...

— Закон, значит, такой вывели? — посмеивался инженер.

— Закон! Вывел! — еще тверже отвечал Сеня.

Замараевские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня... наш Сеня любой спор выспорит, на любого ученого человека храбро пойдет.

Все чаще стали оглядываться на Ангару: не взбелеет ли «Метеор»? — и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку.

Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряженные для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадящего города, стояло почти над головой. Шел только десятый час.

Неподалеку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разлохмаченной косой; женщина, уже немолодая, видавшая виды, со встрепанным выражением на круглом нервном лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздергивала голову и морщилась.

Фельдшерица спрятала обратно в сумку отросточек, от которого Сеня и вывел закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обертке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было — та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерица — хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмет. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерица применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения — и со стыдом отступилась, сплюнула.

— Там стрелка должна быть, — подсказала Лена. — Указательная стрелка, куда тянуть.

Принялись всей компанией, передавая друг другу изжульканную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! — инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крякнув, будто от усилия, вспорол штукенцию.

— Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?

— Откуль я знаю? — Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. — Ну и че? — спрашивала она. — Че там?

— Сама же говоришь: функа. — Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения.

— Попробуй. — Она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приняла, лизнула с руки.

— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лутче знать, от чего помирать.

— И правда, — подтвердила Правдея Федоровна, со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. — Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.

— Написали бы, если опасное...

— Там че-то написано.

— Написано-то не по-русски.

— А не по-русски написано — русский человек не лезь, не разевай рот, — неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна. — Там, может, от тараканов написано.

Фельдшерица сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!

— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.

— Нет.

— Ну и слава Богу. От греха подале.

Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну, а что такое все же «функать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?

Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.

— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. — Бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня. Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть...

— Искомое насекомое, — отличился на этот раз инженер.

День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для «Метеора» время еще не вышло, но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.

— Пойду узнаю последние известия, — вызвалась Лена.

Последние известия были: еще на полчаса отсрочка.

Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжелой, и чувствовала она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно. Женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой «Метеора» и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.

Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня, сегодня!..» — как заклинание, повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.

Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый... Женщина уже различала его голос — горячащийся, нервный и наивный. Острый голос — заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.

— Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, — шел на очередной приступ горячий мужичонка, — у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?

— Было, — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть, переходя под тень, — что-то недолетевшее.

— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. — Это по уши ума. А едва не половина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли

в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?

— Мы не дураки...

— Мы не дураки, мы теперь умные, — быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. — Очень хорошо, — продолжал он. — Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача... Но почему?.. Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс — все делать с точностью до наоборот?

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на тебя глядеть.

«Умные, дураки... — полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят».

У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толокся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.

— Дать еще пряник? — спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет.

«Надо что-то делать», — опять забеспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взапятки сделал два шага и стоял с задранной головой.

— Эй! — окликнула его негромко женщина и еще раз, посильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошел. Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, вгляделась в Сеню, что-то решая, и сказала:

— Угости пивом.

Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покатившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина еще старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год.

— Пивом я и себя не угощаю, — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдержать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.

— Тогда водой угости. Жарко.

— Ангара рядом.

— Девочка любит сладенькую, — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас — манерно, настаивала женщина.

Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал ее. Он видел ее только вчера.

Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать «то, сам не зная что», как в присловье, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загоришься, возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид — приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты — стала работать тише. С

тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка... любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.

У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости — отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, что бы еще купить.

Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, — все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и «челноки», и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России невыгодно.

В «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрякивал, когда толкали и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.

Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности еще раз ощупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое — откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под вид матрасовок, баулы все двигались и двигались, их катили на тележках, несли

на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики — и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся машины изнутри, Сеня поразился ее адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрерывно громыхающему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.

Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподалеку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого, выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребятишек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загремела, ребятишки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынюхивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изображал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокамеру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под нее пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепадало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хватали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сеня тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.

Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после «Шанхая» суета здесь крутилась спокойно и люди шли своими ногами, могли разговаривать и понимать друг друга.

Тут-то и увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с «Шанхаем», но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки — все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щеки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием.

Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле нее приостанавливаются, подошел взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:

— Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.

На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.

Сеня тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после «Шанхая» потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?

Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил:

— У тебя мама есть?

Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.

— С кем же ты живешь?

— Одна.

Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила:

— Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете.

Он отошел. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то поверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку:

— Посмотри какая. Говорит, что одна живет.

— Я слышала про нее, — вспомнила Людмила. — Слышала, будто в коробках на базаре ночует. — Она всмотрелась в девочку. — Не похоже, чтобы в коробках. — И добавила: — Мы устали от грязной, оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую.

Сеня купил и пива для женщины, и для девочки подкрашенной воды в литровой пластмассовой бутылке, прогибающейся под рукой. Они отошли от коммерции в глубь пустыря, который все другие старались обходить. Сеня еще помнил по старым наездам в город, что здесь стояли деревянные дома с заросшими зеленью двориками. Дома снесли, освобождая место для какого-то большого строительства, но тут упало нестроительное время, и так все и осталось в горьком запустении. Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кирпичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ.

Сесть было некуда, да Сене и некогдилось с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор». Он сам открыл банку с пивом и вздрогнул от тугого фырка, с каким выбросился из банки газ. С бутылкой провозился больше, пробка прокручивалась, и пришлось ее по-дикарски свернуть на сторону. Девочка приняла бутылку обеими руками, сказав вчерашним голоском «спасибо», и опустила на землю, присела на корточки рядом. Женщина отпила из банки без той жадности, которую можно было от нее ожидать. Она продолжала присматриваться к Сене, а он не мог отвести глаз от девочки и заметил на этот раз, что

ангельское лицо, с таким вдохновением слепленное, пожалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы его освещала и теплила. Или она загасла уже при жизни; лицо казалось тусклым. И все же оно было красивым, очень красивым какой-то красотой иных краев. Одета она была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, в этом можно было не сомневаться.

— Купи девочку, — вдруг услышал Сеня.

Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие слова, и встретил прямой тяжелый взгляд припухших глаз.

— Очумела? С глотка пива повело? — только и нашелся он сказать.

— Я серьезно. Купи.

— А себя ты, конечно, давно продала? И не разбогатела?

— Себя... давно... — раздельно ответила она.

— Давай-ка отойдем, — сказал Сеня. Ему было стыдно говорить при девочке, и он отвел женщину шагов на тридцать. Девочка спокойно оглянулась на них и снова уставилась на Ангару, все так же сидя на корточках и держась обеими руками за бутылку.

— Ну и что? — приступил Сеня. — Что ты за штука? Ты что — высмотрела деревню и решила кино показать?

— Нет.

— Нет, говоришь? А почему ты взялась детишками торговать? Коммерцию, что ли, такую открыла?

Женщина отпила из банки и откинула ее в сторону; пиво забулькало, выливаясь.

— Ты меня лишним не ляпай, Сеня, — сказала она все так же тяжело, не задираясь. И не удержала взятого тона, вильнула: — Тебя Сеня зовут? Мальчик Сеня. А перед тобой девочка Люся. Ту девочку зовут Катя. Детишками я не торгую.

— А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить?

— Мне надо срочно уехать.

— Ты не мать ей?

— Нет, матери у нее нет. Ни отца, ни матери.

— А кто ты ей?

— Тетя Люся. Я не первая у нее тетя.

— Тебе надо срочно уехать... с девочкой и поезжай. Или она тебе не нужна?

— Вместе нам далеко не уехать, нас поймают, — оглядываясь, торопливей заговорила женщина. — И не на что ехать.

У нее была привычка: когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы.

Сеня точно на землю опустился: о чем они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку! Не куклу, не котенка купить, а живого человека! И он что же, выходит, торгуется с нею?! С этой женщиной, которую и знать не знает! Почему он с нею разговаривает, зачем?!

— Детей я не покупаю, у меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. — Ты что-то не то во мне высмотрела, тетя.

Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку.

— Так возьми, — мрачно сказала она.

— Ну дела-а! — восхитился Сеня. — То купи, то так возьми. Если дальше у нас туда же пойдет, ты мне еще и деньги большие дашь. — Он решил, что хватит играть втемную. — Она ведь, девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел ее...

— Где ты ее видел? — быстро спросила женщина.

— У торгового центра. С мешком денег.

Женщина кивнула с усмешкой:

— Все точно: там. И пас ее там вчера Ахмет. Из этих денег нам ни копейки не достается, все забирают. — Она встряхнулась всем телом, по-куриному. — Надо же: видел. Извини, Се-ня. — Она окликнула громко, уже не боясь: — Катя! Пошли! — И сказала для Сени: — Пошли в свою камеру, побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас.

Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила ее.

— Она не больная? — спросил Сеня, чувствуя, как заныло у него страдальчески сердце. — Вялая какая-то, замороженная.

Женщина еще и добавила:

— Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко ее, — без выражения сказала женщина и первой заметила: — Вон ваш пароход показался.

«Метеор» только выплывал из затона, сияя округленной и длинной, как у ракеты, белизной.

«Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза

и спрошу себя... И долго потом буду спрашивать, может, всю жизнь. Вот угораздило».

Они приближались к девочке. Она повернула к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет.

— Слушай! — Сеня решительно затормозил. — Поехали вместе, — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. — Приедем, ты жене, Гале, все расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привез и вывалил. Она поймет. И ты поживешь среди нормальных людей. Ну? Едем? Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедем. У нас надежней надежного.

Женщина, отказываясь, покачала головой.

— Се-е-еня! — в несколько голосов закричали из-за коммерции. — Где ты, Сеня? Па-е-хали!

Сеня встряхнул женщину за плечи:

— Если не врала ты, то дура. Быстро! Деньги у меня на дорогу есть.

— Сеня-а! — испуганно надрывалась бабка Наталья.

Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй, левой, рукой отерла лицо, показывая, что готова.

Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкаясь, задевая друг друга сумками и свертками, влезли на «Метеор». Бабка Наталья от волнения слабо постанывала и все хваталась за Сеню, Правдея Федоровна танком шла впереди. Замараевские инженер с фельдшерицей ушли раньше, но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним.

За вторым, средним салоном они поднялись на пять ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на пять ступенек за дверью спустились. Третий салон, в трюме, был и качества третьего, для простонародья, полутемный и прохладный, со скошенной вовне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращенной к родному берегу. Он пропустил бабку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Федоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, окликая друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественней. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной

дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. Все — отъехали. С опозданием почти на два часа, да дорога на семь часов. И с неожиданными, упавшими как снег на голову, гостями.

Сеня перегнулся сбоку за свое кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления, она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая: что же мы делаем? Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая: что сделано, то сделано. Лицо у нее пошло пятнами; Сеня принял это за жар от вчерашнего перегрева.

«Метеор» развернулся у самого моста, и Ангара подхватила его, понесла, затем он и сам поддал, разрезая воду, с шумом и плеском отваливая ее на стороны. Замелькали городские берега, сплошь застроенные, погребенные под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменились, пошли дачи с длинной вереницей лодок, темных и раскрашенных, и уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая. А потом и вовсе вырвались на волю.

Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила.

— Я сама, — решительно сказала она, не глядя на Сеню. — На это у меня есть.

Он вернулся на место, размышляя: было о чем подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда «Метеор» набегал на чужую волну, било о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хожденья нарастал, от вареной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в нее было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом; Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут и ты семь часов можешь не отдирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везешь ты сам.

Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене: все в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке:

— Вот твой билет.

— А твой? — спросила девочка.

— Мой у меня.

И завозилась в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обертке которой развевался парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Все это Сеня выложил перед девочкой, потрепал ее по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул.

— Давай-ка! — только и сказал он, чтобы не дырявить главный, предстоящий разговор торопливыми вопросами.

— Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. — Это кто такие?

— Старые знакомые, — отговорился он.

— Я пошто не знаю?

— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.

Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней.

«Нижней деревней» называли кладбище. Бабка просунула голову в проем между спинками кресел, подержала ее там.

— Бравенькая какая девочка! — похвалила она, возвращая голову на место. — Докуда едут-то?

— Докуда билет велит.

— Не к нам?

— Точно не знаю.

— Ну, хитри, хитри...

Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Федоровна. Сеня, поленившись, не освободил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Федоровна застряла, выдираясь, уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась, гостила у своих, у замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбужденная.

— У нас тетя умерла, — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех.

— Ну-у! — ахнула Правдея Федоровна. — Похоронили?

— Нет, завтра похороны.

— Гли-ка: как знала — к сроку-то едешь...

И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток скончалась, их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Федоровна вздыхала громко, мощно. Расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года два...

— И не увидишься, — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. — Переехала твоя Вера Брюханова.

— Куда переехала? Что ты буровишь?

Лена испуганно объяснила:

— Она же умерла! Еще зимой умерла!

— Вера умерла?! — выкрикнула Правдея Федоровна.

— Еще зимой. Кажется, в марте. По снегу.

Правдея Федоровна помолчала, приходя в себя.

— Что это за жизнь пошла?! — требовательно воззвала потом она. — Что за жизнь пошла! Вера померла — и за полгода слух по Ангаре за двадцать верст не сплыл. Это когда так бывало?! О, Господи!

— Сильно много народу помирать стало, — по-своему объяснила бабка Наталья.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостья, она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку; он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился.

Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведется у него в хозяйстве.

— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы поросенка от некуда девать молоком поим. Во-вторых, бычок, уже с рожками. Стоит-стоит — да ка-ак взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику. — Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением, лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та нераскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеребила. — В-тре-

тьих, боров на подросте... Но боров, он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы... Цыплята теперь подросли, ты опоздала, чтобы цыпляток кормить. Будешь кормить куриц, это будет за тобой. Курица — не такая глупая птица, как про нее говорят, за ней интересно наблюдать. Собака у нас одна, умная собака, Байкалом зовут, зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Еще есть овцы...

— Зачем так много? — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону.

— Чего много?

— Коровы, курицы, овцы... Зачем так много?

— Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живем. Деньги нам не дают, мы деньги другой раз по полгода не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели... Да ведь шерсть! Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок... Мы там как в пятнадцатом веке живем. Вот увидишь, как интересно.

«Метеор» подчаливал; Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолью.

— Хорошо идем, — сказал он вслух. — Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся.

И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие, начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На «море» она слабо встрепенулась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему уставив их перед собой. Да и верно — какое море? Название одно. Огромная лужа, которая за полтысячи километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. «Метеор» вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода.

Сеня взялся перебирать, что у них в огороде. Огород был большой, засевался он с умом — его, Сениным, умом велся севооборот и календарь посадок, но Сеня удержался от похвалы себе... Он перечислял грядку за грядкой и все чаще посматривал на дверь: женщина задерживалась. Взглядывала на дверь, он заметил, и девочка.

— Тебе никуда не надо? — спросил он.

Она помотала головой: не надо.

— Тогда посиди, я сейчас.

Он вышел на площадку, где толпились курящие, — женщины среди них не было. Медленно прошелся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому, быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза, она заметила в нем тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился к стенке рядом с грудастой бабой, держащей на руках веселого, пускающего пузыри ребенка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошел салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с темным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то... Сеня обрисовал ее. Выходила: проводница вспомнила ее сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства:

— Что случилось-то? Не там вышла?

— А куда у нее был билет?

— До Усолья.

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. Был дураком и остался дураком.

Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо:

— Слушай, сбежала от нас твоя тетя Люся.

Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданьем проситься обратно — нет, все осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платьишком. Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул: это были деньги.

— Это она дала? — быстрым шепотком спросил Сеня.

Девочка покачала головой: нет.

Так эта девочка, по имени Катя, оказалась в деревне у Сени с Галей, и, таким образом, Сене с Галей ничего не оставалось, как катькаться с этой девочкой.

Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред ее очи и она удивленно-вопросительно сказала «здра-авствуйте» и когда

Сеня продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать:

— Да как же это? Как же это, Господи!.. Как же это!..

Но потом пришли трезвые мысли, и Галя ежедневно окунала в них Сеню как слепого щенка в холодную воду.

— Дурак — он везде дурак. — Эти слова Сеня говорил себе и сам, они были справедливы. — От тебя за версту простотой несет. Какой простотой? А той, которая хуже воровства. — Галя подхватывала последнее слово. — Ведь ты украл ее — если разобраться! Укра-а-ал! — заглушала она слабые Сенины возражения. — Тебе воровка ее подкинула — значит, ворованное. Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск объявили... И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблескивал: «нет» говорил... — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее купил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну, что вот ты пыхтишь? Господи! — Она принималась плакать.

В другой раз Галя вспоминала:

— Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы жила — надо удочерение сделать. Через неделю в школу отдавать — где у нее метрики? Какая у нее фамилия? Кто был у ней отец — министр какой или убийца... девять душ сгубил.

— Пошто девять-то? — цеплялся Сеня.

— А сколько тебе их надо — девятнадцать?

— Но пошто девять, а не десять, не семь?

— Мы с тобой будем восемь и девять.

Сеня вскипал:

— Да, подбросили, да, дурак! Но я должен был, по-твоему, в Ангару ее спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?

Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тете Люсе, чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и все больше казалось ему, что не дурила она его,

когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить:

— Пусть будет как будет. Мы с добром к ребенку — почему мы должны бояться? Теперь государства без метрик, без паспорта живут... а уж люди!.. великое переселение народов. Миллионы скитаются, все теряют... имена тоже. А мы с тобой об одной девочке... кому она нужна, кроме нас?

Он сам удивлялся: о любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалось.

Катя поднималась поздно, спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая ее: ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней теперь изменился, они вставали, как обычно, до света, но перехватывали спозаранку только горячий чай, набираясь аппетита и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети. Усаживаясь за стол, прикрикивая для порядка, он говорил:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звездная, небо прямо полыхает, как в праздник. Выхожу и любуюсь — хорошо ночью любоваться на звездочки. Вдруг слышу: шу-шу, шу-шу. Кто-то шушукается. Я подумал сначала, что, может, звездочки с неба. А незначай к огороду ближе подхожу — слышней. Если б звездочки — надо взлететь хоть сколько, чтоб ближе к ним. Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.

— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день обирать, мы в эту пору ходом идем. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж желтенькие, как старички, к нам надо уважение иметь. И договариваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся

они без женского внимания, совершить коллективный побег. А сейчас, — Сеня смотрел на круглые настенные часы — половина десятого.

Катя слушала его внимательно и равнодушно, изредка поднимая глаза, пристально всматриваясь в Сеню и словно говоря: а ведь я уже старше, мне эти сказки рассказывать поздно. На все она смотрела со стылым вниманием. Подадут ей варенье — возьмет, намешает в чай и уставится в стакан, наблюдая, как синеет или краснеет чай. А выпить, если не подтолкнуть, забудет. Скажут что-нибудь принести — на полдороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом с кобелем, а подружились они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрет. Кобель тычет ее — она дергается безвольно, тряпично, как неживая. Ела она медленно и мало, молоко не пила совсем. На вопросы отвечала односложно, чаще кивая или отмахивая головой, слова произносила с усилием.

Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения ее становились быстрее. Но каждый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекатывала в руках, точно руки грея или его согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагалось еще полежать. Катя испугалась так, словно ее прошибло током, порывисто протянула большой желтый семенник Гале, быстро отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась ее успокаивать, говоря, что их, этих семенников, на гряде вылеживается на всю деревню, — и чем горячей успокаивала, тем отчаянней плакала девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке. Не в силах видеть это, Галя опустилась на землю и тоже стала захлебываться в рыданьях. Выскочил Сеня, глянул и скорей убежал, чтобы не залиться третьим ручьем.

Девочке дали обязанности, она должна была наливать курицам в корыто воды и под вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки пополам с комбикормом. Курицы, приседая на бегу, сбегались шумно, отпихивали молодых; петух, вскидываясь резким клекотом, принимался наводить порядок. Ему не подчинялись. Галя ворчала, что петухи, как и мужики, теперь не те, их перестали бояться. Катя особенно внимательно посмотрела после этих слов на Галю, словно и ей давая оценку, потом перевела пытливые глаза на Сеню. Петух и правда был в хозяина: неказистый и неяркий,

с гребешком, сваливающимся на сторону, и голос имел негромкий.

Второй обязанностью Кати было делать салат для обеда. Она шла в огород и набирала луку, петрушки, срывала три-четыре свежих огурца и долго выбирала среди только начинающих краснеть помидоров самые спелые. Лукового пера в салат клали много, и Галя научила девочку толочь его, не ударяя деревянной толкушкой, а вдавливая в мякоть и выжимая сок. Сеня нахваливал Катину работу, говоря, что он только теперь, на старости лет, попробовал настоящий салат. Но и Галя замечала, что девочка старается и хозяйка из нее выйдет хорошая.

На коров девочка смотрела с изумлением и опаской — будто раньше не видела. Обе коровы ступали важно и тяжело, ходили вместе и вместе же принимались трубно мычать, требуя корму или дойки. С изумлением же смотрела она на большое эмалированное ведро, по края с молоком, выставляемым вечером для прогонки через сепаратор. Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, а обезжиренный и посиневший отгон — в большую, и Катя с мучительным вниманием смотрела: как же это получается?

Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по очереди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю. Гавкал щенок, черный, с коротким хвостом, только-только начинающий разбираться, для чего он явился на белый свет. Сеня нес в ведре пойло для бычка, а Катя кусок хлеба. Бычок прежде кидался к Кате, она торопливо выбрасывала ему хлеб и пряталась за Сеню. Бычка звали Борькой, имя свое он знал и отзывался на него мычанием. Каждый раз повторялась одна и та же картина. Байкал давал Борьке наесться, затем прыгал к нему и застывал, заставляя и Борьку принимать защитную стойку, опустив голову и выставляя тупые рожки. Байкал начинал с лаем наскакивать — бычок еще ниже нагибал голову, сдавал взапятки и вдруг бросался на собаку. Она отскакивала, заливаясь восторженным лаем, а Борька шумно пыхтел, набираясь духу для нового приступа. У Кати раскрывался рот, нижняя губа оттопыривалась, и на лице появлялось что-то вроде забывшейся улыбки.

От телятника было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята. Катя ступала с выставленным вперед, как против зверя, складным ножичком и в первые дни только натыкалась на грибы, потом стала, увидев издали, вприпрыжку к ним подбегать. Наступил день, когда Сеня поднял первый рыжик. Он так обрадовался, наглаживая его и жадно шаря вокруг глазами, так нахваливал рыжики, что Катя, налюбовавшись красной шляпкой с нежно и ровно расписанными кругами, долго потом исподтишка смотрела на Сеню. И когда минут через десять она закричала и кинулась к Сене, а он кинулся навстречу — она остановилась, испуганная его испугом, и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею рыжиком, опять заплакала. Он схватил ее на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась.

Прошла неделя после приезда, пошла другая... Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина: они не знали, как надолго свалилась на них Катя, боялись думать об этом, каждый новый день втайне начиная с оборонной молитвы: Господи, пронеси!

— Ты помнишь свою маму? — выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос.

Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой — как всегда, когда она замыкалась. Но нет — чуть слышно она отвечала:

— Помню. Маленько.

— Как ты ее помнишь?

— Мы ехали, — помедлив, сжатым голосом отвечала она.

— Куда ехали? Откуда?

— Не знаю. — И добавляла неуверенно: — К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы.

— А папу не помнишь?

Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы.

В сумке, оставленной тетей Люсей в «Метеоре», находились два платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкий же ярко-желтый плащишко, трое колготок, кроссовки и вязаная

шапочка — все летнее, городское. Но этот набор опять-таки подтверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов — теплую куртку, сапоги, две шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец, но мукой смертной было чесать ее, прясть; пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги, поначалу так и решили: не трогать; но без них бы не поднять эту справу — половину истратили.

Стоял уже сентябрь, доспевали последние урожаи в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя, небо распахивалось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку; счет ведрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбившись. И копать ей нравилось; земля была мягкая, унавоженная, погода сухая, урожай хороший. «Поросята какие!» — нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые, выставляя их напоказ. «Поросенок какой!» — подхватывала Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же, в огороде, ходили курицы, для которых был снят наконец существовавший все лето запрет и думать забыть про огород, здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоедало лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал ее носом в бок. «Байкал, — отбивалась она, — не мешай». Он смотрел на нее внимательно, скосив голову, точно любуясь.

«Откопались в леготочку! — удивлялась Галя. — Ой, так боялась я копки и не заметила, как управились. А без тебя, — приобнимала она Катю, — мы бы сколько провозились... — А про себя добавляла: — Мы бы сколько нервов друг дружке извели!»

Катя загорела и вытянулась. Или уж казалось, что вытянулась, потому что привыкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живей она стала — точно. Но все еще странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью. Прыгает со скакалкой в ограде, что-то замеряет, расчерчивает куском кирпича и вдруг застынет, не успев присесть, лицо сделается обмершим, взгляд куда-то утянется. Не дай Бог окликнуть ее в эту минуту — испугается. Сеня не раз с болью наблюдал ее такую: стоит, а что стоит, что опять с нею, стоящей

пусто, и что слетело куда-то от неожиданного всполоха в памяти или душе — поди пойми. И всегда в таких случаях что-то острое, знобящее перекатывалось в его груди, пугая предчувствиями.

— Сеня! — тревожно говорила Галя перед сном; они теперь обычно засыпали под думы и разговоры о Кате. — Мы с ней попростому, а она как стеклянная. Не разбить бы.

Для деревни было сказано, что она внучатая Сенина племянница, родственников его никто не знал. Для деревни было сказано, а говорить Кате, за кого они ее пригревают, не решались. А она бы и не поняла ничего. Сколько катало ее по недобрым людям — не узнать, но пришлась эта злая доля на самые чувствительные годы, и теперь сердчишко ее, должно быть, ломается от тепла, как лед по весне... «А уж осень, осень...» — боялся додумать Сеня.

С лета он собирался в тайгу за орехом, который тоже нынче уродился, но не пошел. Показалось ненужным. Никуда из деревни уходить не хотелось, а Гале он объяснял, что это от старости. Засыпая, думал: «Скорей бы новый день, чтобы видеть вокруг себя далеко». Стены сжимали его, воздух казался отжатым. Просыпался он быстро, с радостью и сразу вскакивал на ноги, первым шел ставить чайник. За завтраком, когда сидели все вместе, продолжал свои фантазии:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь зве-ездная, ядреная. И слышу опять: шу-шу, шу-шу...

Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?

— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомек: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бежать. Бежать от лютой погибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезали, оставили в земле для сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем.

Катя, склонившись, прячась за стаканом с чаем, хитренько поглядывает на Галю, понимая, что сказка эта больше сказывается для нее, для Гали.

— Уберем сегодня, — ворчит Галя. — Не можешь по-человечески-то сказать?

— А ты что — по-морковному услыхала?

Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось не за ней.

— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, по-каковски ты хрюкать будешь.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!

К ней стала приходить подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя тихая, молчаливая, скидывающая обувку сразу же, как только выходила она из дому, и где попало эту обувку забывающая. Звали девочку Аришей, Сеня называл ее Ариной Родионовной.

— Ну что, Арина Родионовна, — встречал он ее, босоногую, — где сегодня сапоги оставила?

Сапоги могли аккуратно стоять вместе посреди дороги, могли быть в разлуке — один у своего дома, второй у чужого, а могли оттягивать спрятанные за спину руки. Аришу расшевелить было трудно, да Катя и не умела, ее самое надо было расшевеливать, но, как старшая, она понимала, что игру должна предлагать она, и принималась прыгать через скакалку, подавала затем скакалку Арише — та брала и продолжала сидеть на широкой лавке возле крыльца, уставив свое тоже белесое, с низкой челкой, с мокротой под носом лицо на Катю. Игра Аришу не занимала, она приходила полюбоваться на девочку из какого-то другого мира — чистенькую, аккуратную, необыкновенно красивую. Все уже знали, что у Поздняковых живет красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Поздняковых за собой калитку и била о нее висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, че я тебе принесла... — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки стряпала... — И высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренделей-баранок, еще теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — приходи, вместе чаю попьем.

В другой раз решительно тянула Катю к себе. Та возвращалась с маленьким, будто бы игрушечным, но изготовленным по полной форме самоваром — с осадистыми ножками, с решетча-

тым низом, с раскинутыми по бокам фасонисто ручками и проворачивающимся в гнезде краником, даже с короткой, загнутой в колене трубой.

— Вот, — удивленно и таинственно объясняла Катя. — Это было в деревушном чабадане.

— Где?

— В деревушном чабадане. Это такой деревянный ящик, наверное, старинный чемодан.

И замирала с улыбкой, продолжая любоваться самоваром.

— Бравенький? — с хитрецой спрашивала она.

— Бравенький, — соглашалась Галя. — Только дочистить надо.

И еще миновали неделя и вторая, а всего после приезда и месяц отошел. Началось ненастье с холодными дождями и длинными заунывными порывами северного ветра, который, казалось, испускал от затяжной натяги весь дух, затихал и, набрав его в какую-то могучую грудь, снова принимался дуть мощным выдохом. С лесов сбило последнюю листву, и они стояли черно и зябко; опущенное хвойное покрывало сосняков и ельников тоже смотрелось в мокроте безрадостно. По воде (море называли просто водой) ходили волны, взблескивая загибающимися остриями белых барашков, вся земля гудела и стонала. Сеня влез в новые сапоги, привезенные из города, и, только натянув их на ноги, вспомнил, как они покупались и как он впервые увидел Катю. Вспомнил и долго сидел, тупо глядя на сапоги, размышляя, не лучше ли было их до весны не трогать.

Он принялся учить Катю азбуке, она, хорошо считая, не знала ни одной буквы. Катя послушно повторяла слоги, складывая их в слова, вскидывала глаза в удивлении от чуда получающихся слов, но занималась она без охоты. Быстро вскакивала из-за стола, едва Сеня объявлял конец уроку, и подходила к окну, глядевшему в улицу, подолгу смотрела на расставленные до горы тремя улицами избы, на побитый за деревней лес, на стоящих неподвижно под дождем коров, беспрестанно жующих жвачку, на пробегающую торопливо собаку и на редких прохожих, тоже торопящихся, высоко поднимающих ноги. А Сеня стоял в дверях прихожей и со стылым сердцем смотрел на нее, замершую у окна: что она там видит? о чем думает? куда отлетают ее желания? И с кем она — с ними или с кем-то другим?

Он пытался узнать о ней побольше:

— Ты помнишь, где вы жили в городе?

Она вся натягивалась, лицо становилось напряженным, чужим, менялись, тяжелея, глаза.

— В деревянном доме, — натягивая слова, выговаривала она. — На втором этаже.

— Ты с тетей Люсей жила?

— Тетя Люся потом пришла.

— А кто жил на первом этаже?

Девочка смотрела на Сеню и медлила.

— Ахмет... — с трудом произносила она. — Олег... Там много было. Приезжали и уезжали.

— А кто такой Ахмет?

— Он стрелял в тетю Люсю...

— Как стрелял, почему?

И снова молчание, потом тихо:

— Он стрелял, чтоб не попасть. Сказал: в другой раз прямо в сердце.

— А почему стрелял, не знаешь?

— Не знаю.

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело. «Пусть обживется, привыкнет к нам, перестанет чего-то бояться... и уж тогда... не сейчас...» — думал Сеня, прекращая такие разговоры. Да и так ли уж важно было разведать, что скрывалось за тем днем, когда девочка оказалась с ним рядом? Что это даст? Когда-то он шлепнулся в Заморы как кусок дерьма — его приняли, не спрашивая характеристику, отдали ему единственную дочь. Это зло выясняет подробности, добру они ни к чему.

Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело еще шире. Когда Катя смотрела, как идет к ней через дорогу Ариша, уже не смеющая сбрасывать сапоги, чудилось, что идет она долго-долго. Они вместе принимались ставить самовар под навесом справа от летней кухни: большую, пузатую чурку застилали клеенкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья, устанавливали самовар на «стол», заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе,

рано». — «Скипел?» — «Скипел». Начиналось чаепитие. «Мой-то, — сложив сердечком губы и дуя в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опеть вечор холосый пришел». — «Батюшки! — взахивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую стельку?» — не понимала Катя. «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала: «Ты ему все сказала?» — «Все сказала». — «Как ты сказала?» — «Остылел ты мне, сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом Сеня. — Заслушаешься!

Все нетерпеливей, все поспешней хотел жить Сеня: сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам беспомощность, боязнь быть застигнутым врасплох и голым — войдет кто-нибудь, а он в трусах, босиком, и ничего под руками, ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдется для защиты; теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметет так, что ни пройти ни проехать и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту, развез на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стайки для коров, первым в деревне привез с елани застогованное сено... Галя смотрела на него с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперед времени бежит. Но, как вперекор Сене, воротилось тепло, к обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи, на кустах смородины за летней кухней набухли почки, солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо.

Сеня считал: «Метеору» оставалось сделать пять ходок, четыре, три...

При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили, и лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо била кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорей электричество, и, когда зажигали фитиль и втыкали в решетчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль, по лицу ее ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка», — улыбался Сеня. И просветлел вдруг сам: да кто сказал ему, что у нее недвижное, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа. По-

любилась лампа Кате — привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашептывающей, представляющей волшебное... И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и сияло и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:

— Вырубай электричество! Запаляй керосин!

— Запаляй керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс.

С утра Сеня дал себе на день задание: вытащить, во-первых, лодку и поставить ее под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывет, но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась, в ней зимовали курицы. И еще одно: давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки, и по их заказу коммерсант вчера муку привез.

Не все быть лету; день всходил хмурым, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока слабый, но колючий северный ветерок. Вторым, семейным, завтраком сидели, как всегда, поздно, и Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом; сегодня в нем было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невеселая, придавленная переломной погодой и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал: она торопит его, но не хотелось подниматься — и все. Переговаривались с Катей тоже вяло, Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему сваливать дела: сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься.

И в это время залаял кобель — зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть, одновременно из кухни вышла Галя и встала — прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрывался за оградой — Сеня открыл калитку и выглянул: перед домом, на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой на голой голове.

— Ты Семен Поздняков? — спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но еще не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи.

— Я Семен Поздняков, — сказал Сеня. — А ты кто такой будешь?

— Убери собаку! — негромко повелел мужик.

Сеня прикрикнул на Байкала; тот, отойдя, продолжал рычать.

— Теперь приглашай в гости, — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик.

— А чего раскомандовался-то? — разозлился Сеня. — Пришел в гости — веди себя как гость. Я тебе сказал, кто я, говори теперь ты.

— Я дядя той девочки, которая живет у тебя, — с усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. — Родной дядя. Понятно?

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришел. Он и догадался почти, его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и все-таки продолжал хвататься за соломинку: не то, не то, это не может быть то... Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил.

— Подожди меня там! — крикнул мужик своему товарищу и прошел в калитку. Галя стояла все так же — прямо и неподвижно. — Где она? — спросил он теперь уже у Гали.

Сеня начинал приходить в себя.

— А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? — спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору — где что лежит...

Мужик усмехнулся откровенней, показав ровные белые зубы. Он держал себя все уверенней.

— А как бы ты это не отдал ворованное? — наигранно вздохнул он. — У нас это не полагается.

— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! И там посмотрим, кто украл! Дя-дя... А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — чего ты смельчил?!

— Можно и в суд, — лениво согласился приезжий. — Да долго... Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. — И коротко добавил: — Давай без жертв.

— Ты меня не пуга-ай!..

Сеня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, и вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла — перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся, девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало, нижняя губка, дергающаяся лопаточкой вперед, прилипла к верхней, глаза затухли. Она медленно свела руки и сцепила их под животом.

— Ты знаешь меня? — подождав, позволив девочке опомниться от первого, непредсказуемого испуга, спросил приезжий.

Она долго смотрела на него, словно решая, узнавать или не узнавать, вздрогнула, когда кобель, наскочив с улицы на заплот и свесив лапы, зарычал... Узнала. Кивнула.

— Никуда ты, Катя, не поедешь! — ослабшим голосом крикнул Сеня. — Ты наша. Скажи ему, что ты наша.

— Скажи ему, что ты знаешь меня, — со спокойной угрозой отвечал приезжий. — Я фокусов не люблю. — Усаживаясь на скамейку возле крыльца, показывая, что препирательства бесполезны, он похвалил девочку: — Ты всегда у нас была умница-разумница. Собирайся.

— Никуда она не поедет!

— Сеня! — остерегающе крикнула Галя.

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

— Как же бы я не поехала? — тихим голоском, стоившим многих разъяснений, сказала она. — Что вы!

И развернулась собираться.

Минут через пятнадцать они уходили. Катя собрала что-то в ту же сумку, с которой приехала и которую сразу же забрал у нее мужик. Галя, так и не отмершая, ткнулась в девочку головой и отступила. Сеня пошел проводить. За калиткой Байкал опять стал набрасываться на чужого, Катя приласкала его и успокоила. Со скамейки от дома бабки Натальи поднялся второй мужик, прихрамывая, присоединился к ним и насмешливо окликнул Катю:

— Здорово, красавица!

Она не обернулась к нему.

Катя с Сеней шли впереди, приезжие сразу за ними. Сеня не спрашивал, куда идти, — вот-вот «Метеор», последний в этом году. Ветер наддавал сильней, подталкивая в спины, по небу быстро несло растерзанные, разлохмаченные облака, доносило приближающимся холодом. Катя догадалась одеться в теплые сапоги и куртку.

— А деньги-то? — вспомнил Сеня. — Твои деньги остались!..

Девочка сунула свою ручонку в Сенину руку и слабенько сжала: не надо.

— Не забудешь, где мы живем? — шепотом спросил он.

— Мы тоже не забудем, — предупредили сзади.

Девочка оглянулась на них и сказала, не таясь:

— Они били ее.

— Кого?

— Тетю Люсю.

Она додумала, как до нее добрались: разыскали своим розыском тетю Люсю, пытали, пока не сказала...

— Я всегда говорил, что ты у нас умница-разумница, — согласились позади.

Подскочил на волне «Метеор», его било о стенку причала и откачивало; отъезжающим приходилось прыгать, они толпились в страхе и кричали. Девочку стремительно оторвали от Сени, не дав попрощаться, он увидел ее взблеснувшую белую головенку уже в пасти теплохода, девочка, заворачивая, тянула ее, взмахивала руками, но — тут же закрыло ее прыгающими фигурами, и отчаянные крики прыгающих заглушили все.

Сеня не помнил, как он воротился домой.

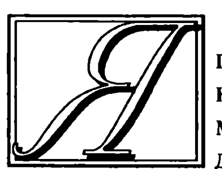
У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно все еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!

Порывы ветра становились все сильней и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! Сеня!»

1997

В НЕПОГОДУ



приехал в санаторий в конце марта. Снег уже почти вытаял, оставаясь грязными и сморщенными лафтаками только в низких и затененных местах, да кругами лежал он под могучими кедрами, сквозь которые мартовскому солнцу еще не пробиться. Поселили меня в «заячий домик», названный так, должно быть, по памяти о детской сказке, в которой у лисы был ледяной домик, а у зайца лубяной, пришла весна, лисья ледяная избушка и растаяла... А заячья, самая маленькая в санатории, стоит уже более сорока лет и ничего ей не делается. Предназначалась она, как говорит юное сорокалетнее предание, для охранников американского президента Эйзенхауэра, собиравшегося в ту пору посетить Байкал. Но посещение не состоялось: за полгода до поездки Эйзенхауэра американцы неосторожно заслали в глубины России самолет-разведчик У-2. Над Уралом он был сбит, и разразился скандал. А приготовленная для американского президента резиденция дала основание санаторию. Стоит он на солнцепричечном взгорке как раз над истоком Ангары — картина волшебная и могучая, из тех редкостных и неизъяснимых, перед которыми немеет наш язык, со смятением и растерянностью называя их неземными. И вот ее-то я и имею счастье наблюдать хоть полными днями из окон сквозь негустой строй сосен и кедров.

Избушка только снаружи кажется маленькой, а внутри она ничего себе: три уютных и светлых комнатки, кухня, туалет с ванной за общей дверью и десять окон на все четыре стороны. По утрам мне доставляет удовольствие открывать на них шторы, и это занятие занимает у меня никак не меньше десяти — пятнадцати минут: встанешь перед западной стороной, где из-под белого ледяного поля выливается в широкую горловину меж берегов торжественная новороженица Ангара, и не можешь от-

вести глаз. Тут главное, ни с чем больше не сравнимое целение в этом санатории, тут столь полное и счастливое обезболивание от ран жизни, до которого чувства наши не достают.

А по вечерам я взял за правило подниматься на пик Черского, на самую большую высоту в прибрежных горах, названную именем польского ссыльного, исследователя Байкала. Тут сама природа устроила смотровую площадку, а человек благоустроил ее, соорудив беседку со скамьями и проведя к ней асфальтовую дорогу. Дорога, как и полагается при санаториях, еще недавно поделена была на три маршрута — для слабоногих, средне и ступающих бодрым шагом. Теперь маршруты переименовали в терренкуры — первый, второй и третий, о чем и повествует уже вытаявшая надпись белой краской на асфальте в начале пути сразу же за столовой. Словом, те же самые два с половиной километра до пика Черского проходишь теперь не в три маршрутных приема, а в три терренкурных приема. Ну, терренкур так терренкур — какая разница, как это называется, когда с пыхтением лезешь в гору! Но уж влез, встал под ветрами и облаками между небом и землей, окинул взглядом широко и безбрежно открывшееся чудо, задохнулся и воспарил от этого видения на крыльях чувственного восторга — этому названия нет!

Дорога на пик еще грязная и мокрая, ручьи по обочинам асфальта сбегают бесшумными и аккуратными полукружьями, настолько правильными, ровно отмеренными скобочками, что невозможно понять, что их «фигурит»; редкий от старых вырубок лес стоит недвижно и томно, в полуобмороке, в полудреме от тепла; воздух влажный и смолисто пряный. Дорога вьется зигзагами, идет серпантином, огибая крутизну под удобным углом, жмется к обрыву, где над ложем убегающей Ангары выгибается вправо простор. Я уже спускаюсь обратно, когда в который уже раз встречается мне кипящий, как самовар, мужик с пыхающим медным лицом, в куртке нараспашку, из-под которой валит пар, с открытой, до окалины перегретой, лысой головой. Из-под мокрых казачьих усов он выкрикивает:

— Отметился?

— Отметился, — соглашаюсь я.

— А я сегодня второй раз отмечаюсь, — не останавливаясь, докладывает он и командует себе: — Вперед, некогда разговаривать!

Накануне резкой перемены погоды было особенно хорошо, особенно волшебно. Когда, перепрыгивая с камня на

камень, поднялся я на пятачок смотровой площадки, солнце над Ангарой уже садилось и огромный, растянутый на все четыре стороны мир замер в последней и таинственной неге перед закатом. Тишина стояла полная и необъяснимая: внизу жили люди, извивался вдоль берега оживленный машинный тракт — и ни звука; теплоход, старый и изможденный трудяга под названием «Бабушкин», отчаливший от зимней пристани возле Лимнологического музея, сползал на большую и темную воду бесшумно, не поднимая волны. Лед нынче по теплой зиме отжался от Ангары дальше обычного, и белое его поле было разрисовано лапчатыми узорами от подтаявших снежных наносов. Вода выливалась из-подо льда широким и спокойным потоком, чуть горбящимся и чуть покачивающимся с боку на бок, и долго магнетически вела за собой взгляд. Далеко влево за обширным ледовым полотнищем горы со снежными гривами по распадкам лежали в прозрачной завеси парной дымки Саяны. Мысы на той стороне Байкала, где Кругобайкальская дорога, вдвигались в море черными чудовищами, запустившими под лед рога, чтобы взломать его и отодвинуть восвояси. Ангара по левому берегу, закрытому от закатного солнца горами, уже лежала в глубокой тени, а низкий правый берег, неровный и зазубренный, искристо взблескивал под солнцем ожерельем ледового припая. Она, Ангара, видна была недалеко, до первого и близкого поворота вправо, и только здесь она еще и оставалась Ангарой в своей дивной красе и своих родных берегах. А уже через пятнадцать — двадцать километров и не полюбуешься ею: распухнет, завязнет в водохранилище, сначала в одном, затем в другом, третьем — и так до самого конца. Шаман-камень, хорошо видимый мне сейчас сверху, мерцающей темной лысой макушкой, легендарный Шаман-камень, которым пытался остановить Байкал свою своенравную дочь Ангару, когда она без родительского благословения бросилась бежать от него к Енисею, — не от этой ли судьбы Шаман-камень, легший поперек ее русла, пытался преградить беглянке путь?!

Пока размышлял я и печалился о судьбе Ангары, по-матерински вспоившей и вскормившей меня в детстве в полутысяче километров отсюда, напитавшей мою душу вечной любовью и благодарностью к ней, украсившей ее красками и линиями своей красоты, наговорившей сказки, которые продолжают звучать во мне еще и теперь, научившей язык мой словам, которые и склонили потом меня к моей профессии, наплескавшей в меня со-

страдательные слезы, — пока я стремительной птицей пролетал над Ангарой до детства моего и вернулся, туда пролетел над тою, что была в моем детстве, а вернулся над теперешней, — солнце за эти минуты присело еще ниже над гористым горизонтом и в четких контурах смотрелось чистой сияющей чашей, испитой до дна. Ледяное поле Байкала лежало в позолоте, возле правого берега, где Толстый мыс вдвигался в Байкал, позолота была гуще, сочней, а влево перед Саянами широко разливалась тонкой и нежной пленкой, чуть подкрашивающей, чуть обласкивающей холодную пустынность. Я отвел глаза от Байкала только на мгновение, чтобы оглянуться на темнеющую, мирно бурлящую в прибрежных камнях Ангару, заваливающуюся вправо, и за это мгновение вал низкого солнца успел надвинуться на дальний противоположный берег и стал подниматься в горы. Весь недвижный Байкал алел ровно разлитой стекленеющей краской, на востоке, где разворачивался он, чтобы устремиться на север, до самых вершин озарились и горы, снег на них заискрился и засиял, сияние это, расширяясь, надвигаясь на южную оконечность гор, поползло вправо мерным выдохом последнего красного света.

Было чему удивляться: понизу, по льду, полог света шел справа налево, там поднимался в горы, разворачивался и плыл в обратную сторону, к Толстому мысу. Да, всю свою золотистую ткань, всю свою горячую, а затем и теплую щедрость снизало солнце в эту огромную волшебную чашу, в это неиссякаемое лоно, рождающее Ангару, и теперь, опустошенное, меднистое, отгоревшее, садилось на краю горизонта на невесть откуда взявшееся небольшое облако, похожее на белого оленя в прыжке с подогнутыми ногами и разлохмаченным хвостом.

Тишь загустела еще больше и сделалась совсем неправдоподобной. Ни звука, ни ветерка, ни вздоха или скрипа в просыпающемся от спячки весеннем лесу. Голый, глухой лес, застывший в спадающей вниз высокой волне, лежал в оцепенении, петлистая дорога с рыхлыми боковинами снега была пуста, ни людская, ни лесная жизнь никак не давали о себе знать. После мягкого дня к вечеру нисколько не посвежело, а как бы еще больше погрузилось в вышедшее из берегов полотеплие. И по этому общему оцепенению, по сладкой и тревожной истоме, охватившей мир, по опустошенному солнцу с четко отпечатанным ободом круга, по многим другим приметам можно, наверное, было догадаться, что все это неспроста и что всякое волшебство, перешедшее

через край, таит в себе предостережение. Но и неспособны мы теперь к этому, и не хотелось отзываться ни на какие предостережения — так было хорошо и благостно, такой на сердце лег покой!

С того места, где я стоял, солнце уже опустилось за темную горбушку мыса, а облако, только что напоминавшее оленя в стремительном прыжке, точно скинув с себя оседлавшее его солнце и изуродовавшись от ожога, ничего поэтического из себя, кроме скомканной белой шкуры, больше не представляло. А на противоположной, на утренней стороне небосклона, над горами в розовом снегу, вдруг выплыли белой стайкой кружевные облачные фигурки, одна занятней и диковинней другой, красивые и веселые в своей маскарадной неузнаваемости, и поспешили вдоль горизонта вправо, как оказалось, под прямоток западающего солнца. Легкая и широкая, во всю правую боковину Байкала, заскользила по льду тень, медленно разматываясь и пригашая его золотистое свечение. Перед горами тень испарилась, горы по-прежнему лежали в солнечном свете, густом, настоенном, влипшим в могучие каменные изваяния. Стайка облаков, не рассыпаясь, заняла свое место чуть поперед гор и в минуту запылала таким пурпурным восторгом, такой гранатовой сочностью, что и лед под этим фантастическим новым светилом опять заалел, и кругобайкальский берег выступил всеми своими складчатыми ярусами. И чем глубже закатывалось солнце, чем плотнее ложились сумерки на Ангару, тем ярче и волшебней окрылялось огненными волшебными жар-птицами небо над Байкалом и тем смелей и вдохновенней продолжал накладывать краски невидимый художник.

Я еще долго стоял на каменистом выступе скалы, приближенный, казалось, к тайным и могучим силам неба. И долго-долго теплились, не затухая, горы, овал самой дальней из них, высящейся за поворотом, мерцал негасимой оплывшей свечой; облака самородными зорьками висели над Байкалом; на льду трепетали всполохи. И все так же было тепло, бархатный воздух ласкал лицо и с души не сходил восторг.

Ночью меня разбудил грохот: распахнуло окно в большой комнате, глядящей на Ангару, сбросило с подоконника тяжелую каменную пепельницу, для которой я, некурящий, не мог подыскать более подходящего места, и в избушку мою ворвалось уличное буйство. Там гудело, шумело, бухало, плескалось и

билось безостановочно. Сосны и кедры перед окнами, выламываясь, ходили ходуном, всплескивали в отчаянии ветками и стонами от ураганного северного ветра. Порывы его были долгими и тяжелыми и налетали подхватывающимися и нарастающими волнами. Я втолкнул двойные рамы окна на место, удивляясь тому, как уцелели стекла, закрепил их шпингалетами и уже через стекло заметил, что темноту из ночи выбило проносящимся за окном снегом, и там, как на дне глубокого и мощного течения, колышется водянистый полумрак. Я постоял перед ним, перед валом проносящегося снега, проверил, хорошо ли закреплены рамы на остальных девяти окнах моего «заячьего домика», и, надвинув на голову подушку, снова уснул.

Утром было белым-бело и шумным-шумно. Ветер неистово трепал деревья и завывал с устрашающим гудом, заставляющим прислушиваться к нему и цепенеть. Из-под снега торчали обломанные ветки, выдранная с корнем сосна перед окнами на Ангару повисла на соседней и ездила-пилила по ней, сдирая кору и оседая все ниже и ниже. Ангарскую воду ветер волнами гнал обратно в Байкал, наплескивая ее на лед. С немалым трудом оттиснул я дверь в улицу, крылечко было завалено суметом, на месте дорожки лежал высокий гребнистый вал снега. Перед крыльцом его намело в гору, преодолеть которую не представлялось возможным. От скамейки справа торчал только край гнутой спинки, левую скамейку не видно было совсем. Мне ничего не оставалось, как по-заячьи сигануть на скамейку справа, пройтись по ней, оставляя на пушистом сиденье глубокие следы, а затем ухнуть в снег и по обочине угадываемой дорожки выбредать на большую, на машинную дорогу, также бесследно покрытую тяжким белым саваном. Подходы к главному корпусу, где столовая и лечебные кабинеты, должно быть, с рассветом пытались расчищать, сугробы лежали здесь с волнистыми разводьями, но к этому часу всякие попытки бороться со снегом были оставлены, и он, ложась, неистово вихрил победную карусель. Несколько казавшихся неуклюжими фигур, согбенно крались к входным дверям с выхлестанным стеклом. Но если бы даже это стекло было невредимо, оно несдобровало бы, пропуская меня, когда под хлестким ударом ветра я не удержал дверь, и она бухнула, сотрясая четырехэтажное каменное здание. А внутри как ни в чем не бывало из раздевалки дурноматом гремела музыка и маленькая остролицая гардеробщица, закатив глаза, стояла возле столика в углу с приплясывающей головой.

В коридоре первого этажа сидели возле стен перед процедурными кабинетами реденьким строем, переговаривались, придавленные непогодой, мало и вполголоса, прислушивались к доносящемуся и сюда завыванию пурги... А медсестры, врачи опаздывали, добираясь из своих поселков, как в тундре, по бездорожью и сногсшибательным ударам ветробоя. Вбегали, одетые по-зимнему, в налипшем снегу, действовали своим энергичным появлением на присмиревших ожидающих своей порции здоровья ободряюще и через пять минут, успев переодеться, принимались за дело. Белые халаты смотрелись на них в это утро с каким-то особенным утешением — как чистота и непоколебимость мира.

Тем же макаром, ступая в свои следы, еще не успевшие исчезнуть, и по-заячьи сигая по скамейке, пробрался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихла отдавил от входной двери снег и юркнул внутрь. В домике моем было куда как прохладно, это чувствовалось даже после штормящей улицы. Телефон не работал; когда я поднимал трубку, в ней сифонили лишь голоса непогоды, а они и без телефона проникали сквозь стены; радио умолкло, к моей тайной радости, ибо в надежде отыскать в его необъятном эфирном пространстве что-нибудь приличное, я время от времени терзал его, накручивая колесико, но там всюду прочно воцарились новые вкусы и нравы. Электричество чудом держалось. Я подтащил ребристую панель электрообогревателя к столу, зажег настольную лампу и протянул ноги к потрескивающему, набирающему силу, теплу. Пусть там, за окнами, творится что угодно, а в моей власти, которую я занесу на бумагу, создать счастливый мир, сродни вчерашнему, вечернему, осиянному солнцем и покоем. У нашего брата лучшие картины получаются не с натуры, а с помощью воспоминаний и представлений, которые еще живее, сочнее и четче становятся в предположениях, недоступных глазу. Как хорошо лето писать зимой, тоскуя по лету, ощутительно и зримо отдаваясь ему всем своим существом, умея восполнить все, что не удалось при встрече. Для нашего пера воображение, дополняющее воспоминание, есть такой же перочинный инструмент, как для простого грифельного карандаша перочинный нож. И чем неистовей, чем злей кутерьма за окном, тем отрадней и теплей должны являться вожделенные картины.

Стол мой стоял между двумя просторными, чуть не до потолка, окнами, и в них еще злей, чем утром, трепало деревья и

видна была кипящая, поднятая на дыбы Ангара. Снег тащило не переставая; казалось, что, завихряя, закручивая, его поднимает вверх и набрасывает на небо, уже заваленное тусклыми сугробами, а уже оттуда снег опять сваливается вниз. Я попробовал закрыться от этой действительности шторами, но тогда изнуряющее голошение пурги становилось еще тяжелей и в груди холодком занывала тревога. А распахивал шторы — по комнате принимался погуливать ветер. И за стенами он принимался наддавать так, что бедная моя избушка только кряхтела, из последней, казалось, мочи выдерживая шквал за шквалом.

Так продолжалось весь день, так продолжалось и на следующий. Все то же надрывающее душу стенание, все та же бесконечная трепка деревьев и бешеные удары в стену, от которых звенела посуда в шкафу, все та же мглистая иссеченность белого света. Но на второй день люди, придя в себя, стали приспосабливаться к жизни в штормовой обстановке, как приспосабливаются они к жизни среди войны: на тракте появилась снегоочистительная техника и засновали машины, ушел утром по расписанию в город и автобус из санатория, отдыхающие охали меньше и в поисках развлечений подходили к стенду с объявлениями возле столовой и замечали танцевальную афишу. Да и снег к обеду второго дня прекратился, поверилось, что и сломный ветер мало-помалу утихомиривается. Потеплело, и с крыши моего домика принялась налаживаться капель. Я веселей впрыгивал, как на спасительный мостик, на скамейку, по которой проложена была тропа, а затем выбрасывался с нее на скат снежной горы. Однажды на горизонте перед этой горой появился парень с совковой лопатой, постоял-постоял в задумчивости и, разглядев по следам, что постоялец «заячьего домика» жив и имеет сношения с внешним миром, отбыл себе восвояси.

Я решился эти сношения раздвинуть и после обеда через проходную с турникетом вышел за границу санатория и стал спускаться к чернеющей внизу Ангаре. В три часа пополудни зависли сумерки, хотя день весеннего равноденствия уже миновал и границы тьмы и света сравнялись. Неба над головой не было, не было у Байкала и противоположного горного берега, там и там близко стояла мутная непроницаемость. Только по левому плечу Ангары, где портовый поселок, что-то как бы блазнилось, то ли есть, то ли нету, неверным слюдянистым мерцанием. И только Толстый мыс влево от поселка выступал из белесой тьмы кругом тьмы черной, висящей в воздухе. Ангарскую волну,

взбивая ее острые гребни в белые пенистые барашки, по-прежнему гнало в Байкал, а байкальская ледовая равнина зыбилась, текла — то ли ветер ворошил там снег, то ли далеко заплескивало воду. Пока шел я под защитой бетонной санаторской ограды, завывало, казалось, где-то в стороне, но едва лишь на спуске с горы выбрался я на простор, под шквальный разгонистый бой и во всю грудь подставил себя под удар, я его незамедлительно и получил, точно врастяжку тугим жгутом, развернуло и с твердого полотна дороги бросило в сугроб. Утонув задницей в снегу и оказавшись в каком-то очень удобном положении, я не торопился подниматься, как всякий поверженный, получивший хороший урок. Вот и «затихает мало-помалу»... ничего он, как с цепи сорвавшийся и донельзя обозленный, не затихает, а только взял он, «бурлак» (так называли у нас, в низовьях Ангары, северный ветер, тянущий и тянущий по суткам), небольшую передышку, чтобы прочистить свои исполинские меха, и теперь по обессиленной земле будет бить еще нещадней. Но куда же нещадней?! — здесь не океанская пустыня, не тундра, не пески, где дикие, взрывные, разрушительной силы, смерчевья выбрасываются из своей оболочки и начинают бешеную погоню... А здесь-то, на богоспасаемой земле, куда больше? И зачем?

Не без труда я выбрался из снега и, не споря больше с ветром, получив достаточные доказательства, кто здесь хозяин, повернул обратно. Отступал я постыдно, эпилептически загребая ногами, низко клонясь вперед, выставив спину, с усилием отталкиваясь правой ногой от обочины, куда меня сносило, а левую норовил выбросить вперед и скорей навалиться на нее, чтобы не упасть. «Погуляли по свежему воздуху?» — участливо спросила меня в проходной немолодая женщина-вахтер с наброшенным на плечи поверх пятнистой формы белым овчинным полушубком. Через окошечко в стекле мы с нею поговорили. Я похвалил полушубок, искренне всегда радуясь, когда, вопреки моде, появляется потребность в старых добротных вещах, а она, желая похвалить меня, сказала, что за весь этот день я третий, кто осмелился выбираться из санатория. «И долго гуляли первые двое?» — «Они в десяти шагах друг за дружку схватились, две женщины, две хохотушки из Москвы, их тут все знают... И похохотать забыли — скорей назад. Это я на них маленько посмеялась, что такие они скорые, а они только рычат: «Сибир, Сибир!» Вот и «Сибир!» — дождались, — поворачивая разговор, добавила она. — Душу тянет этот вой. Собака завоет,

и то нехорошо: беду кличет. А тут что творится! Набедокурили, а теперь: циклон, циклон! — Это она уж о нашем вмешательстве в природу. — Какая мне польза, откуда этот циклон и как он называется? По мне, хоть никак он не называйся... лишь бы его не было! Раньше ветры были... тоже хорошие были ветры, ничего не скажешь. Дух захватывало, как налетит да громоток устроит. Но раньше налетит по пути, чтоб дальше пролететь. А этот так и целит прямо в тебя, так и целит! Так и норовит тебя с земли сдуть!» — «Мы с вами люди немолодые, — попробовал я объяснить, — мы стали бояться всего». — «Нет, нет! — решительно не согласилась женщина, приближая к окошечку суровое мужицкое лицо, которое и верно трудно было заподозрить в трусости. — Не говорите, это с нас спрос пошел».

Провожая меня, выбравшись в узкую боковую дверцу из своего закутка, женщина вручила мне бумажный пакет с курильским чаем, который она сама и заготавливает и без которого никакой, ни китайский, ни цейлонский, чай ей не чай. «Люблю совсем горячий, такой, чтоб во рту кипело, — говорила она, давая мне понюхать благоухающее, мелко измолотое снадобье из пакета. — Такой попьешь — и никакая холера не пристанет. Нет, баня — так с веником, а чай — так с курильским!» Краснолицая, крупная, знающая ответы на все вопросы, женщина-вахтер так искренне и энергично настаивала, что я решил: «На ужин не пойду. А заварю сейчас ваш курильский, напитаю им все свои косточки — и пусть хоть от злости убьется этот циклон, мне дела нет!»

Так я и сделал. В две минуты добыл в скороварке кипяток, круто заварил чай, не ведая, китайский он или цейлонский, потому что на тяжеловесных пачках пошли имена: «Ахмад» такой-то, «Принцесса» такая-то, а не происхождение чая, «подженил» этого «Ахмада» золотистыми цветочками подаренного курильского и перенес весь этот церемониал, весь этот набор из сильно выстуженной кухонки на другую боковину домика в спальню, зашторил там окна, чтобы не видеть, как в непрекращающейся пытке выкручивает и выбивает последний дух из сосенок, забрался в кровать под пуховое китайское одеяло и зажег лампу над головой. В каждом положении можно сыскать свое преимущество. Разве был бы так сладок и так бодрящ чай в красный солнечный день, когда доступны многие удовольствия, и разве ощущал бы я в себе такое блаженное измождение?! Спросите меня, был ли я когда-нибудь счастлив единственным счастьем,

как никогда больше, и я, ничуть не кривя душой, тотчас отвечу, что был. Да, такое повториться не могло. Распластанный на больничной койке после операции, с тремя пластмассовыми трубками в паху, выводящими разные жидкости, донимаемый болью, которую нечем было снять, ранним и темным февральским утром я изгибал грудь, пытаясь не потревожить живот, выворачивал голову и тянул, тянул запрокинутую за нее правую руку, выдавливал сантиметр за сантиметром из плечевого сустава, чтобы дотянуться и ухватиться за отодвинутую куда-то туда тумбочку. Когда наконец дотянулся — она оказалась тяжелей, чем я рассчитывал, и не поддавалась мне. Я скреб по ней ногтями, раскачивал ее и умолял, стучал по ее стенке в болезненном расчете достучаться и вызвать сочувствие и поддержку того, что требовалось, отступал в изнеможении, подбирая руку, и снова тянулся, и снова раскачивал. И я добился-таки своего — заставил тумбочку начать движение с кряхтением и визгом по застланному линолеумом полу. В ней находилось мое спасение на этот час — кипятильник и пачка чаю. Кружка с водой стояла на полу возле кровати, я легко доставал до нее; электрическую розетку я разыскал еще прежде на стене слева, и тоже за головой, и тоже неизвестно как тянуться. Но сначала надо было придвинуть тумбочку. Я вцепился в нее, стараясь не думать о том, что этими судорожными усилиями могу вытянуть и сбить в себе весь ненадежный и наполовину искусственный механизм выведения отработанной жидкости. Мне срочно требовалась моя, тысячу раз проверенная и подкреплявшая меня, самая живительная жидкость, в которую я верил больше, чем в любое лекарство. И я, спустя час или полтора, нет, спустя вечность, донельзя измученный, с трясущимися руками и забитым болью животом, сумел ее добыть.

И когда сделал я первый глоток и он ушел в спекшееся нутро, все во мне, телесное и нетелесное, израненное и вынашивающее раны, разумное и неразумное, — все во мне ожило и возликовало, каждая косточка отозвалась благодарным вздохом, каждая кровинка заторопилась оросить этим волшебным напитком свои берега, и я наконец почувствовал себя вполне живым. Казалось, что и боль затихает. Я пил не торопясь, вслушиваясь в себя, давая успокоиться порывистому нетерпению, чтобы в спешке не произошло какого-нибудь беспорядка, я отправлял тепло и силу точно туда, где их не хватало, ощущая, как они уходят и впитываются в изможденную плоть и как она,

эта плоть, принимается благодарно пульсировать. Большего наслаждения и большего утешения мне испытывать, кажется, не приходилось, и мне не хочется их больше ни с чем и сравнивать, они были единственными и они оставались во мне, как радость, во все дни моего выздоровления.

Конечно, теперешнее мое чаепитие по сравнению с тем, больничным, спасительным или торжественно выставленным мною на спасительное место, памятное на всю жизнь, — теперешнее, конечно, ничего особенного из себя не представляло, но и оно радовало меня не без причин. Не мог же я среди дня забраться под теплое одеяло ни с того ни с сего, а чай — это всегда небольшой праздник и чайную церемонию позволяется обставлять с чудачествами и удобствами. Я приглатывал из фарфоровой кружки, которая сопровождает меня во всех поездках уже лет пятнадцать, смаковал каждый глоток, как это умеет только истинный ценитель чая, радовался пустяку — тому, что правильно решил сегодня не выползать больше из своей конуры, и рев пурги или бурана, циклона или циклопа уже не так донимал меня. Не сегодня, так завтра вся эта круговерть, все это буйство закончится; существует же в природе норма как на погожие, так и непогожие дни. Для пущего оправдания своей праздности я решил добавить к ней еще одно душеполезное занятие и взял со столика том Лескова, принесенный из библиотеки дней пять назад и до сей поры не раскрывавшийся. Раскрылось на рассказе «На краю света», читанном довольно давно, большом, с плотным и неспешным текстом, который нынешние литераторы, дайся им случайно такой текст, не преминули бы назвать романом, с историей из наших сибирских краев. В ней иркутский архиерей едет среди зимы с инспекторской проверкой в дальний угол своей необъятной епархии, в последние пределы инородческой Якутии. Лесков не бывал в наших краях и его представление о них, как и о населяющих их аборигенах, порой наивно, точно он и предполагать не мог, что когда-нибудь здесь появятся его читатели. В наших краях побывал другой великий русский писатель, современник Лескова, Гончаров. Возвращаясь из своего кругосветного морского путешествия на фрегате «Паллада», Гончаров из Охотска, где он сошел на берег, по тундрам и тайгам сибирского Севера преодолел тысячи верст то на оленях, то на лошадках, а то и вовсе на своих двоих, пока не выбрался в Иркутске на торную дорогу. Его путь однажды мог пересечься с собачьей упряжкой, которая везла лесковского ар-

хиерея. И Гончаров знал бы, что можно многие часы пролежать под снегом, спасаясь от жестокой пурги, как это происходит у Лескова, но нельзя долгие часы зимней ночи просидеть, не околев, на дереве, спасаясь от стаи волков, потому что лютый мороз не милосерднее лютого зверя. Вот эта невольная оплошность Лескова почему-то и осталась в моей памяти после давнего и, быть может, торопливого прочтения рассказа. Теперь я имел случай окунуться в него заново и неторопливо и под вой непогоды почувствовать, как будто глоток за глотком испивал я этот бальзам из лесковского сосуда, его удивительную духовную красоту и достоверность. Да и спасение от волков прыткого архиерея, просидевшего всю ночь на дереве, совсем не показалось мне неправдоподобным. Дело-то не в этом.

Но, Господи, как же мне опять стало холодно и тревожно от этой разгулявшейся «на краю света» стихии, от этого нескончаемого звериного рычания тундры! Это она, казалось, и воет, она рвет и мечет за стенами моего игрушечного домика. Я читал, досадуя на себя, как это меня угораздило сегодня влезть именно в это чтение и потревожить духов гигантской северной кухни, где замешиваются и выпекаются самые каленые морозы и самые необузданные пурги. Я дочитал рассказ, отложил книгу и прислушался: точно не в стены моего домика колотило, а, оторвав его, колотило им по мерзлой земле, вбивая безрассудное упрямство. Отодвинув штору, я выглянул: в грязных лохмотьях и лоснящихся пятнах темноты возилось и завывало — как предшествие чего-то окончательно жуткого.

Было время, когда я искренне верил, что с возрастом тревоги и страхи притупляются и чем дальше, тем больше сходят на нет. К чему чего-то бояться старикам, сполна или почти сполна испытавшим все, отпущенное им на веку? Оставшееся так незначительно, и неинтересно, и тягостно, что на него недостает уже ни чувств, ни воли, ни притязаний. Оно, оставшееся, само по себе есть конец. Не мгновенный обрыв, а медленное, тяжелое, бесшумное угасание и сползание в небытие. И хоть наблюдал я, что в действительности происходит наоборот: молодые принимают жизнь ветрено и мало ее ценят, а старики, иссушившие, казалось бы, полностью свои страсти и выбравшие до донышка свою долю, начинают хвататься за нее так, будто они еще и не жили. Мне представлялось это непонятным и почти унизительным, когда видел я непрестанную тревогу стариков по любому пустяку, угрожающему их затаенному существованию.

И вот теперь я сам подбираюсь к той же самой поре, и тревоги, над которыми я готов был смеяться, вселяются мало-помалу и в меня. Суть их и причина не только в том, что никому из нас не хочется уходить из этого дурно, но и прекрасно устроенного мира... Хочется, не хочется, а уходить придется. Но как уходить? Боятся, за небольшими исключениями, не смерти, а боятся умирания, того, как оно будет свершаться. А вдруг грубо, неприятно, срамно? Вдруг впопыхах, без молитвы и покаяния, или, напротив, мучительно долго, оскорбительно страшно, от ножа грабителя, в многолетней неподвижности и беспомощности? К уходу, к этому священному и окончательному событию, к событию, прекращающему твое земное бытие, надо подготовиться. Не в гости идешь. Подвести итоги, выслушать чистосердечное сказание о твоей жизни, тобою же сказанное, наговориться с родными, наплакаться втихомолку над минутами и годами счастья, принять причастие... Чего же после этого пугаться, если веришь, что после оставляемых трудов и детей-внуков, уходишь ты из бытия во всебытие, в единое и вечное крепление, которым держится земная жизнь? В таком случае это есть избавление от немощи и перерождение в силу, в бесконечную родительскую любовь, преображающуюся в земные картины: одну из них и наблюдал я последним мирным вечером накануне пурги, — ласковую, теплую, в переливах несказанной красоты, никак не хотевшую сходить с Байкала... Да, так не страшно уходить и туда. Окруженному родными лицами, в которых ты видишь себя, свое продолжение, под шелест утягивающей молитвы...

И вдруг избушка моя подскочила — точно не от порыва ветра, а от удара тяжелой стенобитной машины. Я вскочил в испуге, и в то же мгновение, вспыхнув ослепительно, погас свет. Мало сомневаясь, что это, должно быть, рухнула на мое жилище лесина, я замер в ожидании: сейчас или чуть погодя свалится на меня потолок. Темнота пала замогильная, окончательная. Не помня себя, я заглянул за штору — ни дырки нигде в сплошной завеси, только буйствовал ветер. Ощупью я нашарил дверь в гостиную — она поддалась, и я словно на улице оказался: так в ней было выстужено и тревожно. Шаг за шагом, с выставленными перед собой руками, подвигался я внутрь, услышал дребезжание стеклянной посуды в буфете и издал облегченный стон, будто буфет мог оказаться самой надежной крепостью в моей обители. Но она, обитель моя, слава Богу, была жива, я обошел ее раз и еще раз до самого конца, до входных дверей: все стояло на своих

местах. Ай да «заячий домик»! Ветер продолжал охаживать его бешеными нахлестами, нисколько не уставая, — домик вздрагивал от них, кряхтел и стонал, боль с причитанием пробегала по стенам, взрыдывали оконные стекла, подголосками заходился посудный шкаф... Но — стоял! Я готов был поверить, что свали совсем одуревший шквальный ветер этого упрямца, он бы вскоре и затих, сделав свое дело. А тут нашла коса на камень. Штурм продолжался.

Но что же это такое, в конце концов, что за сила, что за злоба обрушилась на безвинную землю и на все живущее на ней и треплет, треплет уже третьи сутки?! Или не такие уж мы и безвинные, какими нам хотелось бы представить себя в такие вот пугающие часы, точно подготавливающие Судный день? Разве не права женщина-вахтер в овчинном полушубке, подарившая мне сегодня курильский чай и уверенно повторявшая, что это не просто непогода, не просто стихия, являющая свой дикий нрав, — это нас уже требуют к ответу.

Что мне оставалось делать в кромешном и бушующем мраке: я добрался до постели и, не раздеваясь, боясь без штанов и рубашки остаться в совсем уж полной беспомощности, залез под одеяло. Уснуть было невозможно, отвлечь себя от тяжелых дум было нечем... Я взялся представлять, что это я по дурной дороге, в ухабах и ямах, трясусь в какой-нибудь допотопной закрытой карете посреди темной, слепой и потому особенно злой, задыхающейся от ярости, грозы. Грозы длительными не бывают, наверное, я своей ищущей облегчения памятью учел и это, выбирая род наказания, вот-вот необузданная вышняя трепка, выбивающая из земли потроха, должна прекратиться. Надо потерпеть.

И я подумал: мужество — это когда некуда деваться. Эта формула мне понравилась. Мое положение не требовало особого мужества: я лежал в мягкой постели под теплым одеялом, темень для сна, как известно, не помеха, вой пурги и упругие шлепки в стены... не требуется большого воображения, чтобы принять их за колыбельную и за чрезмерно усердное потряхивание зыбки-кровати. Мое положение не требовало даже и никакого мужества. И я не к себе примерял сложившиеся у меня о мужестве слова. В оболокшей меня, как угар, тревоге можно было, если на то пошло, сыскать даже признаки малодушия, если бы... Если бы не была эта тревога пополам с печалью и если бы не сказывала половинка-печаль, что не миновать нам всем в

скором времени испытаний, от которых никуда не деться и которые потребуют последних сил и последнего терпения.

Или это нас задурили, внесли страх и смятение в наши души, обрушивая ежедневно, вместо «с добрым утром!», ледяные ушаты новостей?! Чего только в них нет: из адовых глубин вырывается на пастбища и города кипящая лава вулканов, с гор сходят потоки камней и грязи и устремляются на хлеборобные долины, огромные ледяные материки, вбитые в отроги гор со дня сотворения мира, снимаются со своих становищ и ползут вниз, выдирая, вспахивая и уничтожая на пути все живое и неживое... Одна картина жутче другой. А в долинах разверзаются хляби небесные, вода извергается стеной, реки выплескиваются из берегов с такой скоростью, что люди не успевают убежать, лютуют дикие ветры, по неделе не знающие удержу... По земле пылают леса, выгорая в исполинские черно-мертвенные, обдающие жутью пейзажи, а под землей месяцами тлеют торфяники, и липкий дым накрывает и в мирных трудах пасущиеся веси, и многомиллионные, погрязшие в грехах, города. В окружении подобных событий мы просыпаемся, среди них засыпаем, нет от них спасу ни зимой, ни летом. И если выпадет ненароком день, свободный от них, голоса дикторов становятся донельзя несчастными и пустыми, как в горе горьком, испепеляющем сердце... и слышно, и видно на дне расплодившихся эфиров, как страдают они от этого всепланетного невезенья, от этой потухающей жизни, не способной изобрести новой огненной геенны... и голодными испуганными глазами озирают черные вестники вселенную... Но уж если обрушится от рук негодяев многоквартирный дом, налетевший смерч взовьет, как пушинки, в воздух десятки несчастных и примется забавляться ими, если затопит старушку Европу, как дрейфующую без руля и без ветрил баржу с дырявым днищем, и закрутит по ней из конца в конец жуткие воронки, будто она уже ввинчивается-уходит в тартарары, а к планете нашей из тьмы космоса станет приближаться смертник-астероид, полный желания подорвать ее и сбросить с орбиты, — о-о! — с каким восторгом и жаром, с каким самозабвением и пылкостью заливаются их голоса!.. тех, кто питает нас и спасает от прозябания!.. какой они достигают чувственной страсти и красоты, какого торжества!.. точно соловьи на утренней зорьке, славящие солнечное пришествие! Попробуй при таком ликовании не заслушаться! Попробуй не впустить в себя, не надышать и не насмотреть эти микробы раковой болезни, заслоняющей

весь мир, это едко-дымное, перехватывающее дыхание, ожидание надвигающейся катастрофы, это безрадостное проживание дня! И я замечаю их, замечаю тревогу и страх в глазах, натянутое внимание и невольное оцепенение перед ничем, не только в стариках, но и в молодых лицах, озирающихся в неясных предчувствиях. Я нисколько не удивляюсь, когда молодая мама, родственница моя, собирая ребенка на прогулку, вдруг замечает в окно шевелящиеся ветви тополей и приходит в волнение: «Нет-нет, остаемся дома, налетает циклон».

Страхи наши, конечно, преувеличены, колокольцы, подающие сигналы опасности, выплавлены из сверхчувствительного материала и могут названивать ни с чего, от одного лишь своего существования, от назначения названивать. Конечно, сам воздух, наэлектризованный повторяющимися грозовыми разрядами, больно колется даже от осторожного соприкосновения с ним. Много что подает усердные и фальшивые сигналы от какого-то общего переутомления. Но разве само это переутомление не есть признак крайнего напряжения сил? И спуста ли? Прохудилась не одна старушка Европа, привыкающая плавать в воде, как дырявая посудина, — прохудился и Новый Свет, и Китай, и Сибирь, и Австралия, всюду волны гуляют по площадям с океанским буйством и тысячи сброшенных в эту стихию из человеческого рода, из рода властителей, не смогли больше найти опоры под ногами. «Это что — попужать нас хочут или как?» — вопрошала в таких случаях тетка Улита, моя деревенская соседка, ныне покойная, обращаясь к небесным силам. «Только попужать или как?» Подтаивает вечная мерзлота в северных широтах, побежали ручьи с вечных снегов Килиманджаро, Северный полюс, удерживающий земную ось, превращается в снежную кашу, по которой ни пройти, ни проехать... Ученые, снимая вину с человека, толкуют о цикличности: мол, подобные потепления уже не однажды бывали и все это в порядке вещей. А ветхозаветное предание напоминает о Всемирном потопе. Не так ли, не с похожих ли «протертостей» он начинался? Разве предания лгут? Посеявшие ветер, пожинают бурю. Я заглядываю опять в сухие, замогильные глаза тетки Улиты, праведницы, не позволившей себе ни одного худого дела на земле... Больше всего в конце жизни тетка Улита радовалась тому, что не суждено ей было остаться под пучиной вод, затопившей старые ангарские деревни и кладбища после строительства гидростанций. Я заглядываю в глаза тетки Улиты и различаю едва уловимый

утвердительный вздох. Ни я не могу задать ей вопрос, ни она дать ответ, но чудится мне, и из многих-многих памятных между нами разговоров слагаются эти слова, — слышу я едва внятное: «Ну а как же: ежели мимо рук, ежели окромя Бога... не-ет, такой свет не устоит». И я вижу, как поддакивают ей и бабушка моя, и мать... Не значит ли это, что в бушующей за окнами моего домика стихии есть и их воля: ветер-то оттуда, с той стороны, где они... И бешеные эти порывы — не без назидания; жуткие эти стенания — не без горького плача родных наших, сошедших с земли, о нашей участи.

В стены все бьет и бьет, подбрасывает мой домик, со скрежетом выдирает его оклад из коробки бетонного фундамента. После каждого приступа домик с кряхтением и вздохами едва усаживается обратно, в свое гнездо, и напруживается, подаваясь вперед и выставляя грудь-преграду. Но чувствуется, что все труднее принять ему боевое положение и все задышливей его вздохи. Я боюсь поверить, чтобы не ошибиться и не раззадорить еще пуще силу, запускающую эти снарядные удары, но кажется мне, что и она начинает утомляться, что и ей, чтобы набрать в какую-то могучую грудь воздуха, требуется все больше времени, что и ее вздохи становятся учащенней и захлебистей. Или это только кажется? Мне хочется думать: если я не ошибаюсь и бешенство стихии изнемогает, так это оттого, что мысли мои приняли правильное направление и причина взбунтовавшихся против нас сил та, именно та...

И мы, должно быть, интуитивно чувствуем, откуда могут дуть такие ветры. Умом не соглашаемся, ум наш изворотливо подставляет научные объяснения, вроде цикличности, как лето и зима, эпохи потепления и похолодания... Но и цикличность пережить — это не два-три дня без солнышка перебиться и не два-три дня пересидеть на крыше своего домика вокруг необъятного разлива вырвавшихся из берегов вод, пока не сольются обратно в берега...

Когда бы дело было только в этом, чего бы ради, скажите, пожалуйста, устраивать вселенский шабаш, от которого пышет жутью и смрадом и который порочит нас дальше некуда, но в безоглядности и жертвенности которого невольно проступает и мученическая истина: дальше, больше, громче, гаже, — потому что скоро некому будет этому ужасаться, мы последние.

Из веков дошло: Римскую империю, самую могущественную в древности, окованную железной организацией войска и разу-

мной в законе и праве организацией государства, громогласную и сказочно богатую, развалили в короткое время праздность и разврат. Оказалось, что нет силы сокрушительней, перед которой не устаивают ни победоносные империи, ни цветущие, купающиеся в музах и грациях, цивилизации, чем маленькая, бесконечно невзрачная букашка-душегуб, слизистая тля. Впустили ее под кожу — и все великие творения Рима, все завоевания его были безудержно разгулены и развеяны по ветру, превратились в прах.

Но что и взять с них, с язычников, не вкусивших в исторических и духовных потемках ни истины, ни любви Христовой, прозябавших по-варварски в грубых и шумных развлечениях?! Что и ожидать от них, не имевших ни наших технических достижений, ни наших изысканных вкусов, широты и глубины взгляда!

Зато уж мы-ы!..

По большим праздникам у нас ликует вся планета. Миллионные толпы собираются на площадях, миллионноустый восторг оглашает за десятки километров окрестности, когда салютующие пушки выбрасывают высоко в небо феерию разноцветных огней, а вослед им грохочут тысячекратные усилители нашей громобойной музыки, гремят петарды и хлопушки, на подмостках сцен бьются перед микрофонами в истерике исполнители художественного крика, что-то кричат и подпрыгивают на плечах отцов и матерей младенцы... Гуляй, планета! После футбольных матчей болельщики, и огорченные поражением, и обрадованные победой, с одинаковой страстью принимаются крушить все, что попадается под руки. «Свободное» искусство вываливает «свободную» любовь, вплоть до «свального греха», одновременно на десятки и сотни миллионов телезрителей. Театр тоже не отстает: «вживе» и «на глазах» в исполнении любимых актеров эротические сцены вздымают в поклонниках искусства особенно возвышенные чувства. Писатели, обойдя в разные литературные эпохи поля сражений и дворянские гнезда, аристократические гостиные и захудалые ночлежки, громкие стройки и тихие деревни, устремились теперь в морги и отхожие места. А где неприличие и непотребство, срам и бесстыдство, там и небывалая жестокость с неслыханными жертвами. Всесветное торжище зла, гульбище низких страстей и истин, сбродище нечестивцев. И печаль, усталость, тяжелые вздохи сопротивляющихся, отступающих...

Если бы человек собирался жить долго и совершенствоваться, разве бросился бы он сломя голову в этот грязный омут, где ни дна, ни покрышки? Он должен был помнить об участи Содома и Гоморры. Мы выбираем свою судьбу сами, но — Господи! — в каких конвульсиях, в каком страхе и страдании, но и в неудержимом порыве, в слепом и ретивом энтузиазме мы ее выбираем! Горе нам, не разглядевшим, подобно древним римлянам, маленькую букашку, вползшую на сияющие одежды наших побед в завоевательных войнах! Как много ненужного и вредного, вроде виртуальных миров и генной инженерии, мы завоевали и как мало надо было охранить!.. И не охранили! Горе нам, прогневившим Бога!

И все же реже стали обрушиваться тяжелые порывы на стены моего пристанища. Реже, но еще злей и напористей — как всегда перед отступлением. Темнота лежала все так же черно и плотно, будто глубоко под землей. Я несколько раз поднимался с постели и отодвигал тяжелую штору — глухая непроглядность с упругой силой отталкивала меня от окна. В любой темноте есть «песочек», дорожка из сереющих игольчатых уколов, по которой и вытянет этот мрак в свой черед, — тут не было ничего. Темнота в темноте, стена, глушь, окаменелость. Я забирался обратно под пуховое одеяло, отогревался под ним, отогревался до того, что пытался натянуть тепло и на свои страдальческие, доходящие до смертного озноба, мысли. Не получалось. В закрытых глазах изнутри поднимались и плавали нездоровые медузные пятна, мельтешила грязная сыпь. Под нее мне и удалось в мучительном поиске вытянуть мелодию стиха:

Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья улетели?

Под эти слова, повторяя их раз за разом, под эту утешающую, само собой звучащую мелодию, под эту «колыбельную», зыбая смятенную душу, навевая на нее в поклонах мягкие, в златолистом пуху, пеленающие круги, я в конце концов забылся.

А утром... утром, когда я очнулся и выглянул в окно, весь мир был укутан в снег и тишину. Горбатились смиренно под снегом, с задранными лапами веток, поваленные деревья, скамья перед

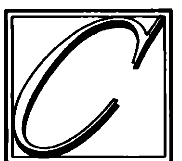
самым окном, по которой я по-заячьи сигал, выбираясь на дорогу, утонула в снегу без остатка, утонула и дорога, и мои страхи, и ураганные страсти, буйные наскоки северного ветра в продолжение трех суток — все было погребено под удивительно белым и чистым, в застывших волнах, снегом. Щедрым неслышным укрывом он упал вдобавок к прежнему еще и этой ночью, уже после того, как затихла непогода. Как будто ничего и не было, как приблазнилось от болезненных дум. Я перешел к окнам на Ангару: она, чуть волнуясь, зябко поводя по берегам плечами, выливалась, как и должно быть, из Байкала, брала свой извечный путь и выносила от подвинутой и торосистой кромки Байкала наломанный лед. А белое его поле было настолько белым и ослепительным, что даже и через оконные стекла щипало глаза.

Я проснулся поздно и опаздывал на завтрак, но, подумав, решил, что в это утро, по всей видимости, должен опоздать не я один. Так оно и оказалось. Дверь в столовую была распахнута, на столах лежали пакеты с бутербродами. Электричество после ночной аварии еще не добыли, но никого это не огорчало — ни поваров, ни едоков — все были необычно вежливы друг с другом и, как никогда, друг другу радовались. «Аварийная служба работает, аварийная служба работает», — шелестело по залу, где всухомятку уплетали мы свои бутерброды. Из раздевалки опять гремела музыка, остролицая маленькая гардеробщица с дергающейся головой изнывала в экстазе от бухающих звуков, но и на это смотрели великодушно: пусть ее!

Невеселое небо, ватное и взъерошенное с утра, к обеду вычистило, залило светленькой синью, и солнце, умывшись в ней, разогрелось, пополнело, закустилось лучами и засияло на всю катушку. Беззвучный торжествующий глас, незримые плодоносные струи полились на землю, и она по-женски жадно и нетерпеливо подалась навстречу, часто задышала. И уже через два часа осели снега, зазвенела капель, волшебными своими трубочками затрубили птицы...

И мудро отступил в сторонку Апокалипсис.

ВИДЕНИЕ



тал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну и она откликается томным, чистым, завывающим звуком. Только отойдет, отзвучит одна волна, одноголосо, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днем, а днем этого не бывает. Я отчетливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удавалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом на столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызванивающийся, невесть откуда берущийся, невесть что говорящий сигнал завораживает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всем остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше?

Что это? — или меня уже зовут?

В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов, и кажется мне, что это мое имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черед. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл ее, все существо мое умело

меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои все чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен еще на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и все, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Все чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными слезами, что готов был раствориться в нем вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолетного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших оттиск в душе, — не знаю.

И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Люблю и я «пышное природы увяданье»... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающейся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчетливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — все в разноцветном наряде и все хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И все роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. «Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре еще зелено, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем приготовляется без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо поле-

тит-заметелит крупным пестряным сеевом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трепок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая. Остывающее солнце еще пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выкланиваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, тенетится высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревням стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледненьким заревом, и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное.

Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я вижу эту же пору поздней просветленной осени, крепко обнявшей весь расстилающийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не встречалась, а непроизвольно составилась под пером самописца в моем сознании: мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыграться не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней — дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за нее. Мое место у окна в низком легком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в

них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе.

У правой стены два темных глубоких шкафа грубой и прочной работы. Подозреваю, их специально искали, чтобы они не могли оскорбить достоинство моего кресла. Они не мои, но в них мои книги из домашней библиотеки, мною же, похоже, отобранные, самые близкие. Напротив у другой стены такой же шкаф с моими игрушками — коллекцией маленьких колокольчиков, свезенных чуть не со всего света, — стеклянных, фарфоровых, глиняных, деревянных, медных, чугунных, каменных — самых замысловатых форм и фигур. В них тоже много меня: я люблю смотреть на них, прежде чем начинать работу. Когда я доволен собой (а это случается редко), я подхожу и любуюсь ими до тех пор, пока не услышу нежное переливчатое многоголосье, повторяющее и добавляющее мои фразы. Первые звуки появляются раньше моего прикосновения к колокольчикам, их выкачивает стеклянная девушка в красном платочке, повязанном под подбородок: с коромыслица, перекинутого за головой к плечам, свисают два крохотных ведерка. В них и раздаются хрустальные всплески. Затем вступает добрый молодец с приподнятой шляпой, в которой и спрятан язычок, выговаривающий приветствие. После этого я позволяю всему колокольному царству встрепенуться и сыграть здравицу в свою честь. Честолюбие ведь можно удовлетворять и таким образом.

Это не комната воспоминаний; да и я словно бы лишен возможности оглядываться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за окном, и человеческими руками, и не человеческими, все обставлено с печальной и суровой однозначностью; продолговатая, суженная обитель для одного переходит в суженый, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорогу.

Но нельзя наглядеться на этот мир — точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы.

Слева рукав тихой небольшенькой речки, теперь и совсем застывшей, извилистой и с низкими берегами, на которых голо и склоненно стоят березы, по две, по три на одном корню. Справа за лысым бугром, краснеющим глинистым боком, россыпь молоденьких мохнатых сосенок, сбегающих с горы, за ними, вырисовывая высокий волнистый горизонт, стоит лес. Между речкой и бугром проселочная дорога — ненаезженная, с необбитой посредине сухой гнущейся травой. Дорога петляет, повторяя

изгибы речки, затем ныряет в низинку, перебирается по черному деревянному мостку через речку и тут на белом каменистом береговом расшире теряется. И только на взъеме в километре от мостика появляется вновь — удивительно преображенная, гладкая и прямая, с блестящим серым полотном.

Эта внезапно изменившаяся дорога и не дает мне покоя. Один ее конец, ближний ко мне, простохожий и разлохмаченный, никак не связывается с другим — аккуратным, выверенным и отглаженным. Никаким узлом соединить эти концы нельзя, новый непременно выскользнет из старого, как барская рука из мужицкой. Меня так и тянет посмотреть на место их сращения. И еще кажется мне, что, если бы пришлось ступить на новую дорогу, она бы, как эскалатор, покатилась сама. Но она и не пустынна: при начале ее перемены стоит справа черная вековая ель, тяжелая, с низко опущенным широким подолом, а за нею, выглядывая углом, совсем новая деревянная избушка, янтарно сияющая, сказочная, с односкатной, в мою сторону, крышей. И, как в сказке же, живет в ней старичок, выходящий на травянистую обочину дороги. Видна его крупная и белая непокрытая голова, видно, что роста он небольшого. От меня не разглядеть, но, чтобы подолгу стоять неподвижно, надо во что-то всматриваться, чего-то в терпении ожидать.

Который уж день держится неземная, обморочная стынь, совсем заговорная, наложенная колдовской рукой. Так смиренно и красиво склоняются березы над водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где пропадает дорога, и с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть и смотреть. Что это — жизнь или продолжение жизни? Солнце тихое и слабое, с четким радужным ободом по краям, на небе лежат тонкие и сухие дымные облака, неподвижные и точно бы вросшие, теряющие очертания. А по земле листва уже впиталась в почву и больше не перекатывается, не шумит. Оголенный лес не кажется голым и бедным, он успел сделать перестановку и в местах ветробоев выставить теплым укрытием где сосновый строй, где еловый. Над лесами, над взгорьем и речкой раскачиваются длинные и печальные, все затихающие, все слабеющие вздохи.

И вот сидишь у окна в удобном продавленном кресле, смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого

и не собирая увиденное в связные мысли. Томно синеет небо, навевается и навевается тьма от земли, постепенно накрывается ею и моя комната. Я уже привыкаю к ней, я уже говорю: моя.

И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стынут березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры... Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!

Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди берез к мостику, ступая радостно по твердой земле, затем спускаюсь под яр на галечник, поднимающий под ногами шум, — здесь течение быстрее и чище — снова взбираюсь на землистый яр и всхожу на мостик, по краям которого бортиками лежат стесанные сверху и снизу бревна. Они лежат давно и почернели, почернел и настил деревянного мостика, всеми забытого, ибо ни одной души не видел я возле него, с тех пор как поселился здесь, и печального, чего-то долго ждущего... Но чего он ждет, зачем он выстроен? Я сажусь на боковину верхом, чтобы наблюдать ту и другую стороны света по речке и за речкой, куда уходит дорога. И долго сижу, борясь с желанием перейти через мостик и ступить на белые и круглые крапчатые камни. Даже в моих представлениях я не решаюсь этого сделать. Могучим и затаенным дыханием ходит, шевеля мое лицо, поднимаясь и опускаясь, воздух, морок сумерек настывает, и лес справа с острыми верхушками елей начинает темнеть все больше. «Хорошо, хорошо», — нашептываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали.

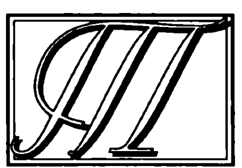
Обнаружив себя затем в кресле, я продолжаю размышлять: а ведь я впервые выходил из этой комнаты, прежде мне это не удавалось. Я не посмел перейти через мостик, но я уже был на нем, и с него я высматривал дорогу, теряющуюся в камнях, с него искал я каких-то неведомых ощущений, которые ждут впереди. Значит, я сделал еще один шаг. Мне не хочется искать ответа, хорошо это или плохо, я только со вздохом переставляю себя в новое положение. Совсем темно, пора возвращаться домой. Я в

комнате, на полпути к дому, но в какой он теперь стороне, мне все труднее понимать.

Я сижу, уже ничего не различая за окном, кроме тяжелых очертаний леса, время от времени ощупываю себя, здесь ли я еще, и дремлю над вопросом: если я спускался к мостику — станет ли после этого ночной звон ближе, настойчивей?


Статьи

ТРАНССИБ



ранссиб на перевале двух веков — это не просто рельсовая дорога через весь огромный сибирский материк, который в XIX веке знали почти так же мало, как в XVIII и XVII, но это еще и дорога из столетия в столетие. Только с прокладкой этой дороги, только с «прошивом» Сибири из конца в конец она была наконец-то подтянута к европейской части России накрепко, в одно целое. И только зацепившись этим «арканом» за причальный бок нового столетия, Россия могла чувствовать себя в нем уверенно, и даже обрушившиеся на нее в первые два десятилетия XX века потрясения не столкнули ее в могильную яму и еще через полтора-два десятилетия она снова встала в строй великих держав. Что было главной опорой страны в Отечественную войну, когда большая часть европейской территории оказалась в руках врага? Огромные пространства на востоке, великий дух народа и Транссиб. По Транссибу в декабре 1941-го пошли под Москвой в бой сибирские дивизии, по нему выходили из цехов танки и по нему же взлетали в воздух самолеты. А всего-то рельсовая нитка в два ряда, двухпутка, примитивное сооружение, когда на каком-нибудь негромком километре в степи или тайге прикорнет оно на несколько минут в покое, ничем не обремененное, в сторонке от своего хитроумного технического и электронного оснащения, от голосов и сигналов, от пульсирующего беспрерывно пульта управления, — до того простое и древнее, как дважды два, с потеками пота на шпалах, что невольно хочется его приласкать. Но налетит с грохотом состав, тяжелый и длинный, с промелькивающим грузом самого разнообразного сорта, оглушит, обдаст порывом скомканного воздуха — и обомрешь да и выдохнешь в торжественном испуге: да-а, непрост ты, брат дважды-два! Экая силища, экое чудородье борзое! Что бы мы без тебя делали?! Промчится состав, заглох-

нет, уже и бесшумно изовьется красиво вдали членистым телом, подразнит всегда манящими пространствами, а уж навстречу другой состав, еще более длинный, еще более торопливый, врывается со свистком — и накроет рельсы, дробно застучит по ним, выбивая чечетку, и, подобрав хвост, даже как бы отпрыгнет с дерзостью от избытка сил. Поневоле начнешь представлять: сколько же их сейчас, в эту минуту, оседлав рельсовый путь, мчится по Транссибу из конца в конец — тысячи, а может, десятки тысяч! Сколько же всего перемещается, какая клокочет жизнь! И какая таинственная тяга, наподобие генетической, влечет нас с боковых окраин по ту и другую сторону пути, из любых далей влечет к станциям, где тормозят поезда.

Рожденные в глухих таежных углах, среди могучих гор, дыбящихся в небо на многих сотнях километров, возле великих рек, несущих воду, которой омывается земля, в океанскую колыбель, рожденные в тундре и на границе с песчаной пустыней, мы все в конце концов пробиваемся к ней, главной дороге. По тропам и проселкам, по речным рукавам и снежным заносам, по путикам и большакам выходим мы из своего детства в тот обжитой и подшитый в одно целое мир, где пролегают рельсы. И садимся в поезд, лучше всего в поезд дальнего следования. Он трогается, и душа наша взлетает. И все стесненное, не успевшее раскрыться, все начальное, не успевшее сказаться, вдруг испытывает счастливый подъем и волнение, в груди становится просторно. В поезде полетного настроения больше, чем в самолете: там тяжесть и тревога от высоты, одна цель — скорее сойти на землю; здесь — широкий и вдохновенный росчерк в книге нашей жизни, доступный огляд неоглядного не только за окнами вагона, но и в своей праздничной душе. Земля расстилается бесконечной материнской дланью, часовые пояса, как невидимые врата, раскрываются без спешки и болезненных толчков. Забудешься, глядя в окно и не прерывая душевного сытения под беспрестанную музыку дороги, повздыхаешь, уминая чувственные натеки, да и вспомнишь невольно, что дорога-то эта не с неба упала, как речные пути, и что досталась она тяжеленько государству Российскому. И дальняя память, память дедов и прадедов, выстелится дымкой пред глазами и возьмется рисовать смутные картины, навеет то дальнее-предальнее живыми впечатлениями.

Да, но есть ведь еще документы, свидетельства, воспоминания, факты. Не все снесено временем, не все потеряно. И главный свидетель — она, дорога.

Философ Иван Ильин, говоря о бременах и заданиях, изначально вставших перед русским народом и потребовавших от него особых тягот и испытаний, начинает с главного:

«Первое наше бремя есть бремя земли — необъятного, непокорного, разбегающегося пространства: шестая часть суши в едином великом куске; три с половиною Китая; сорок четыре германских империи. Не мы «взяли» это пространство — равнинное, открытое, беззащитное: оно само навязалось нам, оно заставило нас овладеть им, из века в век насылая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и армии оседлых соседей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть, или замирить свои необозримые окраины оружием и государственною властью... Россия подъяла это бремя и понесла его; и осуществила единственное в мире явление».

Сейчас уже невозможно и представить себе все тяготы передвижения по сибирским далям на лошадках. Казаки-первопроходцы вонзались в этот край по речным путям, это были люди особого склада и непомерной дюжи, чтобы пройти весь материк от Урала до Тихого океана всего за полвека. Но затем началось обживание, наполнение, укоренение, потребовалась доставка товаров из европейской России и взаимосвязность внутри. Большой Сибирский тракт (с восточной стороны он еще назывался Московским, а с западной Иркутским, поскольку кой-как отвечал требованиям тракта только до Иркутска, а от него еще до Кяхты на границе с Китаем, откуда вывозился чай) — поддерживать в приличном состоянии этот тракт было невозможно по той же громоздкой причине, что это Сибирь. Летом проливные дожди, зимой каленые морозы и снежные заносы, осенью и весной в пору ледоставов и ледоломов через реки движение и вовсе замирало. Ямская гоньба на половину года превращалась в ямское «ползание», когда от станции до станции за тридцать — сорок верст невозможно было добраться и за сутки. В XVII веке назначенный в Иркутск воеводой Полтев скончался в дороге, в XIX с вельможными людьми такое, возможно, не случалась, но здоровья стоило немалого. А уж что происходило за Байкалом, и вовсе никаким фантазиям не поддается. От Сретенска на Шилке до Хабаровска колесного пути хватало всего на восемьсот верст, а еще тысяча верст тянулась по вьючной тропе. Представить нынче, что это был за колесный путь и в особенности вьючная тропа, невозможно. Грузы из Москвы добирались до Владивостока за год; почтовый тракт от Верхнеудинска (Улан-Удэ) до

Сретенска и вовсе не подчинялся никаким климатическим законам: зима при больших морозах нередко бывала бесснежной, впору для продолжения пути везти на санях телегу, а на телеге сани. Заселение дальневосточного края происходило медленно, только отчаянные головушки могли решиться на преодоление самых жестоких мытарств. С 1883 года переселенцев из западных областей России принялись перевозить через Одессу морским путем, но и это путешествие занимало около трех месяцев. В Енисейскую или Иркутскую губернии партии переселенцев по нескольку сот человек каждая продвигались, подобно кандальникам, через Екатеринбург и Тюмень также месяцами. Тяжеленьким выходило сибирское новоселье, не все выдерживали. И хотя к концу XIX столетия гужевой товарооборот беспрерывно возрастал (в 1894 году между Иркутском и Томском он достигал почти трех миллионов пудов), это и в малой степени не могло удовлетворить потребностей поднимающегося в рост великана.

Сибирь увязала сама в себе. Назвать ее колоссом на глиняных ногах было бы, конечно, несправедливо, но «ноги» подводили.

К середине XIX века после походов и открытий капитана Г.И. Невельского и подписания в 1858 году графом Н.Н. Муравьевым Айгунского договора с Китаем, после чего граф стал называться Муравьевым-Амурским, окончательно оформились восточные границы России. Военный пост Владивосток заложен в 1860 году; пост Хабаровка только в 1893 году стал городом Хабаровском; до 1883 года население края не превышало двух тысяч человек. Но встали, уперлись, заняли коронное место на берегу Великого Тихого. В те годы полковник Генерального штаба Н.А. Волошинов с гордостью записал: «...все державы с завистью смотрят на наш Владивосток». Это значило: точат зубы. Побережье, удаленное от центра России за десять тысяч верст, по сути пустынное, бесконечно лакомое, надо было брать в твердые державные руки без промедления. А взять в твердые руки — значит приблизить. А приблизить — это связать скоростной дорогой, которая не зависела бы ни от капризов погоды, ни от капризов местности, а гнала да гнала необходимое укрепление, пока побережье Японского моря не превратится в неприступную крепость.

Ничего удивительного, что он же, граф Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, одним из первых стал

ратовать за обзаведение Сибирью железными дорогами. Сначала, еще при императоре Николае I, он предложил маршрут «однотропной» чугунки от Байкала на Иркутск, Красноярск, Омск, Уфу и Самару, на удивление уже в то время совпадавший с трассой, по которой впоследствии и прошел Транссиб. А затем дал указание проводить изыскательские работы между Амуром и бухтой де-Кастри в Татарском проливе. Но после поражения в Крымской войне правительству было не до Сибири, страшновато было даже заглядывать в ту бескрайнюю сторону. А стоны из Сибири — дорогу! дорогу! — раздавались все слышней и предложения сыпались один за другим, в том числе от иностранцев, просивших концессии. Не отмалчивались и столичные газеты: нужда в Сибирской дороге ощущалась не только за Уралом — она нужна была всей России. «Русские Ведомости» еще в 1875 году писали: «...в последние десять лет Россия вдоль и поперек изрезана рельсовыми путями. Но до сих пор железнодорожная предприимчивость исключительно сосредоточивалась в центре России, а равно на южных и западных ее окраинах... Каковы бы ни были жертвы, пора наконец подумать о Сибирском пути. Не говоря уже о том, что этого требует политическая необходимость — связать с центром России обширную восточную окраину; что интересы Сибирского края, точно так же несущего государственные тягости, как и остальные части нашего Отечества, имеют не менее законные права на удовлетворение, чем интересы юга и запада, — осуществление Сибирской дороги есть настоятельная нужда тех самых частей России, на которых до сих пор преимущественно останавливались заботы государства».

Но на носу уже была Балканская война с Турцией, повытрясшая государственные карманы, после нее потребовались еще годы да годы, чтобы иметь запасы, без которых выходить в Сибирь было бы легкомысленно.

В 1883 году началась, а в 1885 году закончилась прокладка дороги Екатеринбург — Тюмень, рельсовый путь впервые ступил на край Сибирской земли. Событие это произошло без особых торжеств, ибо не здесь намечались главные ворота в Сибирь, но дорога эта значила многое: она связала бассейны двух крупных рек — европейской Камы и сибирской Оби — и значительно облегчила продвижение за Урал переселенческих потоков. А затем, спустя десятилетия, и Транссиб, как наиболее удобные, выбрал именно эти ворота. Тогда же соединение будущей Сибирской магистрали с европейской Россией предполагалось

провести через Челябинск, Златоуст, Уфу и Самару. Постройка этой линии началась в 1886-м.

В том же 1886-м, почти одновременно от Иркутского генерал-губернатора графа А. П. Игнатьева и Приамурского генерал-губернатора барона А. Н. Корфа поступили в Петербург серьезнейшие обоснования безотлагательности работ по сибирской чугунке. На доклад графа Игнатьева Александр III отозвался резолюцией, которая теперь уже не оставляла сомнений в том, что долгожданное это предприятие близко к началу. Она звучала так: «Уже сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири Я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора». Ответ на доводы барона Корфа подтверждал высочайшую решимость: «Необходимо приступить скорее к постройке этой дороги».

Лед, что называется, тронулся. В данном случае эта поговорка имеет почти буквальный смысл. Сколько десятилетий представлялось, что маятное это дело строительства чугунки погребено в сибирскую вечную мерзлоту и никогда не оттает. Теперь же становилось очевидным, что ждать остается недолго. 6 июня 1887 года по распоряжению императора состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было решено: строить. Уже через три месяца начались изыскательские работы по трассе от Оби до Приамурья. От Томска до Иркутска этими работами руководил инженер путей сообщения Н. П. Меженинов, от Байкала до верховьев Амура, а затем и на Уссурийской дороге — инженер О. П. Вяземский. Имена эти, самые первые, будут сопровождать все строительство Великого Сибирского пути. Однако направление тогда еще не было окончательно выбрано. Существовал южный вариант — по линии Оренбург—Актюбинск—Павлодар—Бийск—Минусинск—Нижнеудинск—Иркутск. Был вариант обхода Байкала с севера, было два варианта обхода Яблонового хребта в Забайкалье. Были споры о головном пункте, с которого выходить в Сибирь, — или Пермь—Тюмень, или Самара—Уфа, или Самара—Оренбург. И даже в решении совещания от 6 июня 1887 года, которое тоже следует считать головным среди всех последующих решений, дорога намечалась не сплошной рельсовой, а смешанной, водно-железнодорожной.

Все эти рабочие и черновые подробности, предшествовавшие окончательному ходу трассы, можно посчитать сегодня

излишними: дорога легла как полагается — ну и зачем теперь, казалось бы, трясти несостоявшиеся варианты? Но это история, атмосфера того времени, сама жизнь, которая никогда не исчезает бесследно и продолжает оказывать влияние на наши дни. В канун столетия Транссиба понадобилось вновь пройти по пережитому в конце XIX — начале XX века, вспомнить столкновение мнений и то, чем они разрешались, провести изыскания по давно изысканному, отложившемуся в вечность, поставить в торжественный ряд заслуженные имена, очистив их от наговоров и несправедливостей истории, вглядеться в ошибки, в зигзаги, в которые ударялась или готова была удариться дорога, соотнести с эпохой и ее событиями, то подгонявшими, то тормозившими дорогу — ведь выпало ей идти не только сквозь Сибирь, но и сквозь революцию 1905 года, сквозь Японскую, а затем и Первую мировую войны, сквозь голод 1892 года в России и боксерское восстание в Китае в 1900-м. Она ставила мировые рекорды по скорости прокладки, в одни города врывалась под всеобщее ликование жителей, от других, именитых и богатых, вдруг в последний момент отворачивала, повергая местное общество в панику, а третьи засевала после себя семенами богатырского роста. Она вздымалась на мостовых крыльях над могучими реками, пронзала непроходимые горы и, не теряя рельсовой нитки, плыла по Байкалу, а потом застревала в болотах, искала хода, словно заблудившись, в чужой земле, в череде неожиданных событий превращалась в разыгрываемую карту. И все прошла, преодолела, все выправила, обросла, как укоренившееся могучее дерево, ветвями к югу и северу, заговорила неумолчным и бодрым рабочим стукотком. Все эти победы и потрясения имели причины и следствия, в которых до сих пор еще разбираться да разбираться, в них участвовали многие тысячи теперь уже в большинстве своем безвестных людей, вложены безмерные труды и страдания. Но и у дороги есть память: главное из судьбы своей она сберегла и имена поводырей и любимцев сохранила. И, говоря о ней, не миновать вспомнить и их, снова и снова вернуться к ее ходовым этапам. Ибо по ним и пролегли рельсы.

1891 год стал стартовым в судьбе Транссиба. В феврале Кабинет министров принял решение одновременно начинать работы с противоположных концов — от Владивостока и Челябинска. Их разделяло расстояние более чем в восемь тысяч километров. Надо добавить: сибирских километров, когда в одну версту по

трудоемкости работ могли уложиться десятки и сотни верст. «Глаза боятся, а руки делают», — сюда и эта поговорка не годилась: объять глазами эти неисчислимые дали, чтобы испугаться, объять их даже представлением было невозможно. Ступали в неизведанность и неизвестность.

Началу работ, первым шагам в постройке Сибирской дороги император Александр III пожелал придать смысл и ореол чрезвычайного события. Никогда еще в истории России не принимались за столь громоздкое, дорогое и великое дело, которое включало в себя одновременно и прокладку пути, и переселение из западных областей в восточные на свежие земли миллионов людей. Никогда еще Россия не приходила в столь энтузиастическое движение, обещавшее и выгоды, и подъем национального духа. Если этого не случилось, по крайней мере не случилось подъема национального духа, то лишь оттого, что и внутренние, и внешние силы вскорости втолкнули Россию в полосу исторических несчастий, которых тогда или нельзя было ожидать, или они не казались неизбежными.

17 марта того же 1891-го последовал, как тогда выражались, с высоты престола рескрипт на имя наследного цесаревича Николая Александровича, прибывающего во Владивосток после морского путешествия по восточным странам. В рескрипте торжественно провозглашалось:

«Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути».

19 марта цесаревич Николай Александрович отвез первую тачку земли на полотно будущей дороги и заложил первый камень в здание Владивостокского железнодорожного вокзала. Фигурально говоря, поезд тронулся, хотя до отправления реального поезда было еще далеко. Известие о начале строительства сквозной железной магистрали через Сибирь громогласно прозвучало по всему миру. Наше внутреннее дело вести по своей территории дорогу затрагивало интересы многих держав. Никто

не желал усиления России, втуне лежащая земля, пустынная и непроходимая, недоступность природных богатств, связанная по рукам и ногам инициатива сибирского общества как нельзя более устраивали всех, кто торопливо заканчивал разделение мира на сферы влияния и не хотел лишнего соперничества. Интересы Англии, как морской державы и одной из победительниц в Севастопольской кампании, страдали оттого, что неостановимым делалось продвижение России к Мировому океану, и результаты Крымской войны уже не в состоянии были этому помешать. Япония считала Японское море, а также Корею и Китай сферой своих интересов, и вплотную приблизившаяся к ним Россия вызывала у островной страны крайнее раздражение. Подле Китая «паслись», кроме того, пользуясь его слабостью, и Германия, и Франция, и Америка. В Америке, где от океана к океану проложены были к этому времени уже четыре железнодорожных магистрали, с восхищением отзывались о «фантастическом», как повторялось там, проекте Транссиба, американцы, как народ предприимчивый и авантюрный, не могли сдержать восторга перед грандиозной задачей, однако политиков США не могла не тревожить Россия, в которой кровь начинает пульсировать по всему ее богатырскому телу. Японская война, а затем и послереволюционные события (после 1917 года) подтвердили эту общую нелюбовь к России и желание поживиться ее лакомыми кусками на севере и востоке.

В 1892 году произошло еще одно важное для Сибирской дороги событие: министром финансов был назначен С.Ю. Витте, человек огромной, иногда чрезмерной деятельности, горячий сторонник скорейшего сооружения магистрали. Ничуть не мешкая, он составил план строительства. Еще до него вся трасса поделена была на шесть участков, а Витте предложил очередность их проходки. Первый этап — проектирование и строительство Западно-Сибирского участка от Челябинска до Оби (1418 километров), Средне-Сибирского от Оби до Иркутска (1871 километр), а также Южно-Уссурийского от Владивостока до ст. Графской (408 километров). Второй этап включал в себя дорогу от ст. Мысовой на восточном берегу Байкала до Сретенска на р. Шилке (1104 километра) и Северно-Уссурийский участок от Графской до Хабаровска (361 километр). И в последнюю очередь, как самая труднопроходимая, Кругобайкальская дорога от ст. Байкал в истоке Ангары до Мысовой (261 километр) и не менее сложная Амурская дорога от Сретенска до Хабаровска (2130 километров).

Позже спохватились, что небольшой участок от Иркутска до ст. Байкал (80 километров) оказался в «излишке» и ни к одной «шубе» не подшит, а посему отнесли его к первой очереди, как того и требовал порядок работ. Кроме того, Комитет Сибирской дороги передвинул сооружение Забайкальского участка от Мысовой до Сретенска также в число первоочередных.

Учреждение Комитета Сибирской дороги в 1893 году было подобно локомотиву, который на всех парах потянул все огромное строительное хозяйство. В него вошли председатель Кабинета министров, министры финансов, путей сообщения, внутренних дел, Государственных имуществ, Военный, Морской министры и Государственный контролер. Председателем Комитета Государь назначил Наследника престола Николая Александровича, которому оставалось до коронации чуть больше года. Комитету придавались самые широкие полномочия, в столь авторитетном составе препятствий для него не должно было существовать, и они действительно снимались даже в самых затруднительных случаях. Во все десять лет строительства, а затем и во все годы «дополнения» и выправления трассы, прокладки вторых путей, как и во всех экстремальных обстоятельствах, случавшихся во множестве, Комитет немедленно принимал решения, находил дополнительные деньги, наводил справедливость. И даже прокладку КВЖД по китайской земле едва ли можно поставить ему в вину: сквозной путь в грозовой обстановке накануне войны требовался немедленно, а северный, амурский вариант в условиях вечной мерзлоты со всеми ее «цветочками» и «ягодками», какие никогда и нигде еще не встречались, ускорить было невозможно, и с Амурской дорогой впоследствии намучились не меньше, чем с Кругобайкальским участком. Принимаясь за столь грандиозное и неизведанное предприятие, каким показала себя Сибирская дорога, конечно, нельзя было предвидеть всех сложностей, всех подножек и бед, которые раз за разом сваливались на строителей как наказание за вторжение в эти дремучие заповедные места. Поэтому случалось все — и остановки, и неразбериха, и отступления от намеченного маршрута, и бегство рабочих со стройки, не выдерживавших ни за какие заработки морозов, болот, гнуса и неукротимой стихии. Все случалось, и чрезвычайные обстоятельства на стройке такого масштаба и вызова были в порядке вещей.

На одном из первых же заседаний Комитета Сибирской дороги заявлены были строительные принципы:«...довести до кон-

ца начавшуюся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное скоро и прочно»; «строить и хорошо и прочно, с тем чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать»; «...чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов». А главное — строить за счет казны. После долгих колебаний разрешено было «привлечение на постройку дороги ссыльнокаторжных, ссыльнопоселенцев и арестантов различных категорий, с предоставлением им за участие в работах сокращения сроков наказания».

Дороговизна строительства заставила пойти на облегченные технические нормы прокладки пути. Уменьшалась ширина земляного полотна, почти вдвое уменьшалась толщина балластного слоя, а на прямых участках дороги между шпалами и вовсе нередко обходились без балласта, рельсы были легче (18-фунтовые вместо 21 фунта), допускались более крутые, в сравнении с нормативными, подъемы и спуски, через малые реки навешивались деревянные мосты, станционные постройки ставились также облегченного типа, чаще всего без фундаментов. Все это рассчитывалось на небольшую пропускную способность дороги. Однако, как только нагрузки увеличились, а в военные годы многократно, пришлось срочно прокладывать вторые пути и все «облегчения», не гарантирующие безопасность движения, поневоле устранять.

От Владивостока повели пути в сторону Хабаровска сразу же после освящения начала строительства в присутствии Наследника престола. А через год состоялась торжественная церемония начала встречного движения от Челябинска. Первый костыль на западной оконечности Сибирского пути доверено было забить студенту-практиканту Петербургского института путей сообщения Александру Ливеровскому. Уж как сумели разглядеть в ничем тогда не проявившем себя студенте фигуру яркую, масштабную, рыцарскую из тех личностей, которые обогатили и укрепили своим недюжинным талантом и профессиональной дерзостью все многолетнее строительство, все его этапы от начала до конца, — как разглядели, уму непостижимо. Он же, Александр Васильевич Ливеровский, двадцать три года спустя, в должности начальника работ Восточно-Амурской дороги, забил и последний, «серебряный» костыль Великого Сибирского пути. Он же, инженер Ливеровский, возглавил работы на одном из самых трудных

участков Кругобайкальской дороги. Здесь впервые в практике железнодорожного строительства он использовал на буровых работах электричество, впервые он же на свой страх и риск ввел дифференцированные нормы взрывчатки направленного, индивидуального назначения — на выброс, рыхление и т. д. Он же, инженер Ливеровский, вел прокладку вторых путей от Челябинска до Иркутска. И он же заканчивал строительство уникального, в 2600 метров, Амурского моста, самого последнего сооружения на Сибирской дороге, сданного в эксплуатацию только в 1916 году.

Надо сказать, что в прежние времена, как только Россия принималась вынашивать великое дело, зачатое ее насущными потребностями, тут же, точно по волшебству, в необходимом количестве являлись яркие и сильные проводники и подвижники этого дела. Вспомним даже и издалека: когда в XIV–XV веках после татарского ига понадобилось заново собирать воедино русские земли и русские души — ученики Сергия Радонежского и ученики его учеников поставили по окраинам Руси сотни монастырей, бескровно и учительно творивших объединительную работу, в том числе за Волгой.

Когда потребовалось открывать Сибирь — сотни, тысячи, десятки тысяч казаков, словно бы прошедших, подобно космонавтам, специальную закалку и выказавших способность к сверхперегрузкам и отчаянному порыву, за полвека, влекомые неудержимой тягой, дошли до Охотского моря.

Когда Петру Великому в его имперском строительстве понадобились соратники столь же могучего духа и силы, как он сам, — «птенцы гнезда Петрова» слетелись за считанные годы.

В канун Великой Отечественной, когда армия оказалась обезглавленной, а война надвигалась неудержимой лавой — от сохи и станка явились крестьянские дети и превзошли в ратном деле вымуштрованный веками кастовый генералитет противника.

Так и с Транссибом: да, были уже в то время школы подготовки инженеров, был немалый опыт прокладки дорог в европейской России, но все это оказалось несравнимо с тем, что потребовали сибирские условия, и на порядок-два оказалось выше приобретенного образования и имеющегося опыта. Это словно на другой планете была работа, малознакомой, «нравной» и гораздой на фокусы. Как в уссурийской тайге случалось: на виду у десятков людей на трассе, среди рабочего шума и гама прыжком выскакивает из-за деревьев тигр, хватает первого попавшегося и поминай как звали. Или как в Забайкалье в трескучие морозы

на реке Онон: ни с того ни с сего огромные, в две-три тонны, глыбы льда с грохотом выдирает из реки и подбрасывает высоко в воздух, устраивая жуткую дьявольскую канонаду. И много чего другого в том же нежданно-негаданном роде, от чего нельзя было застраховаться и что случалось с неминуемостью наступления каждого нового дня. Все это надо было понять (а никаких наблюдений за поведением пусть не тигров, пусть природных явлений, прежде не водилось), изучить и попытаться предотвратить. Что для этого больше требуется — инженерных знаний, человеческой опытности и интуиции или приобретаемой со временем свойскости — поди разберись.

Инженер-изыскатель и строитель выковался в Сибири в особый отряд рыцарского и верноподданнического служения России. Это была интеллигенция крепкой кости и здорового духа, у которой не могло явиться разрушительного настроения уже по одному тому, что призванием ее было строить, укреплять и облагораживать жизнь, выводить российские окраины, придавленные заброшенностью и дальностью, из их местечковых тупиков на простор знаний и деятельности. Это были образованные и благожелательные люди, спокойные и неутомимые, чьи добрые качества вырабатывались опять-таки профессиональным служением и духовной подтянутостью. Немало могил их осталось вдоль трассы, теперь уже и забытых, немало имен вошло в названия станций, да по нашей привычке к беспамятству потом переименованных, немало их, надорванных непосильной работой, после завершения строительства долго не протянуло. А мы и поклониться им теперь забываем.

В 1880-х, когда шли изыскания по трассе Томск—Иркутск, которыми руководил инженер Н.П.Меженинов, иркутская газета «Восточное обозрение» писала с принятым здесь грубоватым юмором: «Вот уже более года, как приехали инженеры путей сообщения и производят разведки железнодорожного пути на огромном расстоянии от Томска до Иркутска. Инженеры — люди новые, приезжие, со светлыми пуговицами, в форменных мундирах, и чудеса — никому до сих пор не пытались своротить скулу, надавать оплеух, упечь под суд, согнуть в бараний рог. Делают себе мирно да тихо свое дело и никого не обижают. Непривычны мы к таким явлениям. «Чего бы уж совсем плохого не вышло!» — говорят сибирские обыватели».

У Владимира Чивилихина остался незаконченным роман «Дорога» — о Транссибе и об известном писателе и инженере-

изыскателе Гарине-Михайловском, авторе «Детства Темы», «Гимназистов», «Инженеров» и многих других книг. Об изыскательской работе в своем романе Чивилихин пишет и с любовью, и с удивительным знанием дела:

«Задачи, стоящие перед любым изыскателем, можно свести к нескольким основным. Главный принцип — выбрать кратчайшее направление, потому что железная дорога прокладывается надолго, и каждый лишний километр — это не только удорожание строительства. В будущем ненужные рельсовые расстояния обернутся гигантскими перерасходами времени, сил и средств. Дорога должна иметь, кроме того, минимальное число уклонов, и если характер местности не позволяет избежать их совсем, то инженер обязан найти самые отлогие, некрутые спуски и подъемы, а где надо — успокоить рельеф, т. е. предусмотреть выемки, высокие насыпи, путепроводы и установить так называемый руководящий уклон, который определит пропускную способность будущей дороги. Следует намечать далее возможно большие радиусы кривых. Плохой, как говорят железнодорожники, ломаный профиль и крутые повороты вызовут потом дополнительные трудности в эксплуатации, преждевременный износ локомотивов, вагонов, пути. Подводя дорогу к реке, изыскатель намечает самые удобные места для пристаней или мостовых переходов, предусматривает защитные меры против паводков, снежных лавин, каменных осыпей, землетрясений, выявляет существующие транспортные пути, средства связи, источники водоснабжения, наличие строительных материалов, резервы рабочей силы и, не поступаясь надежностью будущей магистрали, стремится максимально снизить строительные затраты. Итог изыскательского труда — технический проект и смета, которые после утверждения становятся основными документами строительства».

Азбука, что и говорить, впечатляющая.

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский был назначен начальником изыскательских работ на Западно-Сибирской дороге в 1891 году. Первые изыскания здесь проводились раньше, от него требовалось лишь уточнить отдельные детали и дать окончательное заключение. Однако избранное направление трассы очень скоро удивило и насторожило инженера Гарина-Михайловского. От Барабинской степи ее отправляли к Колывани, богатому торговому селу на Оби, там ей предстояла переправа в месте самом неподходящем, где река имела обык-

новение разливаться по обеим сторонам вволюшку, а сразу за Обью намечался крутой поворот на север к Томску болотистым труднопроходимым курсом. Неужели это самый короткий и удобный путь? Неужели изыскатели остановились на нем, не найдя ничего лучшего? Не может быть! Гарин-Михайловский принялся за разведку. Ниже по течению Обь становилась все шире и берега ее все болотистей. Надо было высматривать выше. Обследуя берега Оби, Томи и Яи — все три реки, державшиеся, как сестры, недалеко одна от другой, дороге было не миновать — Гарин-Михайловский с помощью рыбаков и охотников отыскал переправы, лучше которых и желать было нельзя, а местом перехода через Обь выбрал село Кривощеково.

Позднее, проезжая тут пассажиром, он запишет в дневнике кругосветного путешествия:

«На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в «трубе». Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое узкое место разлива — у Колывани, где первопечатно предполагалось провести линию, разлив реки — двадцать верст, а здесь — четыреста сажен. Изменение первопечатного проекта — моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мной линия не изменилась!.. Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне поселок, называвшийся Новой деревней. Теперь это уже целый городок...»

Этот «целый городок» в годы, как на опаре, вырос сначала в Новониколаевск, а затем и Новосибирск, самый большой в Сибири, полуторамиллионный город, детище Транссиба.

А от Томска, самого звучного в то время города, где только что был открыт единственный в Сибири университет и заложен технологический институт, пришлось отвернуть к югу на девяносто километров и оставить его в стороне. Обиду эту Томск не может забыть до сих пор. К нему провели ветку от станции Тайга (и место для этой станции, и имя ей выбирал сам Гарин-Михайловский), но и вместе с веткой новая трасса, которую изыскал и отстоял Николай Георгиевич, оказалась короче прежнего, как он называл, «первопечатного» направления. И намного дешевле. А это именно то, что и требуется от изыскателя, кодекс которого, приведенный выше, и составил Владимир Чивилихин, выраставший в семье железнодорожника на станции Тайга. «Вот и станция Тайга, откуда ветка идет на Томск», — коротко запишет Николай Георгиевич в том же дневнике кругосветного

путешествия, и в лаконичной этой записи невольно слышится вздох при воспоминании, сколько же ему пришлось претерпеть, чтобы отстоять тогда государственный интерес.

Судьба Томска, отставленного от столбовой дороги, так напугала градоначальников восточных городов, куда еще не дотянулся Сибирский путь, что в Иркутске на обеде в честь прибытия нового министра путей сообщения М. И. Хилкова, на обеде, где присутствовал и Н. П. Меженинов, руководитель изыскательских работ от Оби до Иркутска, местный генерал-губернатор Горемыкин выразился весьма откровенно, сказав, что «пусть изыскатели ослепнут, если они хотят пройти мимо Иркутска — авось слепые попадут в город». Что ответил на это Меженинов, воспоминания не доносят, но едва ли он мог обидеться, зная прежде всего тот же государственный интерес, из которого исходил Гарин-Михайловский. Иркутск, к счастью, из этого интереса не выпал.

На Северно-Уссурийской дороге повторные изыскания, произведенные О. П. Вяземским, также изменили, укоротили и удешевили новый маршрут, значительно (на 30 км) отодвинув его к востоку от реки Уссури и вызволив тем самым из глубоких скалистых выемок и большей части заливаемых мест. Вяземский был решительным противником прокладки КВЖД и отказался работать на ней, но выправить это (маньчжурское) направление, слишком дорого обошедшееся России, ему оказалось не под силу.

Великий Сибирский путь тронулся на восток от Челябинска 7 июля 1892 года. Тронулся довольно споро. Через два года первый поезд был в Омске, еще через год — на ст. Кривощеково перед Обью (будущий Новосибирск), почти одновременно, благодаря тому, что от Оби до Красноярска работы велись сразу на четырех участках, встречали первый поезд в Красноярске, а в 1898 году, на два года раньше первоначально обозначенного срока, — в Иркутске. В конце того же, 1898-го рельсы дотянулись до Байкала. И тут, перед Кругобайкальской дорогой, представлявшей из себя неописуемую природную красоту и столь же неописуемое препятствие из обрывающихся в озеро скал, произошла остановка на добрые шесть лет. Дальше на восток от ст. Мысовой путь повели еще в 1895 году, с твердым намерением в 1898-м (этот год после удачного начала принят был за финишный для всех дорог первой очереди) закончить укладку и на Забайкальской трассе и соединить железнодорожный путь с речным, вы-

водящим к Амуру. Но здесь начиналась совершенно незнаемая Сибирь, совершенно необъезженная — и планам этим так скоро не суждено было сбыться. Один за другим на строителей обрушились несчастья, которые не только сорвали сроки сдачи участков в эксплуатацию, не только в самом прямом смысле окунули строителей в пучину бедствий, но и способствовали тому, что сооружение следующей — Амурской — дороги надолго было оставлено.

Первый удар нанесла вечная мерзлота. Юбилейный сборник в честь столетия Забайкальской железной дороги вспоминает об этом такой картиной:

«Опыта строительства на вечно мерзлых грунтах с ледяными линзами не было. Водопроводные трубы укладывались в отапливаемых паром или водой галереях. Корпуса железнодорожных мастерских в Чите разваливались. Позже разрушились здания локомотивного депо и бани в Могоче на Амурской дороге (кой-какие первоочередные службы протягивались и туда. — *В. Р.*). Сплывы откосов выемок, заполнение грунтом водоотводных канав, выпучивание мостовых свай, осадки высоких насыпей даже зимой, разжижение плотных оснований насыпей во время длительных ливневых дождей, разрушение фундаментов зданий и мостов — это далеко не полный перечень странных и неожиданных явлений, с которыми столкнулись строители на вечно мерзлых грунтах на многих участках Забайкальской дороги».

Наводнение 1896 года, размыв чуть не повсеместно возведенные насыпи, наделало немало бед, но они еще были поправимы. В следующем году грянул настоящий потоп. Воды Селенги, Хилка, Ингоды и Шилки, вырвавшиеся из берегов со скоростью и буйством цунами, сносили деревни, полностью был смыт с лица земли окружной город Доронинск, на четырехстах верстах от железнодорожной насыпи не осталось и следа, разнесло и погребло под илом и мусором строительные материалы. Когда вода наконец спала — жуткое зрелище невиданного опустошения предстало перед строителями — будто это они и вызвали стихию, нагрянув сюда, где человек еще не имел первенства, без спросу и нарушив закон здешних мест.

На этом беды не прекратились. Через год, показывая после наводнения обратную сторону стихии, выпала небывалая засуха, ни трава не поднялась, ни хлебные засевы не дали зерна. Вспыхнула эпидемия чумы и сибирской язвы. Рабочие разбежались, остатки дороги возвышались могильными холмами.

Только через два года после этих событий, в 1900-м, удалось открыть на Забайкальской дороге движение, но была она вполовину настелена «на живульку» и потребовала для безопасного движения еще трудов и трудов.

А с противоположной стороны — от Владивостока — Южно-Уссурийская дорога до ст. Графская (ст. Муравьев-Амурский) была сдана в эксплуатацию еще в 1896-м, а Северно-Уссурийская до Хабаровска закончена в 1899-м.

Оставалась нетронутой отодвинутая на последнюю очередь Амурская дорога и оставалась недоступной Кругобайкальская. Но Амурской, натолкнувшись на непроходимые места и боясь застрять там надолго, в 1896 году предпочли южный вариант через Маньчжурию (КВЖД), а через Байкал в спешном порядке наводилась паромная переправа и везли из Англии сборные части двух паромов-ледоколов, сначала одного, затем другого, которым и выпало в течение пяти лет принимать в себя железнодорожные составы.

Трудности на Забайкальской дороге оказались чрезвычайными, но считать, что они выпали совершенно неожиданно, нельзя. Всего можно было ожидать от воистину загадочных и мистических сил на огромных малозаселенных и почти совсем не изученных пространствах. Не зря говорят, что в звучании слова «Сибирь» слышится рык — вот он и прозвучал, когда ступили на нее торопливо и больно. Русская история этих диких мест началась с XVII века, когда появились тут казаки, а вслед за ними пашенные крестьяне, но было их немного, на версту по персту, и жили они замкнуто; что выпадало им, какие уроки они извлекали из общения со здешним краем, тут же с ними навсегда и оставалось, не оповещая, как теперь, громогласно всю планету.

В 1913 году в Забайкалье побывал знаменитый норвежский путешественник и ученый Фритьоф Нансен. Был он страстным пропагандистом Великого Северного морского пути, который теперь в одной упряжке с Великим Сибирским железнодорожным путем сулил огромные перспективы. По северным морям, а затем по Енисею Фритьоф Нансен доплыл до Красноярска и пересел на поезд. И проделал весь тот путь, на котором установился Транссиб: от Читы свернул на КВЖД и доехал до Владивостока, затем по Уссурийской дороге до Хабаровска, а там... там Амурская дорога на возвратном пути, в свое время оставленная,

но теперь опять подобранная, берущаяся в упряжку. Берущаяся, но еще не взятая, передвигаться приходилось то в вагоне, то на дрезине, на автомобиле, на своих двоих, в лодке — пока не выбрался знаменитый норвежец в сопровождении хозяев на Забайкальскую дорогу, где начиналось уже устоявшееся сквозное движение. Но именно эти гиблые места, штурмуемые строителями, и произвели на путешественника, повидавшего в своих странствиях многое и всякое, самое большое впечатление. С одной стороны природа, затаенная и мощная, как сфинкс, величественно застывшая в осенней дремоте, переваливающаяся с боку на бок в сезонных преображениях, не рассчитывавшая, что когда-нибудь здесь может появиться человек и никаких удобств для него не приготовившая, налитая огромной силой, с которой, казалось, некому соперничать, — и, с другой стороны, он, этот человек, неизвестно откуда берущий прямо-таки богатырские жилы и крепи, чтобы быть сильнее и упрямо пробиваться вперед и вперед.

Книгу свою об этом путешествии Нансен назвал уважительно и точно — «В страну будущего». Не однажды он восклицает в ней: «Удивительная страна! Удивительная страна!» — и замечает совсем как бывалый, вместе со строителями испытавший все тяготы их суровой жизни товарищ:

«Климат зимою так суров, что по большей части исключает возможность каких бы то ни было работ, кроме туннельных и мостовых. Да и летом условия не из благоприятных: жарко, и такая масса комаров и мух, ос и всякой мошкары, что единственное спасение от них — дым от костров. Нелегко находить на этих плоских болотистых равнинах и хорошую питьевую воду, и приходилось большею частью довольствоваться стоячею, болотною. А бездорожье приводило к тому, что летом болотистая местность становилась окончательно непроходимою, и самое проложение сколько-нибудь сносных дорог приходилось откладывать до зимы».

На ст. Талдан Нансен заглянул в стометровую скважину, пробуренную на болоте в поисках питьевой воды. Воду не нашли, но срез «преисподней» поразил ученого: сверху метровый пласт торфа, затем полтора метра цельного льда, а дальше песок, гнейсовый гранит — и все это до самого дна было каменно-замерзшим. Какой же милости можно ждать от этих глубин, где адская кухня в любой момент может преподнести самый неприятный сюрприз? Оттого и «милость», которая в виде рельсового

пути творилась на поверхности, постоянно находилась под угрозой, и потому ничего не оставалось, как для защиты возводить гигантские прокладки-насыпи.

Здесь были особо трудные, как принято говорить, экстремальные условия, здесь дороженька доставалась такой ценой, что измерять ее нечем. Но легкой дороги и нигде-то не случалось, даже в Западной Сибири, где она, казалось, катилась сама собой, если судить по скорости продвижения. Конечно, Ишимская и Барабинские степи выстилались на западной стороне ровным ковром, поэтому рельсовый путь от Челябинска до Оби, как по линейке, ровно шел вдоль 55-й параллели северной широты, превысив кратчайшее математическое расстояние в 1290 верст всего на 37 верст, неизбежных при подходах к городам и речным путям. Довольно легко давались и земляные работы, особенно после того, как привезли из Америки землеройные грейдеры.

Не сравнить Западно-Сибирскую с другими дорогами, но и здесь не обошлось без трудностей, которые происходили из того же, что в ином роде давало преимущества, — из степной местности. В степной местности не было леса — приходилось везти его из Тобольской губернии или из восточных таежных районов. Не было даже гравия, камня — для моста через Иртыш и для вокзала в Омске везли камень по железной дороге за 740 верст из-под Челябинска и за 900 верст на баржах по Иртышу из карьеров. В половодье нельзя было избавиться от воды — все тот же инженер Ливеровский, только что после окончания института поступивший на стройку, догадался вдоль трассы отрывать котлованы. А питьевую воду, воду для паровозных котлов в озерном краю добывали из артезианских скважин да еще и очищали ее химическим способом от примесей. Снежные заносы под буйными степными ветрами превращали насыпь в белое, уходящее за горизонты, холмистое изваяние — лесопосадками в срочном порядке не загородишься, пришлось набивать тысячи и тысячи деревянных щитов. Да и вышли в степь сибирскую налегке: не хватало одного, другого, третьего, даже гвозди везли с Урала, мастерскими обзавелись не сразу, хозяйственный обоз подтянули позже. Именно здесь, на первом этапе, дорога набиралась опыта, училась ходить по Сибири особым шагом — спорым и вкрадчивым, все учитывающим, ко всему готовым, ставящим ногу так, чтобы из любой ловушки ее можно было выдернуть.

Мост через Обь строился четыре года, а дорога с правого берега Оби (теперь это была уже Средне-Сибирская дорога) устре-

милась дальше на восток. И до Мариинска, даже до Ачинска серьезных препятствий не встретила — все та же степь, постепенно одевающаяся в леса. Затем — отроги Алтая, Алатау, Саянского хребта. Начиналась кондовая, таежная, суровая Сибирь с резко континентальным климатом, с гористыми участками в сотни верст, с резкими повышениями и понижениями местности, что на языке строителей называлось «перевалистостью», с бездорожьем, с земляными работами, где приходилось орудовать не столько лопатой, сколько топором, — так перекручена была почва древесными корнями.

Здесь же, от станции Тайга, отходила ветка на Томск, где разместилось Управление строительством Средне-Сибирской дороги. Надо полагать, оно село в Томске, исходя не только из практических удобств, но и из желания потрафить уязвленному самолюбию города, оставленного в стороне от главной магистрали. Но и Управление Забайкальской дороги разместилось почему-то не в Чите, как того требовала география, а в Иркутске. Потом, десятилетие спустя, была почтена и Чита: сюда из захолустного Нерчинска перевели Управление строительством Амурской дороги. Дальше от линии работ, но ближе к линии связи; очевидно, для управленческой жизни это имело не последнее значение.

Вообще Средне-Сибирская дорога, несравненно более трудная, чем Западно-Сибирская, велась, по всему судя, радостней, азартней, на подъеме и воодушевлении. Вылезли из болот, и лес, и камень, даже облицовочный, под руками, огромные залежи угля, который пойдет в паровозные топки, сухой мороз и сухая жара, таежная живность, которая и повеселит, и накормит, крепкого духа и здорового вида местный народ. Научились организовывать работу, вошли во вкус и ритм ее, почувствовали радость продвижения.

До Красноярска «чугунку» провели быстро, работы шли, повторим, одновременно на четырех участках. Укладывались 18-фунтовые рельсы, но каким-то макаром по Великому морскому пути и Енисею в Красноярск была доставлена из Англии партия 22-фунтовых — не в лад с принципом строить только из отечественных материалов. Привезли за тридевять земель — не возвращать же из принципа обратно. Да и рельсы хороши. Выстелили ими двадцать километров к западу от Красноярска, не пришлось затем и менять.

На восток от Енисея должны были вести дорогу с противоположных концов — от Красноярска и от Иркутска. Но Никола-

евский железоделательный завод в Иркутской губернии поставлять рельсы не смог. Пришлось землепроходческим способом идти только «встречь солнцу». Красноярский юбилейный сборник к 100-летию своей дороги дает красочную картину работы укладчиков, которые, подобно цыганскому табору, с женами, детьми, кошками, собаками, петухами и поросятами, с торговыми лавками и кузнями ежедневно продвигались примерно на шесть километров по только что выложенным рельсам. И так всю тысячу верст: на полотно развозятся и укладываются шпалы, зарубаются гнезда для рельсов, просмаливаются, выравниваются, на вагонетке, которую тянет лошадка, подвозятся рельсы, раскладываются на шпалах, производится их заболтовка. Следом идут костыльщики, затем рехтовщики, выправляющие изгибы, и в конце — подбивка пути и засыпка балла́ста. Все — «цыганский табор», оглашая тайгу разноязычием его обитателей, на шесть километров продвигается вперед.

Но прежде-то надо было пройти самую трудоемкую и ломовую работу — навести полотно дороги, надежное, удобное для хода, приятное для глаза. Случались участки, где приходилось поднимать полотно на 17 метров (на Забайкальской дороге высота насыпи доходила до 32 метров — выше восьмиэтажного дома) и были участки, где выемки, да еще и каменные, были сравнимы с подземельями. Мешала река — отводили ее русло, чтобы знала свое место; вставала гора — поклоняли и ее, так что и следа не оставалось.

Русло Енисея не отведешь: проект моста через великую сибирскую реку, которая у Красноярска набрала уже километровую ширь, сделал профессор Московского технического училища Лавр Проскуряков. По его же начертаниям был навешен позднее самый грандиозный на Европейско-Азиатском континенте мост через Амур в Хабаровске длиной более двух с половиной километров. Красноярский мост потребовал, исходя из характера могучего Енисея в пору ледохода, значительного, превышающего принятые нормы, увеличения длины пролетов. Расстояние между опорами доходило до 140 метров, и в этих даже и не шагах, а прыжках, мост опасно зависал над бурлящей пропастью, держась, казалось, на одном только честном слове проектировщика. Но и высота металлических ферм возносилась на верхние параболы на 20 метров — точно за небо ухватываясь, давая уверенность в прочности. Мост — картинка, да и только! Строил его инженер Евгений Карлович Кнорре, имя знамени-

тое, связанное с возведением мостов через Днепр, Зап. Двину и Волгу. На Красноярский мост, как и на Обский, ушло четыре года. На Парижской Всемирной выставке 1900 года модель этого моста длиной в 27 аршин получила золотую медаль. Теперь в Красноярске рядом с этим, отслужившим свой век «ветераном» построен новый, более надежный — и не знают, что делать с прежним. Разбирать — руки не поднимаются, без него Красноярск сразу поблекнет; мост, как крылатое и неповторимое чудо, не только дороге служил, не только с берега на берег протягивался, но и откладывался в сердце радостью и красотой.

В Иркутске Ангару не пришлось пересекать, дорога прошла по ее левому берегу, но на въезде в город с западной стороны встал на пути впадающий в Ангару Иркут, река норовистая, горная, бегущая с Саянских хребтов. Первый мост здесь ставился деревянный, слишком тяжело досталась бы доставка металлических конструкций по тракту. Соорудили опоры, забили в дно Иркута сваи. Во время ледостава бурлящей водой вместе со льдом эти сваи повыдергало. Снова с великими мучениями забили, а чтобы защитить их, вокруг ледорезов и опор устроили ряжи. Издатель газеты «Восточное обозрение» И.И.Попов в своих «Записках редактора» вспоминает:

«Помню, когда в 1898 году открывали этот мост и через него был пущен первый локомотив, генерал-губернатор А.Д.Горемыкин предложил мне проехать с ним в этом локомотиве. Я отклонил предложение и посоветовал Горемыкину «не производить испытания моста». Он согласился со мной, и мы со стороны наблюдали, как «испытывали мост». Строитель моста инженер Попов сел на локомотив с револьвером в руке. Потом, после испытания моста, я спросил у Попова, зачем понадобился ему револьвер. «Если бы мост не выдержал, я бы застрелился», — ответил Попов. Мост оседал, трещал, но испытания прошли благополучно и мост простоял десять лет. Вначале через него не пускали составы, но потом благополучно проходили все поезда».

С выходом Транссиба в срединную часть Сибири, на вершину ее, точнее обозначились не только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, духовные, просветительские задачи. Вспомогательный «обоз», подцепленный к локомотиву, продирающемуся в глубь восточной страны, все разрастался, и чем дальше, тем больше. Дорога сама по себе, если бы она даже шла налегке, не обременяя себя дополнительными нагрузками, несла задатки широкого преображения этого края.

Загружай, что требуется, и вези без помех — даже идеи, вкусы, нравы, манеры, новые способы хозяйствования и управления. Но дорога не обошлась этим испытанным путем колонизации, не ограничилась завтрашними результатами, тем, что при перевозках составных частей жизни сама собой устроится и новая, приличествующая времени, жизнь, а принялась одновременно со своим ходом укоренять то лучшее, без чего обходиться уже было невозможно. Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы. Вокзалы, как правило, ставились заранее, до прихода первого поезда, и были красивой и праздничной архитектуры — и каменные в больших городах, и деревянные в малых — и в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, и в Канске, Боготоле, Нижнеудинске, Зиме. Вокзал в Слюдянке на Байкале, облицованный местным мрамором, нельзя воспринимать иначе, как замечательный, на загляденье, памятник строителям Кругобайкальского участка. Дорога принесла с собой и сказочные формы мостов, и изящные формы вокзалов, пристанционных поселков, даже будок, даже мастерских и депо. А это, в свою очередь, потребовало приличного вида построек вокруг привокзальных площадей, озеленения, облагораживания. В Иркутске рядом с вокзалом поднялся красавец Николо-Иннокентьевский храм (недавно возрожденный), в Новониколаевске строитель Обского моста Н.М.Тихомиров стал строителем храма в честь святого благоверного князя Александра Невского, рядом с которым и был погребен вскоре после его освящения. К 1900 году, по Транссибу было построено 65 церквей и 64 школы, строилось еще 95 церквей и 29 школ — на средства специально созданного Фонда императора Александра III в помощь новоселам-переселенцам. Мало того — Транссиб заставил вмешаться в хаотическую застройку старых городов, заняться их благоустройством и украшением. Всюду вдоль трассы велась геологическая разведка, на Забайкальской дороге ею руководил будущий академик В.А.Обручев, его коллекция минералов была затем передана в Читинский музей. Тогда же началось вскрытие новокузнецких, анжеро-судженских, черемховских и сучанских углей. Дорога расчищала и углубляла русла рек, строила судоверфи и обзаводилась своим флотом, распахивала поля и засевала их овсом для лошадей и рожью для рабочих, осушала болота, заготавливала лес, вела дипломатию с восточными странами, в частности, с

Японией, куда могли бы приезжать для излечения и отдыха ее инженеры.

А главное — на огромных сибирских пространствах Транссиб расселял все новые и новые миллионы переселенцев.

Полусонная Сибирь в глубинках своих, точно почувствовав подземные толчки, зашевелилась, заоглядывалась вокруг: что же это такое в жизни и природе происходит?, услышала в самом воздухе неопределенный и влекущий зов и, даже оставаясь на месте, не меняя сразу жизненного уклада, ощутила перемещение: там же, где была, но уже и не там, будто сдвинулась сама ось сибирского материка.

И что бы потом ни происходило в Сибири, какие бы ветры перемен ни врывались в нее, какие бы открытия и обновления ни случались — все это по впечатлению и результатам, по общей побудке и встряске глухоманных мест, по какому-то пронзившему весь организм материка призывному гуду не могло сравниться с тем первым, что объяло необъятное и вострубило новое время — с прокладкой Великого Сибирского Пути.

Транссиб строила вся страна. Вся страна строила и БАМ в 70–80-е годы прошлого столетия, но это всеобщее участие в прокладке БАМа в благополучные времена, при технической мощи государства и всемогущем партийно-административном попечении было неизмеримо другим. «Ударная комсомольская» в избытке обеспечивалась молодыми кадрами всех квалификаций, перед потоками грузов на стройку везде и всюду загорался «зеленый свет», за финансированием дело не могло стоять, властной рукой была спущена разнарядка, какую станцию вместе с поселком какой республике возводить — какую Грузии и Армении, какую Белоруссии и Латвии, какую Азербайджану и какую Узбекистану. И ни одна республика, какой бы чванливой или строптивой она ни была, не смела отказаться, а ехала и строила в своем национальном духе, что в суровых северных условиях очень даже поощрялось. Слово «БАМ» звучало сильно и мужественно, оно было в сводке погоды и в сводке новостей, в отчетах о культурной и литературной жизни, поэтов и художников набиралось там в таком количестве, что они порой всерьез мешали работать. Для бамовцев была создана система самых разнообразных льгот, участие в стройке становилось самой почетной аттестацией при последующем карьерном продвижении.

Это не значит, конечно, что и природа в лад с государством благоприятствовала БАМу, ох, тяжеленько досталась на отдельных участках эта северная, левая рука, протянутая на восток в поддержку правой, транссибовской. Над Северо-Муйским тоннелем на бурятском участке, самым длинным в стране протяженностью более пятнадцати километров, бились 25 лет. И тем не менее большого изнурения от государства БАМ не потребовал, в первое десятилетие, решающее в прокладке трассы, страна была еще богата.

Есть, однако, мистическое совпадение: как после окончания Транссиба Россия оказалась ввергнута в пучину бедствий, продолжавшихся примерно столько же, сколько длилось строительство, так произошло и после БАМа. Огромная и великая наша страна как-то так, должно быть, устроена и на такой помещается платформе, что всякое серьезное вмешательство в нее непонятно по каким законам вызывает не глубинные сдвиги, не сдвиги земной коры, а поверхностные, социальные, которые ведут или к разрушению врожденных «артерий жизни», как было в революцию и Гражданскую войну после Транссиба, или к запущению и поруганию, как прошлись 90-е годы над БАМом.

Да, но и Транссиб, вне всяких сомнений, строила вся дореволюционная Россия. Все министерства, чье участие в строительстве вызывалось необходимостью, все губернии, и западные, и южные, и северные, дававшие рабочие руки. Так и называлось: рабочие первой руки, самые опытные, квалифицированные, рабочие второй руки, третьей... Разнарядки на эти руки в то время не могло быть, но по всей России сновали вербовщики, заключавшие договора и собиравшие артели для Сибири. Добровольный флот, курсировавший из Одессы во Владивосток, едва справлялся с перевозками переселенцев, рабочих, доставлял мостовые металлические конструкции из Варшавы, всевозможное оборудование из южных губерний, даже хлеб из Петербурга для воинских частей. Едва не вся дорога легла на уральские рельсы, мосты, за исключением крайнего востока, также возводились из уральского металла. Первоначально заданная сумма затрат в 350 миллионов рублей превзойдена была втрое, и Министерство финансов хоть и с кряхтением, раздававшимся на всю Россию, хоть и с задержками, особенно в военные годы, шло на эти ассигнования. Транссиб и особенно китайский его участок (КВЖД) подтолкнули Японию к войне, но на Транссиб же смотрели с отчаянной надеждой: только бы успеть, только бы

запустить дорогу для перевозки армии и вооружения, только бы не потерять тихоокеанские порты.

В отдельные годы, когда участки первой очереди развернули работы (1895–1896 гг.), на трассу выходило одновременно до 90 тысяч человек. Эту армию составляла довольно пестрая среда из добровольцев западных губерний, местного населения, из каторжников и ссыльнопоселенцев, солдат и частью на Кругобайкальской и Уссурийской дорогах из иностранных рабочих. Дорогу вести — не карбаз по-бурлацки в одной упряжи тянуть, поэтому, разбросанные по разным участкам, эти разнородные группы могли или совсем не соприкасаться друг с другом, или соприкасались мало. Военные работали своими отрядами, ссыльные своими. Случалось, однако, что и каторжники попадали на подряды вместе с вольнонаемными и, как показал опыт Уссурийской дороги, работали в этом случае значительно лучше.

Вообще же это была постоянная и двусторонняя, взаимозависимая проблема — недостаток рабочих рук и отношение к рабочим рукам.

Меньше всего от нее, от этой проблемы, страдала Западно-Сибирская дорога. Еще не ушли далеко от заселенных районов Урала и Тобольской губернии, да и Расея за Уралом и Волгой, поставлявшая мастеровитых строителей, овладевших набором профессий не на одной «чугунке», была еще не за тридевять земель. Каждый год на Западно-Сибирской трудилось до 22 тысяч человек, почти половина из них набиралась из местных. Очень выручали старообрядцы (как и на Забайкальской дороге, где они назывались «семейскими»). Рослые, сильные, красивые, кровь с молоком, ни водку, ни махорку не признающие, ворочавшие каждый за двоих, а то и за троих, они приходили семейными артелями, и за взятый ими подряд можно было не беспокоиться. Как только подступала деревенская страда — исчезали и, справив дома сенокос или уборку, появлялись снова. Но крестьяне и всюду смотрели на дорогу как на сезонный отхожий промысел и приливали и отливали большими партиями по нескольку раз в году, пока дорога не уходила за горизонты, где подхватывалась другими крестьянскими руками.

В Восточной Сибири, на Средне-Сибирской дороге, плотность населения была значительно меньше, чем в Западной, — полтора человека на квадратную версту. Из Европейской России сюда наезжало в год от трех до одиннадцати тысяч (по данным

В. Ф. Борзунова в его «Материалах строительства Транссибирской магистрали»), на Забайкальскую — в два раза меньше, на Уссурийскую всего ничего: около тысячи. Выход, как всегда, находился там, где желание не спрашивалось. Разрешение на использование ссыльных и арестантов на Уссурийской дороге дано было с самого начала, еще в 1891 году. Затем это позволение распространилось и на западные участки. В Иркутской губернии в начале нового века на дорожные работы было мобилизовано более пяти тысяч ссыльных и около тысячи арестантов. Вместе это составляло чуть меньше половины всех работающих. Для арестантов существовали условия: брали на стройку лишь тех, срок отсидки которых не превышал пяти лет (в таком случае они не склонны были к побегу), с последующими зачетами, т. е. сокращением срока наказания при хорошей характеристике. На Забайкальской, Амурской и Уссурийской дорогах положение спасали солдаты Приамурского военного округа и железнодорожных дивизионов. Вместе с каторжниками с Сахалина. И вместе (на Уссурийской дороге) с китайцами, корейцами и даже японцами.

Закон, провозглашенный в начале строительства, — строить дорогу русскими руками, т. е. руками подданных Российской империи, на крайнем востоке выдержать не удалось. Китайцы тысячами сваливались на стройку, как снег на голову, умоляя дать им любую работу. Случалось, что одновременно их собиралось на путях до десяти тысяч. Работнички они были не ахти какие, к тачке приспосабливались только через год, предпочитая таскать землю в корзинах, дождя боялись панически, тотчас разбегаясь по укрытиям... Но приходилось мириться со всем, другого выхода не было. В 1896 году, когда солдат прислали на стройку меньше, чем запрашивалось, начальник строительства О. П. Вяземский вынужден был отправляться в Японию и заключать договор на доставку на земляные работы 1700 человек. Привезли, устроили, расположили вдоль насыпи — и только за голову хватайся: японцы осторожно и заученно, как золотые россыпи, собирали скребками землю в совки, из совков высыпали в веревочные корзины, вдвоем поднимали на палке корзину на плечи и с трудом взбирались с нею на насыпь. В тачку помещалось содержимое трех таких корзин. Нет работников, и это не работники, пришлось отказываться от японцев, непонятно как построивших свою империю, и передавать их договорные обязательства китайцам: те все-таки были посноровистей.

Позднее, когда вернулись к Амурской дороге, П. А. Столыпин вновь заявил: «Амурская дорога должна строиться русскими руками». Только тогда от услуг китайцев отказались окончательно. Но пришлось увеличивать численность ссыльных и каторжан, доля подневольного труда в сооружении этой дороги потянула на добрую треть всех выполненных работ. Но на Уссурийской дороге русские руки — это были в основном руки солдат. За пять лет строительства их служивые ряды составили почти восемнадцать тысяч человек. В 1900 году по инициативе Приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова был поставлен военным строителям в Хабаровске на пристанционной площади памятник-обелиск с благодарным словом: «Да свидетельствует этот памятник, что воины уссурийские, стоящие грозным оплотом на отдаленном участке империи, умеют служить Отечеству как оружием, так лопатой и топором. Слава русскому солдату!»

Сооружение дорог заканчивается не так, как заканчиваются войны, когда происходит полная мобилизация отвоевавшейся армии. Случаются, правда, и на строительстве железных дорог поражения, как было с БАМом 30—40-х годов прошлого столетия, когда дорогу пришлось оставить, а рельсы с нее отправить в защищающийся Сталинград. Но это случаи исключительные и, как правило, имеющие затем продолжение до победного конца. И к победному концу постепенно происходит переквалификация армии строителей в армию эксплуатационников. Не полностью, конечно, но немалая часть строителей здесь же, на дороге, возле своего дела, запущенного в действие, навсегда и оседает.

Как и на хлебном поле: когда-то впервые проводится по непаханому, по дерну, борозда, а затем теми же руками из года в год разрабатывается и засевается.

С каким настроением строилась дорога, величие и крайняя необходимость которой, благотворный ее ход не могли не осознаваться и рабочими? Было ли воодушевление, духовный подъем, гордость за себя и свое «подвижное» дело («подвижное» и от подвига, который нельзя не признать, и от решительного продвижения к конечной цели), уходящее в бесконечность будущего? Взмывала ли от этого дела душа, показывала ли с высоты своей, если взмывала, всю, от начала до конца, струнную протяженность дороги и впряженность в нее десятков тысяч «настройщиков»? «Трудовые будни — праздники для нас» — выпадало ли хоть изредка такое ликующее состояние или все

застревало в грубом и расчетливом подряде, в бесконечной изнурительной работе и все силы забирал тяжкий физический крест?

Не так-то просто ответить на эти вопросы. Разный народ собирался на стройке, разные были условия для работы и разное держалось настроение. Композиторы и поэты на стройку не наведывались и песен о ней не слагали. А. П. Чехов ехал на Сахалин не по «железке», а пробирался по старым дорогам, речным и грунтовым, и интересовали его сахалинские каторжники не на стройке, а в кандалах. Можно не сомневаться, что и сами рабочие, тянувшие Транссиб, в минуты отдыха в сладкой муке надрывали душу популярными тогда в народе и популярными до сих пор словами: «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», представляя, должно быть: вот еще поднатужатся они, подведут дорогу ближе к Сахалину, и не придется бродяге убиваться на узкой звериной тропе, уж как-нибудь невидимкой можно будет забраться и в вагон.

Из газет того времени мы знаем, с каким восторгом встречали первый поезд и в Омске, и в Красноярске, и в Иркутске, как происходило соединение обоих уссурийских участков, на которое приезжал министр М. И. Хилков, как все отдавалось праздничным чувствам, непременно с благодарственным молебном и салютом из орудий, какие звучали речи, где устраивались торжественные обеды с приглашением всех без исключения железнодорожных инженеров. Накрывались в такие дни столы и для рабочих — отдельно, где-нибудь на ближайшей станции. Журналисты там, конечно, отсутствовали, потому и не осталось свидетельств о подробностях этой церемонии — подбрасывали ли рабочие от избытка чувств в воздух шапки и картузы, или, донельзя изнемогшие в последние авральные дни, без которых и тогда не обходилось, сразу же после заслуженной чарки проваливались в сон. Было, вероятно, то и другое. Забывались в такие дни и обиды, и несправедливости, победное ликование жителей сибирских столиц, к порогу которых подводили чудодейственные рельсы, не могло не окрылять и их, рядовых строительной армии, не могло не возносить в высоты выше местных горизонтов и не дать попарить там в горделивом огляде своего многотрудного детища.

Мы сегодня можем лишь со смутным и все-таки восторженным недоумением взирать на эту великую десятилетнюю страду столетней давности. Десятилетнюю — в ускоренном варианте,

окончательный ее ход потребовал времени в два раза больше. Но в том и другом случаях нельзя не прийти в изумление: какую же мощь человеческой энергии надо было вызвать, сконцентрировать и направить, чтобы вручную (вся тогдашняя механизация была плохой помощницей и ни мощностью, ни ловкостью не отличалась) сотворить такую махину, как Транссиб. Перешагивать через могучие реки, передвигать горы, вонзаться в них, перекрывших путь, как в мякоть, нанизывая ходы-тоннели один за другим и десяток за десятком в волшебную гирлянду, а потом в глубоких болотистых зыбунах и вечной мерзлоте выстроить подземное укрепление в тысячи километров, наподобие опущенной вниз Великой Китайской стены, над которой пошла дорога. И всего-то с помощью топора, пилы, кирки, лопаты, тачки. Да еще вагонетки, динамита, лошадки. Американских землеройных машин было мало, да они не везде и годились. На завершающем этапе работ, на восточном участке Амурской дороги неплохо помогли экскаваторы Путиловского завода... да уж очень они припоздали, лет на пятнадцать бы раньше... Электричество только-только опробывалось и заметного облегчения не давало. Работа каторжная для всех — и для вольнонаемных, и для арестантов. И для инженеров, и для солдат. И для министра путей сообщения М. И. Хилкова, который в японскую войну, когда вынь да подай дорогу для перевозки войск и пушек, а Кругобайкальская еще не действовала, дневал и ночевал на Байкале неделями и месяцами, настилая рельсы или на лед, или в нутро паромов-ледоколов. Каторжная работа! — но и результат: 500–600–700 километров прибавления ежегодно, таких темпов строительства железных дорог не бывало ни в Америке, ни в Канаде.

Но нельзя не сказать и о другом. Это, вероятно, закон мирового масштаба: чем величественнее, благороднее и чище по своему замыслу предприятие, тем больше притягивается к нему всевозможных жучков, паучков и хищников, готовых его точить и потрошить. Из всех звуков, едва доносящихся до нас за дальностью времени со строительства Транссиба, особенно различим и внятен стон рабочего от подрядчика, от работодателя, от того вездесущего пройдохи, служителя собственной наживы, который набирал артели, доставлял их на свой участок, размещал где и как придется, оснащал орудиями труда и вел учет работы, расходов и приходов. И опутывал привезенного издалека беднягу (особенно его) такой паутиной зависимости и надувательства, что выдраться из нее было свыше его разумения и

сил. Частный подряд, нечистый на руку и на душу, сплетался на стройке в один огромный клейкий и хваткий клубок, крутящийся вокруг норм и расценок, и такую получал власть, что разодрать и разоблачить его зачастую оказывалось невозможно ни начальнику участка, ни даже начальнику дороги, когда те пытались вмешиваться. Замеры работ производились на свой лад, вместо денег на руки рабочему выдавались талоны, нигде более не имеющие хождения, кроме как в лавке того же подрядчика по завышенным ценам, в ведомостях рядом с живыми душами теснились и мертвые, гоголевские, строительные материалы поставлялись некачественные. Разбой творился неприкрытый и наглый. Начальник второй дистанции третьего участка Средне-Сибирской дороги Б.Ф. Корвин-Салович вспоминает:

«Из нескольких сотен разного рода рядчиков и поставщиков, работавших на заведываемых мною трех участках, не было и одного десятка таких, которые не обнаруживали бы стремления к наживе самого недобросовестного характера. Всякая табель, составленная десятником или табельщиком, проверяется в техническом отношении конторою дистанции и оплачивается артельщиком или конторою участка. Ясно, что является полная возможность приписки в табели нескольких рабочих и затем присылки для получения денег подставных лиц, что и удостоверено лично мною расследованием через жандармскую полицию в разное время работы».

А много ли случалось таких расследований? И что они давали? Иркутский генерал-губернатор граф Кутайсов пытался навести порядок и, как теперь говорят, добиться «прозрачности» в царстве частного подряда... и вынужден был отступить. Пришлось бы останавливать работы, чтобы разобраться в этой клоаке, а работы останавливать не годится.

На Кругобайкальской дороге с 1901 года, с начала работ и до конца их, шла самая настоящая война между рабочими, с одной стороны, и подрядчиками и администрацией — с другой. Дело доходило до расправы с обидчиками, а затем полиция, как водится, расправлялась с «зачинщиками». В 1910 году с Амурской дороги ушли одновременно из-за невыносимых условий существования пять тысяч человек, прибывших из Европейской России. Легко сказать «ушли» — не в соседнюю деревню пришлось возвращаться. Работы остановились на год.

А ведь была возможность обходиться и без частного подряда, как это происходило на отдельных участках Уссурийской

и Амурской дорог. И никто не страдал — ни государство, ни рабочие, ни дорога. Но, видать, и тогда, как и в наше время, не решались поднимать руку даже на мелкие формы капитализма, чтобы не навлечь газетные обвинения в посягательстве... Как все повторяется и как все знакомо! Они-то, эти «жучки-паучки», эти расплодившиеся паразиты и поработали на славу на революцию 1905 года, широко подхваченную почти по всему Транссибу. Запалили ее, разумеется, другие, а они своим безудержным лихоимством устроили ей массовую поддержку. Богатырское дело прокладки Великого Сибирского Пути, которое должно было объединить Россию в ее могучей устремленности вперед, внутри оказалось источено грызунами, и доведено было это дело до конца с трудом, с одышкой больного организма и с остановками.

Говорят: выбрали для Транссиба не самое лучшее время, коли пришлось оно на две войны да еще и на две революции. А когда оно в России было бы лучше? Раньше отправляться в Сибирь и опыта не хватало, и казна не велела, а ее тоже войны да беспорядки опустошали. Руки развязались, сила набралась как раз тогда, когда и начали этот поход. Торопились, подгоняемые тревогой, что вот-вот это благословенное мирное время может обрушиться; торопились так, что для экономии времени и средств пошли по чужой земле, — и все-таки не успели. Проигранная война, а затем революция не могли не сбить энтузиазма, отворот дороги на чужую сторону, какими бы мотивами он ни вызывался, не мог иметь нравственного оправдания. Эпическая по своему размаху и героическая по своему характеру, большую часть своего пути прошедшая под знаком легендарной, Великая Сибирская затем поневоле принялась блекнуть и терять ореол «самой-самой», каких никогда и нигде не бывало. Хотя по сути и смыслу, по значению и велению продолжала оставаться ею, «самой-самой». Но уже без блеска, без огненных стрел, вырывающихся из топки паровоза и опаляющих гордостью сердца строителей, без вины виноватая.

А потом по своему же следу пришлось проводить вторые пути, менять рельсы, выправлять маршруты, добавлять разъезды, деревянные мосты заменять металлическими, все временное переводить на постоянное, прочное и скоростное — труды чрезвычайно нужные, но, как всякое повторение, обыденные, негромкие.

А потом возвращение на Амурскую дорогу, да еще по новым изысканиям, по непроходимым топям и вечной мерзлоте, к

которым опять отнеслись поначалу легкомысленно и были наказаны, как проклятьем, огромными переделками и затратами. Беспредельно уставшие, закоченевшие в решимости все превозмочь, скромно, в своем кругу, отмечали победы, достойные салютов, но при свечах. И шли дальше. Вошли в мировую войну. Двухпалубный пароход под бельгийским флагом, загруженный в Одессе последними металлическими фермами для моста через Амур, в Индийском океане был потоплен торпедой с германского крейсера. Новые мостовые конструкции доставили только через год. А уж подступали вплотную революция и Гражданская война.

Еще в то время, когда только-только прозвучало в мире известие о начале Транссиба, известный английский экономист Арчибальд Колькхун, сумевший сразу оценить его огромное значение, предрек:

«Эта дорога не только сделается одним из величайших торговых путей, какие когда-либо знал мир, и в корне подорвет английскую морскую торговлю, но станет в руках России политическим орудием, силу и значение которого даже трудно угадать. Сибирь — далеко не та бесплодная равнина, унылое место изгнания, какими обыкновенно рисуют ее европейцы. Напротив, это богатейшая страна, с многими сотнями тысяч акров плодороднейшей земли, с громадным минеральным фондом, — страна, полное промышленное развитие которой может со временем положить начало новой экономической эры. Но не в этом, пока еще отдаленном результате заключается главное значение Сибирской железной дороги, а в том, что она сделает Россию самодовлеющим государством, для которого ни Дарданеллы, ни Суэц уже более не будут играть никакой роли, и даст ей экономическую самостоятельность, благодаря чему она достигнет преимущества, подобного которому не снилось еще ни одному государству».

Как нельзя автора этих слов заподозрить в неискренности, так нельзя заподозрить его и в преувеличениях. Над однобоким и незаконченным строением России Транссиб сразу возвысился в государственный механизм первой величины, который потребовал активности всех его частей. С первым же ходом Транссиба Россия сразу принималась за решение двух неотложных задач: наконец-то твердою, петровскою ногою вставала на востоке, подперев надежным плечом дальние окраины и подводя к ним

животворный кровоток, и, во-вторых, населяла эти пустынные пространства энергичным народом, садившимся на не знавшие плуга залежные земли. До Транссиба Россия владела Сибирью слепо, и в сотой доли не видя, чем она владеет: что-то там, на востоке, лежит, огромное, сырое, необработанное и неподъемное, кажется, богатое до того, что богатство это под летним жарким солнцем сочится, как смола из дерева, из недр земных, но так это далеко, так тряско и долго туда добираться, что не приведи Господь, мы и ближним вполне удовлетворимся. Теперь же, пробуждая к жизни эти немереные пространства, измерив их и испробовав, старая Россия и сама протирала глаза: бедная, нищая, какой она показывала себя, с постоянными недородами и измученными пашнями, лежит она, оказывается, на пороге тучного края, в который и ходы известны, и наслежено там немало, но все второпях, не зная Сибири и принимая ее за тюрьму.

России повезло: в самое тяжкое время «не войны и не мира», когда страна ослаблена была революцией и несла в себе позорное бремя Портсмутского соглашения с Японией, министром внутренних дел и председателем правительства был назначен бывший саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. Пять лет дано было ему, чтобы залатать многочисленные пробоины в корпусе государственного корабля, всего только пять лет до его убийства, но и за это время он успел сделать чрезвычайно многое: наступили укрепление и умиротворение и появились надежды на прочное будущее. Вот такие люди и нужны были России, чтобы сбылись пророческие слова английского экономиста о роли Транссиба, вызванного к жизни, чтобы сделать Россию самодостаточной и в величии своем независимой.

При Столыпине переселенческие потоки в Сибирь, благодаря объявленным льготам и гарантиям, а также волшебному слову «отруба», дающему хозяйственную самостоятельность, сразу намного возросли. Начиная с 1906 года, когда Столыпин возглавил правительство, население Сибири стало увеличиваться на полмиллиона человек ежегодно. Раздирались все новые и новые пашни, валовый сбор зерна поднялся со 174 млн. пудов в 1901–1905 годах до 287 млн. пудов в 1911–1915 годах. Зерна по Транссибу пошло столько, что пришлось вводить «челябинский барьер», особого рода таможенный сбор, чтобы ограничить хлебный «вал» из нарастившей мускулы Сибири. В огромных количествах пошло в Европу масло: в 1898 году его погрузка составила две с половиной тысячи тонн, в 1900-м — около во-

семнадцати тысяч тонн, а в 1913 году — за семьдесят тысяч тонн. Сибирь превращалась в богатейшую житницу, кормилицу, а впереди предстояло еще раскрывать ее сказочные недра.

Перевозки, в том числе и промышленные, за несколько лет работы Транссиба возросли настолько, что дорога перестала справляться с ними. Как у загнанной лошадки, принялись подгибаться «ноги». Срочно потребовались вторые пути и перевод дороги из временного состояния в постоянное. Газета «Сибирская жизнь» в 1910 году писала: «Если допустить, что в проекте дороги была какая-либо ошибка, то о ней можно сказать: ошиблись в том, что не рассчитывали на такой быстрый рост, быстрое оживление экономической жизни Сибири, думали, что она после векового сна долго будет «позевывать да потягиваться», а она взяла встрепенулась да сразу и стала на ноги... Будем же помнить, что и в данном случае переустройство является указателем роста, признаком прогресса, символом движения к жизни, а не застоя».

И он же, П.А.Столыпин, решительно вызволил Транссиб из маньчжурского «плена» (КВЖД), вернув сквозной ход Сибирской дороги, как и проектировалось с самого начала, на российскую землю. В 1908 году десять членов Государственного Совета, в том числе министр финансов Коковцов, министр торговли и промышленности Тимашев, сенаторы Витте, Горемыкин, Протопопов и другие, все фигуры влиятельные, опытные в утверждении своего мнения, решительно высказались против законопроекта Думы о строительстве Амурской дороги, обосновывая свою позицию дороговизной стройки и напрасными затратами на «этот пустынный край». Отвечая им, Столыпин говорил:

«Наш орел — наследие Византии — орел о двух головах. Конечно, сильны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого, вы заставите его только истечь кровью. При наличии соседнего густонаселенного государства эта окраина (Забайкалье и Приамурье. — *В. Р.*), богатые золотом, лесом, пушниной, большим пространством пригодной для культивирования земли, эта окраина не останется пустой, в нее проникнет чужестранец, если раньше туда не придет русский. Если Россия будет продолжать спать летаргическим сном, эта окраина будет пропитана чужими соками, а когда проснется, останется русской лишь по названию».

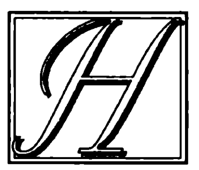
Укладка пути на Амурской дороге, на самом последнем прогоне русского Транссиба, закончена была в 1915 году. Бывший студент-практикант Петербургского института путей сообщения А. В. Ливеровский, забивавший первый костыль при начале Транссиба возле Челябинска, теперь поседевший более чем за двадцать лет беспрерывной работы в Сибири начальник строительства самого восточного, окончательного участка Амурской дороги, забил последний, серебряный костыль. И, должно быть, замер, оборотив мужественное, иссеченное ветрами и невзгодами лицо к западу, где непрерывной и бесконечной нитью пульсировала, гудела и сверкала особым блеском из пота и удали русского человека вся Великая дорога. Это была торжественная минута, одна из тех, самых дорогих, которые вписываются не только в исторические летописи, но и в генетическую память народа.

Все. История строительства Транссиба закончилась, начиналась история его эксплуатации. Начиналось «хождение по мукам» Гражданской войны, когда калечили и взрывали дорогу поочередно то белые, то красные, восстанавливали и снова калечили, чтобы не досталась врагу. Все перемогла она вместе с народом, с тем самым народом, который, как судьбу свою, как памятник своему мужеству и терпению, как «вечный двигатель», пронес ее на руках через всю начертанную ей для службы земную обитель и бережно уложил: работай, матушка!

С той поры и работает. Дала от себя многочисленные побеги к северу и югу, окрепла и возмужала, налилась соками, похорошела, раскинула объятия свои на весь мах сибирских далей. Вместе с народом воевала и вместе строила, выстояла в смуту 90-х годов минувшего столетия, не потеряв достоинства и не отдавшись в чужие руки, нигде и ни в чем не нарушив присягу Отечеству...

Хорошо, «путем», смастерили дорогу, верное ей дали направление и воспитание.

НА АФОНЕ



а Афон я зван был давно. Конечно, не с самого Афона, приглашения оттуда ни для кого не рассылаются, а всем тем, что слышал и читал я о нем со времен молодости. Вначале было только слово, овеянное святостью и суровостью ее исполнения избранными на избранной земле, спасительным чистым дыханием и смутным зовом. Читали же мы и Гоголя, и Тургенева, и Лескова, и Достоевского, и Толстого... никто из них не обошелся без этого слова. Среди подобных ему, таких, как Оптина Пустынь, Валаам, Соловки, оно было первей и выше, где-то как бы на полпути к небесам. Лучезарным горним духом струилось оно, сладкими воспоминаниями тех, кто приносил его в Россию.

А потом я прочел дивный очерк об Афоне Бориса Зайцева, приезжавшего туда из Франции в 1927 году. Очерк художественный и возвышенный, мягкий и нежный... никак не хотелось русскому человеку, потерявшему Родину и словно бы обретшему здесь ее предшествие, — никак не хотелось Зайцеву заканчивать его, и он уже без всякого порядка, только бы не отрываться, добавлял и добавлял к нему новые главы. Из Русского Зарубежья присылали мне рождественские и пасхальные поздравления на афонских открытках с видами Пантелеимонова монастыря, Андреевского и Ильинского скитов... Представлялось, что это и есть райские кущи, нечто небесное, склонившееся благодатным соступом. Афон под пером Константина Леонтьева, суровый и многоликий, разбитый на многие десятки монастырей, скитов, келий и калив (келья, когда она отдельно от монастыря, — это общежитие на пять-шесть человек с домовой церковью; калива — отдельный домик без церкви), составленный множеством форм и оттенков монашеской жизни, как оно и есть по большей части до сих пор, — этот «приземленный» Афон не отрезвил меня. Ну да, это, может быть, не совсем рай, но из того,

что можно создать на грешной земле, это к раю ближе всего. «Аскетический рай» — услышал я потом на Афоне. И навсегда запомнились слова К.Леонтьева о сути более чем тысячелетней афонской житийности: «чистота и прямота православия». Суть эта постоянно подтверждалась и воспоминаниями паломников. Все они возвращались со Святой Горы в радости: есть там, среди ее насельников, крепость такой духовной кладки, что ничем ее, ни грубой силой, ни сладкой «прелестью», не взять.

Думаю, многие живут с этой надеждой: есть такая крепость, против которой бурлящий в грехе мир бессилен.

Через полвека после революции 1917 года на Афоне оставались единицы русских монахов. Но и они выстояли.

Чтобы попасть на Афон, требуются две визы: греческая, поскольку это греческая территория, и собственно афонская, потому что это автономная монашеская республика со своим управлением и своими законами. И потом убедились мы: полиция на берегу подле каждого монастыря греческая, под греческим флагом справляет она свою службу, но придана для охраны и внушения приезжим местных нравов в том случае, когда о них забывают.

Мы ехали втроем: Савва Ямщиков, известный искусствовед, реставратор и в последние годы писатель, в любом конце планеты через полчаса отыскивающий знакомых; Анатолий Пантелеев из С.-Петербургского университета, неутомимый кино- и фотолетописец почти всех патриотических событий в России на протяжении лет тридцати, и аз грешный. Поездку нам облегчила дружеская помощь советника российского посольства в Афинах Леонида Решетникова. Десять лет назад мы сошлись в Болгарии, где он тогда работал, побывали в одном из монастырей под Софией и, вдохновившись, решили непременно съездить на Афон. Из Софии до Афона рукой подать, из Москвы подальше, а из Иркутска совсем далеко. Потребовались годы и годы, чтобы собраться. Но вот они позади, на посольской машине мы катим из Афин в Салоники, там пересаживаемся на консульскую машину и в день добираемся до курортного приморского городка Уранополи, где к нам присоединяется Максим Шостакович, сын композитора и сам хорошо известный в мире дирижер. Уранополи — край Большой земли, дальше по воде. Утром мы поднимаемся на паром под названием «Достойно есть». Анатолий Пантелеев, не медля ни минуты, хватается за кинокамеру, как только по левому борту обозначаются каменистые афонские берега, и тут же перед ним вырастает фигура служителя порядка

и объясняет, что кинокамера на Святой Горе запрещена повсеместно без всяких исключений, а на фото природу пожалуйста, но в монастырях и тем более в храмах тоже нельзя. И потом на каждом шагу приходилось нам встречаться с особыми и нестареющими, как были они приняты тысячу лет назад, афонскими установлениями. Нравятся они или не нравятся, а будь добр выполнять. Никаких неудобств это, надо сказать, не доставляет, а беспрекословное подчинение древним законам невольно даже и возвышает, обдает дыханием вечности.

Тут все «достойно есть».

Афон, случается, называют островом — должно быть, из-за труднодоступности его по горным тропам из греческой Фракии, откуда длинным трезубцем уходят в Эгейское море вытянутые гористые отросты. Один из них, восточный, и есть Афон, тысячелетнее царство двадцати православных монастырей. Скалы преграждают путь к нему сразу же по выходе в море, на другом конце этого отроста-полуострова величественно высится Айон-Орос, Святая Гора, поднятая от подножья более чем на две тысячи метров. Издали она кажется необитаемой, однако в ясную погоду на вершине ее видна церковь, а склоны ее при приближении оказываются утыканы норами-пещерами, где, непонятно как выживая, многими столетиями искали себе сверхсурового жития монахи-пустынники. Святая Гора дала название всему Афону; на афонских иконах над нею и простерла свой защитный плат-омофор Богородица. Это Ее земной удел, здесь Она проповедовала местным жителям Евангелие. Предание говорит, что по жребию между апостолами предстояло Ей это служение в Иверской земле (в Грузии), но уже с дороги волею небес направлена была Богоматерь сюда и стала просветительницей и защитницей Афона.

Из конца в конец по каменистому гребню, спадающему по бокам к берегам, протянулся Афон на сорок километров, имея в поперечнике от восьми до двенадцати километров. Сверху смотреть — точно звезды небесные, срываясь, засеяли эту землю и дали волшебные всходы — монастыри и скиты с задранными вверх маковками церквей. А вокруг них выбиты из камня виноградники и огороды и от одного монастыря к другому проторены узкие, нередко нависающие над ущельями, лесные тропы. Тут всюду древние, переплетающиеся, как морщины, тропы, тут от молитв все кажется живым, молвящим, и воздух сладостно насыщен молитвами, как запахами весеннего цветения.

Первые русские иноки поселились на Афоне в глубокой древности, возможно, еще до принятия христианства князем Владимиром. Выбор веры с направленными в разные стороны послами — это только легенда, должная украсить сам акт крещения: задолго до того христианкой стала княгиня Ольга, бабушка Владимира Святославовича, христианская община в Киеве с каждым годом разрасталась, по преданию в своем апостольском служении Андрей Первозванный доходил до онежских вод и новгородских земель. Тесные связи с Царьградом не могли не убеждать, что под размер плавкой русской души ничто другое и подойти не может, кроме «радостной», уносящей на небеса, византийской веры. И делом Владимира Святославовича было закрепить своей великокняжеской волей этот зов восприимчивости и придать ему окончательный характер. Сомнений в том, что эта вера и есть своя, родная, к тому времени, я думаю, не оставалось, и Новгород бунтовал не потому, что предпочитал мусульманскую или иудейскую, а потому, что глубоко врос в свою старую, языческую.

Историю русского иночества на Афоне обычно начинают с 1169 года, когда актом Верховного управления Афонской Горой русским, обитавшим в скиту Ксилургу, был передан во владение небольшой захудавший монастырек «Фессалоникийца». При этом подразумевается, что русских в Ксилургу было немного и пребывание их там длилось недолго. Но скит Успения Богородицы (Ксилургу) упоминается в актах управления с 1030 года и позднейшая (1142 года) опись имущества в нем, в том числе рукописных книг и церковной утвари, не оставляет сомнения: русские здесь обретаются давно и отличаются высокой христианской культурой. По акту выходило, что это одна из самых крепких обителей. И монастырь св. Пантелеимона передавался русским не для облегчения их участи, а для спасения вконец обезлюдевшего монастыря. При этом и Ксилургу, как скит, оставался за русскими же, которые частью переходили в монастырь и частью оставались в скиту. Уже в XV веке преподобный Нил Сорский, основатель русского скитского жития, именно здесь, в Ксилургу, среди богатого книжного собрания и практического монашеского «умного делания», пожинал духовную жатву, которую и перенес затем за Волгу.

Были в истории Свято-Пантелеимонова монастыря совсем скорбные страницы, когда русских оставалось раз-два и обчелся и почти вся братия состояла из греков или сербов. Были времена, когда не оставалось ни одной души и Руссик держал свое имя

только в надежде на будущее. После татаро-монгольского нашествия, во времена которого всякая связь с Русью оборвалась и всякая поддержка иссякла, удались полтора века благополучия, особенно заметного при Иване Грозном, который считал себя по бабушке Софье Палеолог наследником византийских императоров и византийской веры и был щедр к Афону. Затем Смута, снова полная оторванность от России, снова крайняя бедность монастыря, которая дошла до того, что пришлось закладывать едва ли не все свое имущество. Затем «просвещенный» XVIII век, оказавшийся для Руссика не легче татар и Смуты. Побывавший в 1726 году на Афоне киевский паломник Василий Григорович-Барский застал в Свято-Пантелеимоновом всего четырех монахов — двух русских и двух болгар. Спустя столетие последние насельники оставили Горный Руссик и спустились на побережье, где в течение нескольких десятилетий обустраивается новый, теперешний Свято-Пантелеимонов, самый красивый и величественный на Афоне. Почти два столетия минуло, но и сегодня каждый монах назовет имена попечителей и строителей этого монастыря — игумена Савву, князя Скарлата Каллимаха, иеромонаха Аникиту (в миру князь Ширинский-Шихматов), иеромонахов Павла и Арсения. Последний несколько раз ездил в Россию за «милостынными» сборами, которые составляли немалые средства.

Вторая половина XIX столетия при царствовавших Александре II, Александре III, а затем и Николае II стала для Русского Афона воистину «золотой». Потекли пожертвования, из казны ежегодно выделялось на афонские нужды по сто тысяч золотых рублей. За хороший тон принялось посещение Афона великими князьями — разумеется, с богатыми дарами. В 1902 году закончено сооружение самого большого на Афоне собора в Андреевском скиту, который по богатству и числу насельников вполне мог войти в число монастырей, когда бы не старинное и неукоснительное правило не переходить за черту имеющихся двадцати. В начале XX века только в обители св. Пантелеимона насчитывалось две тысячи монахов да почти две тысячи рабочих, а вместе с Новой Фиваидой, Андреевским и Ильинским скитами, вместе с келиотами (обитатели келий на пять-шесть человек) и пустынниками, русских монахов в то время было за пять тысяч, больше, чем всех остальных, вместе взятых.

Ну а затем революция, Голгофа Русской Церкви, полностью прерванное с Россией сообщение, забвение и нищета, потерянные все до единого скиты. В 1968-м в Свято-Пантелеимоновом

монастыре оставалось восемь насельников. В том году он дважды горел, запускались огороды и пасеки, омертвевали мастерские.

В соборе Покрова Богородицы показали нам совершенно потемневший, «угольный» образ Спаса. Он почернел в неделю в июле 1918 года, в те дни, когда зверски была уничтожена в Екатеринбурге царская семья. Известие об этом злодеянии дошло до Афона позже, а тогда, ничего не понимая и пугаясь, пытались очистить, проявить нерукотворный образ Спасителя на иконе — нет, в безысходной скорби он так и остался навсегда темным.

Сейчас в нашем монастыре 55 насельников. Есть и пребывающие за монастырскими стенами, изредка спускающиеся с гор, но их немного. В невероятно суровой аскезе, в беспрерывной молитве (в «беспрерывной» не ради красного словца, есть труженики молитвы, не оставляющие ее ни на час), вымаливавшие Россию и, может быть, вымолившие ее, они ушли в вечность. И теперь показывают только места их обитания — в землянках, пещерах, в дуплах вековых дубов и платанов.

Через полтора часа хода вдоль афонского берега, густо заброшенного отслоившимися от скал валунами, древними до того, что в сердцевине их видна желтоватая крошка, — часа через полтора по левому борту показался и наш монастырь, до боли сердечной узнаваемый по открыткам и рассказам, словно вдруг приподнявшийся, оборотившийся к нам приветливо золотом своих многочисленных главок. «Достойно есть» так мягко прильнул своей широкой кормой к причалу, что не почувствовалось и толчка. Мы были единственными, кто сошел здесь, поэтому встречавшему нас монаху не пришлось гадать, кто его гости. Он быстро и решительно подошел, пока мы озирались, представился отцом Философом и так же решительно, но не торопясь, обычным своим спорым шагом повернул вправо и повел нас вдоль длинного, казавшегося приземистым, пятиэтажного здания, протянутого по берегу моря. Мы отставали; о. Философ приостанавливался, давал нам приблизиться ровно настолько, чтобы не вступать в разъяснения, и устремлялся дальше.

В этом здании и располагался фондарик — гостиница для поклонников. Здесь особый язык: многое из того, что носит греческие названия, за столетия было подвернуто русскими насельниками под свое произношение. Так архондарик превратился в фондарик, а поклонниками ласково называют па-

ломников, которые едут не только интерес свой удовлетворить, но и поработать, помочь монастырской братии. Но прежде всего — молиться и молиться.

В фондарике на верхнем этаже о. Философ покормил нас с дороги. Только дважды, в день приезда и в день отъезда, приглашали нас за этот небольшой гостевой стол возле окошечка в кухонку, откуда и подавались незамысловатые блюда. Обычно же, как и полагалось в определенные часы, кормились мы в общей трапезной вместе с братией, под чтение из Святых отцов и торопливый и строгий чин вкушения пищи. Бесед здесь за столом не ведут; общая молитва, перестук ложек под голос чтеца, снова общая молитва — все деловито, размеренно, движение в движение, локоть в локоть. Мы были на Афоне в марте, в Великий пост, когда воздержание и молитва для братии превращаются в самое дыхание. По средам и пятницам трапеза только раз на дню. Но пища сытная, по воскресеньям предлагается вино.

Нас о. Философ, называемый здесь фондаричным или гостинником, что входит в обязанности эконома, на скорую руку покормил овощным салатом, обильно политым оливковым маслом, и чечевичной кашей. В избытке был мед. Засиживаться не пришлось, все в монастыре, за исключением церковных служб, делается в заведенном хорошем ритме — как по часам особого хода, ускоряющим движение стрелок между службами и замедляющим их в долгие часы молитвенного стояния.

Но Афон действительно живет по особому — византийскому — времени. С заходом солнца стрелки часов переводятся здесь на полночь и начинаются новые сутки. На выходе из фондарика на стене слева висят рядышком совершенно одинаковые часы современной круглой формы: на одних европейское время (это для гостей и паломников) и на вторых — византийское, древнее, при котором жили еще Отцы Церкви. Самое большое расхождение, естественно, зимой, в короткие декабрьские дни, самое малое — в летнее солнцестояние. Монахи шутят, показывая на одни и другие часы: одно время торгашеское (это европейское) и второе — Божье. Это непривычное и, казалось бы, неудобное существование во времени, когда утро наступает без утра, а ночь является при свете, хоть и заставляло блуждать между Грецией и Византией, очень меня, однако, воодушевляло, как доказательство того, что я и в самом деле попал в глубины таинственной древности, которая только что приняла благодатную веру и примеривает ее на народы. Подолгу порой ничто не опровергало этой уверенности: море, во все дни тихое, чуть

колеблющееся под волной, каменные развалины какой-то допрежней цивилизации, счастливо найденное пристанище человека в новых градах под водительством мудрейших и святейших, доносящееся со службы хоровое пение, сладко звучащий колокольный звон...

Моя келья в фондарике была, как и полагается, бедна. Вытянутая к единственному, глубоко сидящему в крепостной стене, окну, она и не позволяла иного, чем было передо мной, расположения обстановки: узкая кровать с панцирной сеткой справа от окна застелена суровым суконным одеялом, над головой простенькие картонные иконки, слева повидавший виды ободранный столик, на нем лампадка. И ни табуретки, ни стула. Однако, заглянув в келью к своему товарищу Анатолию Пантелееву, я обнаружил у него целых три стула. Подобной несправедливости от Афона нельзя было ожидать, и один стул, который и в светской гостиной смотрелся бы неплохо, немедленно был мною присвоен. Электрическая лампочка над входной дверью в моей келье тусклая, незаметная, я ее только на третий день и обнаружил, да в ней и надобности не оказалось, ибо при свете и солнце электричество ни к чему, а с заходом солнца в византийскую глухую полночь оно выключается.

Бедность бедностью, но зато какая благодать! Окно выходит на море, и волны недремно бормочут и качают в те недолгие часы, когда падаешь в кровать и укрываешься монашеским одеялом. Ночью под захлебывающийся звон колокольца, которым подымают на службу (теперь уже, как во времена Бориса Зайцева, не бьют в било, а обегают с голосистым колокольчиком все коридоры), — ночью, поднятый со сна, вздуешь лампадку, заправленную оливковым маслом, и так хорошо сразу станет от душистого трепетания фитилька. Длинным-длинным коридором, в конце которого над дверью душевой и туалета едва мерцает световой квадратик, ощупью нашариваешь ногами выход, слышишь вокруг торопливые шаги и выбираешься наконец под звезды и колокольный звон.

Наш фондарик, как и все второстепенное, вспомогательное, как склады, мастерские, костница (особого рода кладбище почивших, которые после кончины оборачиваются в холстины и безгробно опускаются в могилы на три года, а затем черепа и кости их изымаются, промываются вином и на полках аккуратно складываются в помещении, называющемся костницей) — все это и многое иное из подсобной службы вынесено за стены собственно монастыря. Здесь тоже монастырь — во имя живота. А

уж дух там, за толстой каменной оградой, где уже и не земная обитель, где все тесно заставлено «божьим», говорящее Его языком, чистое, бесскорбное. Два собора в монастыре: в центре монастырского квадрата — целителя Пантелеимона и в глубине слева за звонницей, над широкими лестничными проходами, поднятый по-над морем собор Покрова Богородицы. И более десяти параклисов — домовых церквей. Последняя из них — во имя Еввулы, матери Целителя, достраивалась при нас. Тут же, во внутреннем монастырском городке, библиотека с хранилищем древностей, покои игумена и духовника, общежительный братский корпус. Напротив главного собора — трапезная, удивляющая размерами, широко распахнутая во все стороны, с могучими деревянными столами в несколько рядов, с тяжелыми длинными скамьями... Видно, что ставилась трапезная во времена многолюдья. Сейчас она не заполняется и на четверть.

На знаменитой звоннице по-прежнему самый большой и самый звучный на Афоне колокол, но не тот, которым восхищался Борис Зайцев (в 818 пудов; его в войну немцы отправили на переплавку), но и теперешний «перепоет» любой другой. А под звонницей и все иное устроено и настроено как в слаженном и чутком инструменте: мягко шумит море, из одного из параклисов (и не понять, из какого) в сладкой муке звучит хор, слышится речитатив чтения, и ветер погудывает то ли в тесноте двора, то ли путается среди многочисленных переходов, коридоров, лестниц и галерей.

Еще при свете в первый же день мы успели на вечерню. Все тот же о. Философ привел нас в собор св. Пантелеимона и указал стасидии, которые мы можем занять. Стасидии — это высокие узкие сиденья с подлокотниками, облегчающие многочасовое стояние на ногах. С моего места у боковой стены перед колонной в переднем приделе храма не видно было чтецов, на два голоса читающих у клироса; я вслушивался, но в полумраке и густо и недвижно стоящем воздухе и слышно, и видно было плохо; монахи рядом соскальзывали со стасидии, бросались на колени и распластывались на полу. Я повторял их движения слепо и неловко, опаздывая, громко стуча коленками. Но это продолжалось недолго, служба как бы отыскала меня, подхватила, помогая узнавать и понимать все ее движения, стало легко и радостно, нахлынул восторг, что наконец-то я здесь, куда нельзя было не приехать.

Вечерня продолжалась часов пять, глухой ночью мы вернулись в свои кельи, я постоял перед окном, вслушиваясь в ко-

лышень моря, затем с чувством необычайной легкости и освобожденности от всего-всего, что еще недавно теснило меня, не возжигая лампадки, разделся и лег. Так хорошо, так покойно и уютно! Сонная волна лизала берег неравномерно, музыкально, чуть взбулькивая на пятом или шестом касании. В коридоре ни звука. Неужели там, откуда мы приехали, в больших городах огромной несчастной страны, в городах, превратившихся в скопища зла, продолжают сейчас визжать и кричать перед экранами, изощряться в пошлости и бесстыдстве, лезть грязными руками и грязными словами в душу, зазывать в бесконечные игры и викторины с призами... Нет-нет, ничего больше нет и не будет. Так хорошо!

И только закрыл я глаза — над самым моим ухом раздался требовательный гром; показалось, что бухнул сурово большой монастырский колокол. Он обратился в колокольчик, как только я пришел в себя, с суматошным трезвоном пронесся по нашему третьему этажу, спустился на второй или поднялся на четвертый, потом снова на нашем встряхнулся с силой два-три раза, давая знать, что побудка закончена. Вот тогда и ударил вполголоса глухим боем монастырский царь-колокол.

В коридоре послышались первые шаги. Я вышел; в полной тьме далеко вправо висело тусклое световое пятно. Вытянув на стороны руки, чтобы не натолкнуться на стены, делая ими движения вроде гребков, я двинулся к нему. На обратном пути слабые мои глаза уже и совсем ни на что не годились. Пришлось окликать Толю Пантелеева, келья которого находилась напротив выхода. Впереди, со стороны моей кельи, отозвался Савва Ямщиков. Дозвались Толю и выбрались на улицу. Шел снег. Снова валко ударил на монастырском дворе колокол, сбивая с нас остатки сна, и мы заторопились. Чуть больше двух часов отпущено было пастве на отдых, и вот снова служба, снова подготовление себя к освобождению от всего ненужного, мирского, отяжеляющего — словно бы вход в невесомость. Храм в полутьме курится свечами, тускло блестит золото икон, едва слышно пробираются к стасидиям припозднившиеся, шелест общего движения, когда соступают со стасидий и снова занимают свои места. Случаются дремлющие монахи, изможденные недосыпанием. Грех невелик, тяжело монашеское тягло, да еще в Великий пост. Теперь шла вторая седмица Великого поста.

Служба здесь спокойней, строже и глубже, чем в миру. Нет непрерывных хождений, перемещений и волнений, когда передают свечки или пробиваются, чтобы приложиться к иконам.

Свечи здесь храмовые, к иконам прикладываются после службы, вереницей проходя перед образами и мощами. Монах на службе старается быть незаметным, невидимым, у него все внутри, ничего внешнего. Он весь покорность и твердость. Твердость в вере и покорное подчинение всему, что она требует.

Меня удивило: исповеди перед причастием после многочасовой литургии здесь долги, и духовник, принимающий исповедь, редко когда подталкивает к продолжению. Какие, казалось бы, у монаха грехи, если кроме работы и молитвы он ничего не знает, и, помимо общих, занимающих полжизни богослужений, существует у него еще и «келейное правило», разное в разных степенях пострижения, доходящее у схимника до полутора тысяч поясных поклонов (после молитвы поклон, после молитвы поклон — и так тысячу и еще полтысячи раз). Какие тут грехи, где их набраться? Но монашеское понятие греха далеко от нашего, едва ли не каждый из нас «чудище» в сравнении с ними. Но и в их подвиге самовоспитания, доходящем до самоистязания, и в их битве над телесным в себе находят они «недостойное», какие-то ухищрения и послабления, которые ставят себе в вину, какие-то ошибки в «правописании» души. И чем дальше инок в своей аскезе уходит от мира, тем требовательней он к себе становится.

В фондарике я не однажды встречал молодого человека лет 25–30 с рыжей топорщащейся бородкой. Мы раскланивались в коридоре и расходились, он был явно не из праздных паломников, не из верхоглядов. Но на второй, кажется, день он подошел, представился и попросил меня прочитать несколько страниц его сочинения. Я не обрадовался: даже и здесь не избежать рукописей. Но здесь и отказать было бы нехорошо. Девять страниц оказались до того плотно с обеих сторон уложены мелким машинным шрифтом (такой был когда-то у машинки «Москва»), что стоило немалых усилий раздвигать слова и понимать смысл. Это было горячее покаяние перед Господом. Я начал читать с настороженностью: уж где-где, а здесь, на Афоне, как бы излишним было, коли находилось время для сочинений, отдаваться этому жанру, потому что тут ближе и верней всего воспользоваться прямым обращением, не прибегая к литературной форме. Но чем дальше я читал, тем больше убеждался, как глубоко и искренне это покаяние, будто автор сдирал с себя влипшие глубоко в плоть рубашку за рубашкой, самосоткавшихся из неправедной жизни и покрывшихся язвами, и все никак не мог добраться до дна... можно бы сказать, до дна своей падшести, но никакого

особого падения он и указать не мог, а только раскрылись однажды широко глаза и ужаснулся миру, в котором пребывал и чувствовал себя в нем совсем еще недавно почти удобно.

Он из Москвы, бывший журналист. На Афоне уже полгода, надеется на постриг. Но решись он написать свою исповедь там, в миру, — не хватило бы слов: там их, годных для покаяния, остается совсем мало. Там мы в глубины свои не умеем или боимся заглядывать. А тут уже через месяц-два точно раскрылись недра и истекли чистые чувства в облачении точного и неоспоримого языка.

«— Знаешь ли, — вопрошает прошедший через этот опыт Константин Леонтьев, — сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?..»

Он продолжает:

«Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живит смиренья луч» (из стихотворения Аполлона Майкова «Ангел и демон». — *В. Р.*) Он, кажется, находил смысл его неясным.

Для меня (теперь) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во внутреннюю гордость, чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, который мою неосторожную выразительность готов как раз принять за лицемерие... Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. Идеал искреннего, честного монаха — это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, семье, к спокойствию тела и даже к веселому спокойствию духа постоянному — должны быть отвергнуты. Бесстрастие — вот идеал. Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока особого рода выразительность и силу... «Его живит смиренья луч...»

За несколько дней общения с монахами это не разглядишь. Это даже и не угадать так скоро. Это удается, быть может, лишь заподозрить... те же люди и не те, далеко ушли они от нас, но за всеми оставленными позади порогами, за всеми духовными и моральными победами встают новые испытания... и несть им числа.

Архимандрит Иеремия, игумен монастыря, постоянно бывал на службах, но стасидию свою покидал он редко: игумену

исполнилось девяносто и был он слаб. Службу обычно вел духовник Макарий. На его же долю выпало исполнение многочисленных обязанностей по киновии (это и есть общежительный монастырь). А никакое, хоть большое, хоть малое, дело без благословения здесь не делается. Константин Леонтьев в одном из своих писем рассказывает, как ему хотелось прочитать завезенную кем-то из паломников духовную книгу, о которой он был наслышан. «Но без благословения нельзя. Старец, заменявший духовника, особый наставник иноческой жизни, благословение не дает. Да еще и прибавляет: «Не понесешь ты этой книги», т. е. она не для твоего слабого ума. И что же — обижаться на старца? — К.Леонтьев рассуждает, как и надобно здесь рассуждать: — Быть может, этот монах, который назвал меня легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого наверняка, и потому лучше думать, что он прав».

У духовника, иеромонаха Макария, мы дважды были на беседах в его приемной, имели возможность наблюдать его в длинные ночные службы, исповедовались у него — и он нам нравился: спокойный, немногословный, с воодушевленным, доброжелательным и бескровным лицом, какие бывают при постоянном воздержании. Ему и угадывать не надо было: после двух дней монастырского «сидения» нам не терпелось на простор Афона и прежде всего Русского Афона. Мы были паломниками, не более того, но из разряда обыкновенных паломников нас отличало то, что любопытство наше витало над всем Афоном, над настоящим его и прошлым. Но каждый день пробрасывало снег (это в марте-то! в Греции-то!), а на третий, последний из отведенных нам здесь, он залег с ночи в горах сугробами. Мы совсем приуныли. Но после всенощной вышло солнце, потеснив над нашим монастырем собирающиеся в валы белые тучи, и все тот же о. Философ, умевший быть незаметным и появляться в самые необходимые минуты, после трапезы показал нам за оградой монастыря небольшой грузовой джип и решительно махнул рукой в сторону гор. Показалось, не нам, а джипу.

Мы поехали. Недолго по бетонке вдоль моря, затем за новевыстроенным гаражом, показывающим, что монастырь начинает поднимать из разрухи свое хозяйство, сразу в горы и снега. Каменистая дорога подтаивала дымящимися пятнами, справа сходил лесной склон, а слева глубоким обрывом лежала пропасть. Машина ползла по самому закрайку обрыва. Шофер наш, о. Никодим, выходец из русского Казахстана, крепко сбитый молодой человек, весело и с готовностью отвечающий на вопро-

сы, вел машину так уверенно, что она не смела «шалить» в его твердых руках. Потом, когда миновали пропасть, потом да, могла и забуксовать в снегу, и заюзить, и взбрыкнуть на камнях.

Великолепное это было зрелище. Белым-бело не только по земле: залеплены снегом могучие дубы и платаны, в наметах стоял кустарник, удивленно, словно глаза продравши, выглядывал из-под снега цветущий миндаль. Снег лежал в волшебном белом сиянии, застлавшим все ровно и невесомо, не встряхиваясь, не загораясь от солнца. Но часа через два, выйдя из русского Андреевского скита, не принадлежащего теперь русским, и приостановившись возле створа, с которого широко и обширно спадала низина, мы обмерли, не умея ни назвать открывшуюся картину, ни понять, где мы, с какой стороны свод небесный и где земля. Вся низина, застеленная бело-голубым снежным покровом, искрила, пыхала под солнечными стрелами, вся она колыхалась-дышала, кружилась, и огромный красавец собор, тоже белый и тоже искрящий, казалось, повис в воздухе, — в таком все вокруг было волшебстве.

Но прежде мы побывали в Старом Руссике. Его еще называют Горным, в отличие от теперешнего, стоящего на берегу моря. Это он и был передан русским в 1169 году, сюда и переселились насельники из Ксилургу. Многие сотни и сотни лет этим каменным стенам, все еще сохраняющим величественный вид, этой огромной чугунной двери, открывающейся теперь редко, но кажущейся еще прочнее. Без единого следа лежит перед нею снег, близко придвинулись сосны, березы, тополя. О. Никодим выбрался из машины и, задрав голову, дважды прокричал в монастырскую высоту:

— Отец И-о-на!

И рывком отворил могучую дверь. Навстречу нам торопился и сам хозяин, единственная человеческая душа обители, о. Иона, сторож и смотритель Старого Руссика. Савва Ямщиков, вглядевшись, немедленно признал в нем прежнего насельника Псково-Печорского монастыря при игумене Алипии. Пришлось нам прежде выслушать восторженные воспоминания об этом необыкновенном человеке, воине и строителе, мудром наставнике братии и бесстрашном воеводе в отношениях с властью, поднявшем из руин и превратившем в «картинку» Печоры. Поговорили прежде о нем, а уж потом окунулись, где были, в древнюю и все еще живую глухомань Старого Руссика. Пятнадцать лет живет тут в одиночестве о. Иона по послушанию, которое, быть может, сам же и выпросил у игумена. Затворниче-

ство его тут неполное и удобное: то к нему приезжают, привозят гостей, поручения, то сам спускается к братии на праздничную службу.

74 года, на ногу скор, глаза быстрые, нисколько не горбится. Сразу повел нас из пустоты и разрухи нижнего этажа по широкой металлической лестнице наверх, в знаменитую башню, пиргу, где собраны теперь воедино, чтобы легче было присматривать, и старинные иконы, и утварь. Здесь же, по всему судя, устроен и быт о. Ионы. А ведь знаменитая была башня, самая яркая историческая достопримечательность Старого Руссика, откуда затем пошли и укрепление его, и слава. О. Иона тут же, не мешкая, принимается рассказывать эту историю, да с таким воодушевлением, что невольно выдает в себе еще и экскурсовода, которому время от времени приходится считывать с этих стен событие, описанное в Афонском патерике. Он то подбегает к окну в глубине башни, к окну, тоже участвовавшему в событии, то отбегает к двери и указывает рукой вниз, откуда должно было доноситься в решительный час пение всенощной.

Рассказывал он из жития святого Саввы, архиепископа сербского. Звали будущего святого Растко (от Ростислава), и был он сыном сербского господаря Стефана. Дело происходило в конце XII столетия, наш Руссик только-только обживался. Каким-то промыслительным случаем судьба свела юного Растко с монахом из Руссика; шел русский инок по сербской земле и повстречал княжича Растко. Повстречались — и рассказал путник об Афоне и русском монастыре словами самыми умильными и красивыми. Растко всхотел побывать там немедленно. Он объявил домашним, что едет на охоту, а сам с русским иноком поскакал на Афон. Прошел день, миновал другой — нет с охоты княжича. Могущественный господарь призвал воеводу и приказал разыскать сына, где бы он ни был, и доставить домой. По следу русского монаха воевода с отрядом кинулся на Афон. Там, в церкви Руссика, Растко и обнаружили. Княжич поначалу умолял воеводу не возвращать его и дать ему возможность исполнить то, что просит душа. Воевода, разумеется, не согласился. Тогда Растко пошел на хитрость. Он попросил игумена устроить трапезу для своих соотечественников и посвятил его в свои планы. Игумен долго молился, прежде чем согласиться с отроком, но ведь не дурное же княжич замышлял, не от отца же он отрекался, отдаваясь Отцу Небесному. Это было в канун воскресенья, началась всенощная, она перешла в утреню. Утомленные дорогой и обильной трапезой, воеводские дружинники

задремали в стасидиях. Растко беззвучно отошел от них и поднялся в пиргу, где, не медля, произнес иноческие обеты. Священник обрезал ему волосы и облек в монашескую ризу.

Воодушевление отца Ионы достигло предела, точно при нем это и происходило. Та же была пирга, тесно, как склад, уставленная остатками имущества Старого Руссика, то же окно, которому предстояло сейчас сыграть свою роль, но наглухо теперь закрытое, и, по-видимому, навсегда.

— Здесь Растко стал Саввой, — с чувством произнес о. Иона и прислушался: всенощная закончилась, воеводская дружина очнулась и, бряцая оружием, выкрикивая проклятия, ищет Растко. Но нет больше Растко. Тот, кто был им, высовывается в окно и кричит им: «Подождите до утра и увидите меня!» Пришлось ждать до рассвета. А на рассвете в окне, вот в этом окне, — о. Иона поклонился в сторону окна в глубине башни, — показался в этом окне юноша в облачении ангельского вида и крикнул: «Сделавшееся со мной угодно было Богу!» И выбросил вниз, на землю, свою княжескую одежду, добавив, чтобы родители не беспокоились о нем, а радовались.

Вошел о. Никодим и стал торопить нас: мы только начали свое путешествие, а солнце уже оборачивалось к западу. До заката нам следовало вернуться в монастырь, это правило не имело здесь исключений.

— Тут вся Россия была с нами, — торопливо говорил о. Иона, размашисто разводя руки, когда мы уже прощались возле машины. — Тут все из России. И сосны эти, и березы, и тополя... Землю в мешках везли на огороды. И пруды заводились по-нашенски... — Он говорил так, будто жил здесь от начала монастыря, все восемьсот с лишним лет его истории.

Если Старый Руссик как бы естественно отошел в прошлое, послужив русскому монашеству верой и правдой сотни и сотни лет, и грусть обвевает это древнее пристанище молитвенников могильной скорбью заслуженно, то совсем по-другому чувствуешь себя в Андреевском скиту. До него и было недалеко, мы доехали от Старого Руссика минут за двадцать. Перед крепостной оградой, нисколько не уступавшей по прочности стен старинным сооружениям, спешились, выйдя из машины, помешкали, подготавливаясь к встрече и оглядывая бесконечное снежное царство, и уж затем прошли в скитский двор. И сразу встал справа во всю свою красу и мощь величественный собор, поставленный в честь апостола Андрея Первозванного, богато украшен-

ный, принявший святыни и торжественное облачение всего-то сто лет назад. Даже и здесь видно, что Россия входила в XX век, несмотря на революционную «кость в горле», богатырскими шагами (тот же Транссиб к Тихому океану за десять тысяч километров, то же переселение миллионов и миллионов с западных на восточные земли и т. д.). А на Афоне вот он, Андреевский собор, «столп и утверждение истины», непоколебимая ступень к Богу. Собор воздвигался попечительской поддержкой царской семьи, с его освящением русская братия на Афоне составила почти половину всего афонского насельничества. И всего-то полтора десятилетия благополучного жития-бытия. Затем мировая война, затем революция, связь с Россией полностью прекращается. В 1971 году почил последний монах. Умолкли колокола, двор стал зарастать травой, запустение пошло на приступ церковных стен, проникло внутрь, наложило свою печать на все недавнее соборное великолепие. И, конечно, неминуемое разграбление, вывоз богатств и святынь неведомо куда.

В 1992 году скит заняла грекоязычная братия. На Афоне такой порядок: скиты ставятся на землях монастырей (Андреевский во владениях греческого Ватопеда), и в том случае, если скит оставляется насельниками, он становится собственностью землевладельца. Та же участь постигла наш Ильинский скит, там не обошлось даже и без насилия: после русских из России в Ильинском поселились монахи из Русского Зарубежья, а они по каким-то казуистическим причинам, исходившим не то от Протата, не то от константинопольского патриарха, которому подчинен Афон, были выдворены, и скит подвергся разорению. Впрочем, теперь и монастыри тоже, за исключением нашего Свято-Пантелеимонова, оставлены прежними владельцами — болгарами, сербами, грузинами, молдаванами... Остаются единицы, вливающиеся в грекоязычную братию, — именно в грекоязычную, овладевшую языком, в которой могут быть выходцы и из Западной Европы, и из Америки, и из Китая.

Нам открыл собор финн, отец Иосиф. Благожелательный, симпатичный, с аккуратно подстриженной русой бородкой, говорящий и по-гречески, и по-русски. Сказал, что здесь всегда рады русским, приезжающим поклониться своей прежней обители, пригласил нас в служебную часть скита, угостил вином и кофе.

А собор, оживленный новыми насельниками, не потерял ни русскости, ни богатырской стати и сановности. И в стенах его наверняка осталась память о тех, кто его строил, освящал,

искал спасения и благодати. Главная святыня в храме — благоухающая лобная кость апостола Андрея Первозванного. Золото царских врат, устремленные в земные и небесные глубины глаза с иконных образов старого письма, высокий поднебесный купол, могучие колонны... И финн, старательно выговаривающий русские слова, угощающий нас вином с виноградника, разбитого когда-то русскими монахами.

Вот это, в отличие от Старого Руссика, неестественно и больно.

Мы пересекали Святую Гору поперек, с западного берега, где наш монастырь, через Старый Руссик и Андреевский скит в горах, на восточный берег, где Иверский монастырь, дом чудотворной иконы Иверской Божьей Матери. Карея, небольшой городок, административный центр монашеской республики, где заседает Протат (собрание представителей всех двадцати монастырей), был у нас на пути, мы даже краешком задели его, разглядев торговые лавки на узких улочках, но решили заехать на обратном пути. Отец Никодим, должно быть, не сомневался, что и на обратном пути не заедем, потому что надо будет торопиться до захода солнца в свою обитель, но не стал нас заранее огорчать.

И вот мы перед Иверской, одной из самых чудотворных и почитаемых икон в Православной Церкви. По преданию написана она, как и Владимирская Божия Матерь, евангелистом Лукой. Икона большая, в полтора метра, образ, несмотря на древность, светлый, с живыми чертами, внимательно и неустанно всматривающийся в каждого, кто подходит. Богатый, изукрашенный цветными камнями, киот нисколько не теснит образ. Под ним горкой, да и немалой, навалены драгоценности, дары получивших исцеление и просветление. В храме тишина, сумрак; кроме нас, никого. Монах, сопроводивший нас и показавший ранку на образе, след от удара копьем, вышел, чтобы не мешать нам отдаваться чувствам. Это даже и не чувства, а до жути сладкое и восторженное проникновение (попытка проникновения) в глубь тайны тех времен, когда мир чудесно освятился новыми знаменами и с радостью шел во имя их на любые страдания. И как не полчаса ли не находили мы сил, чтобы оторваться от образа, одно ликозрение которого, одно прикосновение к нему можно считать за чудо. О, Матерь Божия, Игуменья Афонская, не остави нас, ступивших в Твой Предел, своей милостью...

Иверская Богоматерь сама выбрала местом своего пребывания этот монастырь. Прежде, более тысячи лет назад, она на-

ходилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ Константинополя. Это было начало IX века, опять, как и за два столетия до того, разразилось иконоборчество. Ночью к вдове ворвались царские воины, и один из них, по имени Варвар, ударил в образ Богоматери копьем. Ударил и с ужасом увидел, что там, куда пришелся удар, над подбородком с левой стороны, выступила кровь. От страха Варвар упал на колени, потом бежал.

Спасая икону от новых варваров, вдова вынесла ее к морю и опустила в волны, в надежде, что они вынесут ее к безопасному берегу, где и обретет ее столь же, как и она, благочестивый человек. Но икона вдруг встала в воде в рост и «пошла». Сомнений не могло быть: не волны несли ее, а она решительно пересекала волны, зная, куда идти.

И пришла на Афон к Иверскому монастырю. В море неподалеку от берега поднялся огненный столб, возвещая ее прибытие. Начались чудеса. Там, где опускали ее на землю, пробивался родник; ей определяли место в храме, а она раз за разом оказывалась над монастырскими вратами, показывая, что ее служение и положение здесь — быть во главе монастыря. Впоследствии для нее выстроили церковь. Икона Иверской Божьей Матери, которую назвали еще и Вратарницей, принесла монастырю небывалую славу и почитание. Здесь, под ее защитой, заканчивали свои дни константинопольские патриархи, сюда из последних сил добирались скорбные и увечные. При царе Алексее Михайловиче был сделан и доставлен на Русь «список» Иверской, помещенный в Новоспасский монастырь, и тоже являющий многочисленные чудеса.

Надо сказать, что, спустя пятнадцать лет после того как икона Иверской Богоматери поселилась на Афоне, сюда же, в Иверский монастырь, после пострига пришел замаливать свои грехи бывший воин Варвар.

Всякие времена случались на Афоне — и благополучные, спокойные под молитвой и труждением, и смутные, и совсем уж гибельные. В 1821 году вспыхнуло греческое восстание против турок. Оно было жестоко подавлено завоевателями. «Кровь христианская лилась рекой от изуверства турок» — фраза эта взята целиком из жизнеописания одного из афонских монахов. Тысячи, десятки тысяч греков бросились в поисках спасения на Святую Гору. В декабре того же, 1821 года на Афон вступила турецкая армия. Накануне Кинот, он же Протат, принял решение, позволяющее монахам оставить Афон. Ушли не все — дороже жизни для многих были судьбы родных обителей. Спасать, обе-

регать их пришлось от двойного разбоя — от турок, захвативших монастыри и заставлявших монахов служить им и платить дань, рыщущих постоянно повсюду в поисках золота, и от доведенных до отчаяния голодом, холодом и бездомностью греков.

В жизнеописаниях того времени остались свидетельства, как занявшие Иверский монастырь турки требовали у оставшейся братии драгоценности с иконы Богоматери. «Берите сами, — отвечали монахи. — Берите, если не боитесь. Вон сколько на нашей Матушке-Игуменье богатства — и золота, и серебра, и драгоценных камней! Если вам угодно — снимайте!» Но турки, топчась в дверях церкви, не смели: «Мы не можем к ней подступиться, вон как она на нас сердито смотрит!»

В те годы порой отчаяние и тревога монахов доходили до того, что и последние из них готовы были оставить Святую Гору. Удерживала она, Иверская. Было «извещение» от афонской Игуменьи: «Пока моя икона будет находиться в Иверском монастыре, ничего не бойтесь... А когда изыду из Иверского монастыря, тогда каждый да берет свою торбу и грядет куда знает». Каждую неделю спускались с гор проверять: здесь ли Она, Владычица их и Помощница? И, застав ее на месте, возвращались ободренные и готовые претерпевать все, что грядет впереди. И так продолжалось до той поры, пока турки не оставили Афон.

...А мы, покидая Иверон, зашли еще в монастырскую лавочку, взяли образки Иверской и небольшие посудинки с афонским медом. А на следующий день при отъезде и от Свято-Пантелеимоновой братии вручены нам были баночки с медом. Эх, афонский мед! Чуть горьковатый от трав и цветов, растущих под солнцем на камнях, темный, запашистый, принявший в себя молитвенный дух этой земли, долго держащий приятную сладость во рту, — такого пробовать еще не приходилось. Не ведал Владимир Солоухин, вздыхавший не однажды с огорчением и письменно, и устно, что, де, не остается в свете медов, не подпорченных примесями и добавками, которыми человек развращает пчелу, — не ведал он, что за меды сотворяются на Афоне!

Как и из кого идет монашеское восполнение монастыря св. Пантелеимона? Говорить о решительном восполнении пока не приходится: 55 иноков на столь обширную обитель, в которой сто лет назад насчитывалось в пятнадцать—двадцать раз больше, это, понятно, скромная цифра. Но и при скромном положении монастыря. Сыщись сегодня, как в XIX веке, князь Скарлат, который после исцеления у мощей св. Пантелеимона, как говорит

предание, гнал «возы с золотом» на нужды обители, а затем и сам принял постриг, — случись сегодня такая фортуна, другой бы и счет был. Но приходится радоваться и тому, что есть: покровитель у монастыря несколько лет назад все-таки сыскался и немало помог, но уж очень велики были к тому времени прорехи, чтобы прикрыться от них даже и вполовину.

Есть и кроме бедности причины, сдерживающие рост братии. Афон — суровое испытание даже и для подготовленных к испытаниям, особенно в первые месяцы и годы, когда всякие помыслы для себя надо решительно развернуть в обратное направление — для всех. И ничего для себя. «Только Бог да исчезновение в Боге» (Феофан Затворник) — так издавна обозначено здешнее служение; на жизнь смотреть сквозь смерть — такова заповедь аскетизма. Полное самоотречение, неусыпная молитва, особый «замок» в себе, недоступный для искушений, — это имеет и на это способен далеко не каждый. А потому и не каждого, решившегося на постриг, можно вести под ножницы. Константин Леонтьев год прожил среди братии, но так и не получил пострига. Правда, по другой, по «тонкой» причине (все «тонкое» означает здесь необъяснимое, внутреннее): разглядев хорошо Леонтьева, его глубокий ум и твердые взгляды, известного к тому времени писателя и дипломата, должно быть, сознательно оставили для мира, для общественного служения. Позже он, как известно, принял постриг, но произошло это уже в России. А «тонкое» правило, сотканное из недоступных рассуждению мельчайших ощущений и предчувствий, знается на Афоне и сегодня, ибо вероятность ошибиться в человеке сегодня больше, чем всегда, а потому строже и отбор.

В случае неудачи здесь никого не держат: не выдержал, не помогает молитва, не ужился с братией — возвратят все, что вложил ты при поступлении в монастырскую кассу, и проводят на паром. По-прежнему: узки пути и тесны врата к Богу. Узки и тесны, не всем впору.

Правда, существуют и другого рода препятствия к заселению русской обители. Понять их православному сердцу трудно, особенно теперь, на пороге грозящих Афону испытаний. Но что есть, то есть. Не представляет большого труда получить визу на Афон паломнику. Но монаху!.. Тут святогорские врата нередко замыкаются накрепко. Кто воздвигает препятствия, понять трудно — то ли греческие власти, то ли константинопольский патриарх, то ли местный Протат... Одно ясно: такого благоприятствования русскому и славянскому монашеству, какое

было на Афоне сто лет назад, сегодня нет и в помине. Надолго ли — как знать...

Больше всего насельников в Свято-Пантелеимоновом из российских монастырей. От строгости они ищут еще большей строгости и аскетизма. Есть фронтовики, как почти во всех монастырях, — по обету. Один из них стоял под расстрелом и чудом спасся; он стар и на общие бдения уже не поднимается. Второй входил в полумрак храма тяжело, с батожком, едва передвигая ноги, и исчезал в глубине стасидии. Потом я видел его, когда прикладывались к иконам. Все высматривал: встречу во дворе и заговорю, но не пришлось... Да, пожалуй, и заговорить бы не смог, он был дальше всякого интереса к себе, он был уже далеко.

Есть иноки из паломников и трудников. Подолгу живут, работают, проходят все степени подготовки к монашеству и погружения в него. Есть из рабочих, приехавших на заработки и склонившихся к новому бытию. Есть из бывших наших республик, нашедших здесь духовный исток утраченной Родины. Есть судьбы обыкновенные и необыкновенные. Но это только в первые минуты знакомства: из монастыря в монастырь — обыкновенная судьба, а из мира, да с положением, с именем, с громкими заслугами — необыкновенная... А затем они быстро и естественно смыкаются в один путь, по которому направила душа, к одному служению, и уже не различить, кто откуда.

Отец Олимпий пока еще отличается от братии тонкими чертами лица, словоохотливостью, правильной речью и эрудицией, совсем недавно вынесенной из мира. Там он был академиком, доктором технических наук, зав. кафедрой электроники и электротехники Московского технического университета. Автор известных всему миру учебников по компьютерной технике. И сошел со всех этих высот, побывав на Афоне паломником, оставил славу и звания где-то там, по ту сторону жизни... Оставил, быть может, и из чувства вины перед поруганным целомудрием Божьего мира, быть может, и себя считая причастным к этому вселенскому поруганию. Мы не полезли к нему в душу, хотя разговаривали долго и о многом. Отец Олимпий провел с нами экскурсию: как прежде знал он свои науки, так знает теперь начала начал русского Афона и каждую святыню многочисленных церквей в Свято-Пантелеимоновом, все реликвии его и предания.

Обыкновенная или необыкновенная судьба? Вспомним И. Павлова, Д. Менделеева, В. Вернадского, многих других вели-

ких из научного мира, понимавших, что нет знания выше Святого писания и нет пути в сторону от Создателя. Сейчас тот и ученый, кто постиг эту истину, которая еще недавно отдавалась людям невысокого полета; впрочем, несчастная наша цивилизация, устроенная атеистами, доведена до столь очевидного результата, в такой мелкий грош превратилась человеческая жизнь, что не постичь ее, эту истину, теперь уже, кажется, и невозможно.

Для женщин Афон закрыт, для них это необитаемая земля. Запрет этот, как считается, наложен самой Игуменьей Святой Горы Божьей Матерью. Более тысячи лет назад он вошел в число основных, предержащих уставов, не подлежащих пересмотру. Монах, отсекающий свою волю в отданности Богу, отсекающий все мирское, телесное, в суровой аскезе, естественно, должен был отсечь и женщину. Даже животные женского рода не признаются на Афоне. Но, отъезжая от Иверского монастыря, мы наткнулись на резвившихся перед колесами нашей машины котят.

— Откуда? — громогласно изумился Савва Ямщиков, от удивления приподнимаясь в машине так, что показалось, будто и джип наш оторвался от земли.

— Крысы одолевают, — смущенно объяснил о. Никодим. — Пришлось временно позволить.

Приходилось, кажется, дважды или трижды за тысячелетнюю историю делать исключения и для женщин. Но случалось это во дни несчастий народных, перед которыми Афон затвориться не мог. Во дни жестокой расправы турок в 1821 году, о которой уже упоминалось, на Святую Гору кинулись в поисках спасения десятки тысяч мирных жителей. И, конечно, среди них были женщины и дети. Они скрывались в лесах, монастыри захватили турки. Затем революция 1862 года, затем фашистская оккупация и гражданская война в 1947-м. Эти попущения, о которых на Афоне лишний раз стараются не вспоминать, были результатом стихийного вторжения и укрывательства и не могут бросить тень на Афон и его законы, ибо милосердие превыше всего.

Святая Гора, как твердыня Православия, века и века притягивала к себе воинов Христовых. Их жития поражают сверхчеловеческой силой воли и духа. Инок Пантелеимоновой обители о. Парфений, из середины XIX века оставивший воспоминания, начинает их так: «Хочу описать общежительную афонскую жизнь — живых мертвецов, земных ангелов и небесных человеков...»

Но в монастырях зачастую и не ведали, до каких пределов самоотвержения и самоистязания доходили пустынники, обрекавшие себя на претерпения, сравнимые с великомученичеством первохристиан. И до каких высот духовного устроения поднимались старцы, избравшие полное одиночество. «Можно сказать, что Святая Гора подобна пчелиному улью, — читаем мы дальше у о. Парфения, кстати закончившего свои дни в моих родных местах игуменом Киренского монастыря на Лене. — Как в улье многое множество пчелиных гнезд, так на Афоне многое множество келий. Как в улье непрестанно жужжат пчелы, так и на Афоне иноки день и ночь жужжат, глаголя Давидовы псалмы и песни духовные».

Старец Амвросий (из греков), проживший на Афоне почти весь XIX век и беспрестанным подвижничеством сподобившийся жизнеописания, себя и подобных себе пустынников-келиотов ставил гораздо ниже, чем таких же страдников до них. «Когда я приехал на Св. Гору, тогда застал здесь поистине старцев и по самому виду, и особенно по духовной опытности. Бывало, мы взглянуть на лица их не смели, а если взглянешь, то невольно смежишь глаза от сияющей в них благодати, и, согбенно поникнув долу, проходили мимо их. Слово их было сильное и поселяло благоговейное к ним отношение и страх, растворенный любовью».

Накануне Первой мировой войны на Афоне, длина которого, повторим, сорок километров и ширина от восьми до двенадцати километров (это вместе с непроходимыми горами и ущельями), сияло земными звездами, колокольным звоном разливалось больше тысячи церквей. И это в преддверии времен почти апокалиптических: от Первой мировой войны и по сей день мир — как христианская часть земной планеты — так и не установился на своих духовных основаниях, заданных и вымученных первохристианами и Отцами Церкви, а мир — как цивилизация, т. е. отпавшая от Церкви часть человечества — впал в не виданные доселе помешательство и разнузданность, кои распаляются все больше и больше... прежде добавляли: «так что не видно им конца» — теперь, напротив, заслуженный и трагический вселенский конец просматривается все отчетливей.

Афон, не отдавший вражескому духу ни пяди своей земли и ни слова молитвы, остается прежним Афоном. Но незримые изменения в нем могли произойти. Когда планетарно, как сегодня, меняется климат в сторону потепления, результаты его заметны всюду, даже в самых глухих и затененных местах. На

моей родине по Байкалу и Ангаре белый гриб, житель центральной России, прежде не водился. «Неклиматно» было. Стало «климатно», и чувствует себя у нас прекрасно и продвигается все дальше на север. Плоды климатических перемен, возможно, и переносятся по воздуху, но принимаются почвой. Афон пока еще держится стойко, но духовное «потепление», лучше сказать, «ростепель», наводящая сырость и грязь, окружает его со всех сторон. Афон стоял и стоит на древних уставах и православной традиции; но именно потому, что он стоит на молитвенной традиции, глубокой и сокровенной, вросшей в его землю и пронизавшей его воздух вместе с двухтысячелетним преданием, — именно поэтому «цивилизованный» мир, ломающий любую традицию, и косится на него. Для мира-богоборца эта маленькая монашеская республика — что бельмо на глазу или кость в горле. Афонские монастыри живут в бедности; Европейский союз предлагает миллионы и миллиарды... в обмен на «права человека» и международную зону туризма. Вовсю усердствуют феминистские организации, раздувающие кадило «дискриминации женщин». Монахи в голос заявляют: ежели это дьявольское попущение допустится, они покинут Афон. Сомневаться в этом не приходится. Предложения дружеских объятий, исходящие из «свободного мира» и звучащие нередко ультимативно, уже сами по себе означают сигнал к проверке на прочность афонских стен.

В Свято-Пантелеимоновом рассказали нам историю, которая звучит как легенда, если бы не свидетели и короткие для легенды сроки. Несколько лет назад напротив монастыря встала на якорь яхта, с нее спрыгнула в воду девушка в купальнике и погребла к берегу. Только вышла на камни и приняла позу — десятки окуляров со шхуны бросились снимать это «явление». Как же — женщина на Афоне! — да ведь это сенсация, это стоит денег и денег!

Девушку полицейские согнали с берега, и она, сделав свое дело, отправилась обратно на шхуну. Чуть-чуть не доплыла — вдруг крик, возня в воде, окрасившейся кровью. Считается, что самозванку, поправшую афонский закон, разорвала акула. Но никогда прежде в этих водах акул не встречали, и откуда взялась эта, свершившая возмездие, никто не объяснит.

Второй случай, менее картинный и обошедшийся без трагедии, произошел за год до нашего приезда. Монахи нашего же монастыря натолкнулись в горах на загоравшую под афонским солнцем на камнях парочку. Парень и девушка принялись

оправдываться: катались на резиновой лодке, но пропороли днище о подводный камень, пришлось искать спасения на берегу. Монахи взялись проводить потерпевших крушение к месту катастрофы и нашли припрятанную лодку целой и невредимой. Парень был смущен, а девушка покатывалась со смеху.

Воцарившийся ныне мир, называющий себя либеральным, безнравственный, глумливый, циничный и жестокий, произошел не от доброго семени. Он не считается с грехом, изымает из обращения нравственные понятия и издевается над ними, клятва на Библии стоит не больше, чем игривые уверения в верности жене. Малое стадо не подпавших под его власть и влияние чувствует себя изгоями и не знает, куда бежать от победного и буйного куража этого мира над землей-планетой, праматерью нашей, донельзя надорванной и обесчещенной.

А на Афоне покой и мир; если даже и занялась там тревога, она не видна. Подхватываясь из храма в храм, неземными голосами звучат песнопения, коим внимает небо; грубых слов и неправды нет и в помине; усердие не знает другого назначения, кроме благого; святой дух расстилается по лесам и травам. За все три дня, пока мы здесь были, море терлось-приласкивалось с наговором о берег, украдкой бродил по кустам ветерок, хорошо видна на вершине Святой Горы церковь. Небо в последний день высокое, распахнутое, по-весеннему свежее, солнце от одной тучки скользит к другой, затем к третьей, растянутых цепочкой, и в минуту сдувает их. На невысоком откосе подле монастырской стены долго и неподвижно стоит монах и, прикрываясь ладонью от солнца, смотрит в море. В той ли стороне Россия, куда с надеждой и терпением он вглядывается, я не знаю, не могу сориентироваться. Но куда еще через море может заглядывать русский монах? Или в ожидании пришествия Того, Кто ходит по воде, аки посуху.

Март 2004

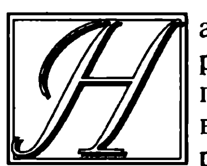
Москва,
4 мая 2000 года

Церемония вручения Литературной премии
Александра Солженицына 2000 года
и приём по этому случаю состоялись
4 мая в московском Доме Русского Зарубежья.
Слово от имени Жюри,
присудившего данную Премию
Валентину Распутину,
произнёс
Александр Исаевич Солженицын.

С ответным литературным словом на церемонии
выступил
Валентин Григорьевич Распутин.

Александр Солженицын

Слово при вручении Премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000



а рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого «соцреализма» не было объявлено и диктовано, — нейтрализуя его немо, стала писать *в простоте,* без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал этих писателей был — деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать *деревенщиками.* А правильно было бы назвать их *нравственниками* — ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.

Едва ли не половину этой писательской группы мы теперь уже схоронили безвременно: Василия Шукшина, Александра Яшина, Бориса Можаева, Владимира Солоухина, Фёдора Абрамова, Георгия Семёнова. Но часть их ещё жива и ждёт нашей благодарной признательности. Первый средь них — Валентин Распутин.

Валентин Распутин появился в литературе в конце 60-х, но заметно выделился в 1974 внезапностью темы — дезертирством, — до того запрещённой и замолчанной, и внезапностью трактовки её.

В общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чём наша история сумела смолчать, знал лишь уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но

Новый мир, 2000, № 5.

в отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин — переступил этот запрет. Правда, и представил нам случай гораздо сложнее: заслуженный воин всю войну, три ранения, последнее особенно тяжёлое, и госпиталь в Сибири неподалеку от родных ангарских мест; других в таком виде демобилизуют или хотя бы в краткий отпуск, нашего героя — нет. А война — явно при конце, тут особенно обидна ему смерть — и он дрогнул. Тайком вернулся в окрестности своей деревни, даже родителям не открылся, только жене Настасье.

Она помогает ему таиться, через Ангару скрывно перебирается то в зимнюю метель, то, потом, по открытой воде. Ошеломлена его побегом, но всё делает для его жизни. Изворачивается в сокрытии перед родными и окружающими. До войны прожили 4 года — не было ребёнка, и вдруг теперь она зачала. Для него — это высшая радость: «теперь... хоть завтра в землю!», «да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком?!» (Невозможнейшая фраза на советских страницах!) Для Настёны — догружается неизбежность раскрыва беременности и позора. Сюжет складывается не из издуманных поворотов, а из простых жизненных обстоятельств, как они естественно текут. Повествование не спешит, оно просочено сибирской натурой, — а события развиваются плотно. В центре всех напряжений — Настёна. Оттенки страхов, надежд, нарастающих мучений — совсем не литературными приёмами вылепляют нам яркий женский образ. Свекровь выгоняет Настёну из дому, в деревне кто любопытствует, кто насмехается, — Настёна теряет чёткость чувств и мыслей, у неё нарастает ощущение неотвратимости беды. «Казалось — это последний день, что ей ещё можно быть с людьми». У властей возникают подозрения о дезертире, Настёна мечется предупредить мужа об угрозе, за ней и по ночной реке следят в лодках — и чтоб не выдать пребывания мужа и облегчением от невыносимого состояния — она утопляется в Ангаре, вместе с нерождённой, так желаемой, жизнью.

В повести малыми средствами выставлен нам ещё десяток характеров — и вся заброшенная сибирская деревня, где скудный вдовий праздник окончания войны — щемит, посильнее батальных сцен у других авторов. В густеющем мраке находится место и просветлённому лучу — извечной крестьянской трудовой радости сенокоса, без него была бы и Настасья неполна: она

> любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа — и вот уже идёшь не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мёртвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье.

Через два года после «Живи и помни» Распутин издаёт своё сильнейшее произведение — «Прощание с Матёрой». Это прежде всего — смена масштаба: не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие — не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже ещё огромней: какой-то неведомый поворот, сотрясение — расставание и для нас всех. Распутин — из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами.

От первой страницы повести мы застаём деревню уже обречённой к уничтожению — и сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием — и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце.

Вся ткань повести — широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей.) Сколько чувств — о родной земле, её вечности. Полнота природы — и живейший диалог, звук, речь, точные слова. И — настоятельный у автора мотив:

> Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без её — сразу заметно. А теперь — холера разберёт, всё смешалось в одну кучу — что то, что другое. Мы теперя так и этак не своим ходом живём. Люди про своё место под Богом забыли.

Пришли пожогщики, «набежники из совхоза», и жгут одно за другим, что пустеет. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, — только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают — «мельницу христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола». Вот — часть домов уже сожжена, а остальные «как вжались в землю от страха». Последняя вспышка прежней жизни — дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. «Все мы — свой народ, из одной Ангары воду пили». А теперь это сено — через Ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для бесприютных коров, обречённых под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие — держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных, пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, — белит её насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу: «Сколько тут хожено, сколько топтано». Для неё отдать избу — «как покойника в гроб кладут». А заезжий внук Дарьи — отчуждён, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: «В ком душа, в том и Бог, парень». «А что душу свою потратили — вам и дела нету». — Теперь узнаётся: изба, если её не трогать, сама по себе горит два часа — но ещё многие дни тоскливо курится потом. А и после сожженья избы — Дарья не в силах уехать с острова, ещё с двумя-тремя старухами ютится в негодном бараке. И так — перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков — а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть — грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще?

Просветы метафизических сил ощущаются и в некоторых рассказах Распутина, — «Что передать вороне»:

> Небо и земля — что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов.

Или в «Наташе» — загадочном рассказе об ангеле-хранителе.

Символична и повесть «Пожар», девятью годами позже «Матёры», — и как в прямое продолжение к ней: дальнейшая судьба людей, насильно оторванных затоплением от своего прежнего

коренного бытия и на бессмысленную уничтожительную работу — валку и валку лесов, без заботы о подросте новых.

Однако сам пожар описан вовсе не символично, не с литературной красивостью, а с реальными подробностями развития пламени в разных местах здания и на разных этапах горения, — автор подробно видит и передаёт нам детали; это — взгляд и художника, но и знатока пожарного дела. Таких адекватных описаний хода пожара я в русской литературе не знаю. Надо побывать там, чтоб это узнать: «казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать». И эти сдвиги в сознании людей в захвате пожарной работы — до полной потери реальности, даже понимания, откуда куда бежит или что делает.

Сквозь этот ревущий огонь звучит трубный голос народного горя, — в продленье того необратимого расставания нашего с разумным бытием.

На этом пожаре, несомненном поджоге: одни жертвенно спасают гибнущее, другие — всё больше воруют спопутно, а третьи — неназванные и невидимые, получают главный доход от поджога. В перемежных с пожаром главах — видим общий рост бессовестности и воровства, скудеющий остаток добросовестных людей. «Сама земля уходит из-под ног».

И — торжествующее, наступающее на общую жизнь новое племя — всё те же пожогщики, знающие лишь одно уничтожение, теперь — «архаровцы», ненаказуемые уголовники на просторах страны. «Вечная тоска в глазах: куда? зачем?» — сами не знают. «Вредят всякому, кто твердит о совести». Для них «что было нельзя — стало можно, считалось за смертный грех — почитается за ловкость». — «И как получилось, что сдались мы на их милость?»

Повесть вышла в свет в 1985-м, проницательно показывая, какою полууголовной наша страна была к началу Перестройки, — какою вся эта шваль вот-вот развернётся господами нашей жизни.

Вослед «Пожару» цепочка рассказов Распутина протянулась и в новейшее время, отражая и новые виды лютости жизни. «Изба» — как живое существо, принявшее душу своей обиталицы-подвижницы. — «Нежданно-негаданно». — «Новая профессия».

Выделим гнетущий рассказ большой силы «В ту же землю» (1995). На окраине микрорайона города, в котором воздух, растительная и человеческая жизнь необратимо протравлены

заводскими выпусками фтора, живёт одинокая Пашута. Последняя из сестёр, трое умерли, она взяла к себе из деревни уже беспомощную мать. У самой-то «не окоченевшее до конца тело выгибается в пояснице с сухим треском — будто косточки ломает». А мать — «оттолкнулась последним вздохом», вот умирает; и «такой покой был на ее лице, будто ни одного, даже маленького дела она не оставила неоконченным». И — как хоронить? В деревне бы — куда как просто. А здесь первое: все цены теперь вскружились в десятки и десятки раз, нечего и думать купить гроб. А ещё главней: мать не прописана здесь и никто не выпишет ей свидетельства о смерти; а без свидетельства — не похоронишь. Конечно, за деньги можно получить всё — но денег-то и нет. «Время настало такое провальное: все кругом, все никому не нужны», всё, что питает добро, пошло на свалку, «жизнь открылась сплошной раной».

Не только стало нельзя ж и т ь, но у нас отняли и сокровенное, священное право — мирно отдать прах матери-земле.

О гробе — Пашута просит работягу, в прошлом близкого ей человека. Но где и как хоронить без дозволения? «Если всё от начала до конца пошло не так, то по нетаку и это — так». На окраине микрорайона — свалка, пустырь, он «захламлён, набит стеклом, завален банками и пакетами»; но и дальше пустыря — «зачернён кострищами, затоптан, загажен и ближний к городу лес». Даже за тем еще б отодвинуться дальше, но ведь так, «чтоб добираться же к могиле уже неходящими ногами». Спутник Пашуты помогает ей найти сухую полянку дальше в лесу. Однако: запретные похороны надо и провести тайно — значит, ночью, и выкопать могилу, и беззвучно же вынести гроб — «телоприимную обитель» — по лестнице общего дома, и везти до места. Уже на рассвете закопали, под первым снежком, как бы «дарующим прощение за беззаконные действия». На лице у Пашутиного друга «странная и страшная улыбка — изломанно-скорбная, похожая на шрам, с отпечатлевшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира».

Помимо художественных произведений у Распутина есть замечательные сибирские очерки — об Алтае, Лене и Русском Устьи — легендарном поселении на берегу Ледовитого океана, где колония новгородцев сохранила до нашего несчастного XX века — неповреждённые с XVI века язык и обычаи. Если вспомнить тут и Байкал, и Ангару — Распутин выступает нам как уникальный певец Сибири и средь самых стойких защитников её.

И — органичнейшие черты его творчества: во всём написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии:

— с русской природой и
— с русским языком.

Природа у него — не цепь картин, не материал для метафор, — писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть её. Он — не описывает природу, а говорит её голосом, передаёт её нутряно, тому множество примеров, здесь их не привести. Драгоценное качество, особенно для нас, всё более теряющих живительную связь с природой.

Подобно тому — и с языком. Распутин — не использователь языка, а сам — живая непроизвольная струя языка. Он — не ищет слов, не подбирает их, — он льётся с ними в одном потоке. Объёмность его русского языка — редкая средь нынешних писателей. В «Словарь языкового расширения» я от Распутина не мог включить и сороковой части его ярких, метких слов.

А если надо всем сказанным здесь мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни, то изо всего и составится образ писателя, которому наше жюри вручает сегодня премию — с самым радушным чувством.

Валентин Распутин

Новый ковчег

Я прежде всего, хотел бы сказать великое и огромное спасибо Александру Исаевичу. Нет сомнения, что здесь всё-таки существовало его верховное мнение при выборе этой кандидатуры. Спасибо за это слово, мудрое слово, конечно, мне очень лестное, так же, как эта премия, слово, которое я выслушал и о себе лучше подумал. Потому что, знаете, последнее время приходится сомневаться в собственных силах, способностях и, вообще, той роли, которую играешь. Когда же Александр Исаевич говорит, что не так уж это всё и плохо, то я вынужден с этим согласиться. Спасибо, конечно, и жюри, состоящему из уважаемых и независимых людей. Здесь, насколько я знаю, было почти единодушное мнение. Так что большое спасибо вам. Спасибо аудитории. В этой аудитории есть мои друзья, единомышленники и есть люди, которые, может быть, не очень понимают меня и не очень принимают моё творчество. Но это сегодня не так уж и важно. Я думаю, что это сближение, которое в другом месте было бы невозможно, сегодня вольно или невольно произошло. Хорошо, что это произошло в этих стенах Дома Русского Зарубежья, третьей силы, работающей на Россию. Хорошо, если эта третья сила хоть немножко поспособствовала сближению тех, кто любит Россию, кто не может без нашей несчастной России, и кто по разным причинам пока ещё находится на некотором отдалении друг от друга. Я надеюсь, что это невольное сближение всё-таки произошло.

Что мы ищем, чего добиваемся, на что рассчитываем? Мы, кого зовут то консерваторами, то традиционалистами, то моралистами, переводя эти понятия в ряд отжившего и омертвевшего, а книги наши переводя в свидетельства минувших сентиментальных эпох. Мы, кто напоминает, должно быть, кучку упрямцев, сгрудившихся на льдине, невесть как занесённой случайными ветрами в тёплые воды. Мимо проходят сияющие огнями огром-

ные комфортабельные теплоходы, звучит весёлая музыка, праздная публика греется под лучами океанского солнца и наслаждается свободой нравов, а эти зануды топчутся на подтаивающей льдине и продолжают талдычить о крепости устоев. Где они, эти крепости и эти устои, которые выписаны на их, т. е. на наших, потрёпанных флагах, сохранилось ли в них хоть что-нибудь, что способно пригодиться? Ничего не стало, всё превратилось в развалины, к которым и туристов не подводят, — настолько они никому не интересны. И на стенания этих чудаков, ищущих вчерашний день, никто внимания не обращает. Они умолкнут, как только искрошится под свежим солнцем их убывающая опора и последние, самые отчаянные слова их превратятся в равнодушный плеск беспрерывно катящихся волн.

Пожалуй, и мы готовы согласиться, что так оно и будет. Победители не мы. Честь, совесть, все эти «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», любовь в образе сладко поющей волшебной птицы, не разрушающей своего гнезда, а также и более нижние венцы фундамента — традиции и обычаи, язык и легенды, и совсем нижние — покойники и история — всё это заметно перестаёт быть основанием жизни. Основание перестаёт быть основанием? И чем оно заменится? Победителей этот вопрос не интересует. Чем-нибудь да заменится, на то и завтрашний день. У них не вызывает сомнений, что та же неизбежность, которая перелистывает дни, воздвигнет для них, для новых дней, и какую-нибудь укрепляющую метафизику из новых материалов — взамен тому, что сегодня зовётся традицией. И некого призвать додумать, что человеческая опорность никем более, кроме как самим же человеком, не выстроится и не на чём более, кроме как на заповедных началах, выстроиться не может. Некого призвать — потому что и спора-то не существует, а есть только одна революционная непримиримость.

Там, в молодой стране, которая почитается теперь как божество, способное заменить все религии и традиции, всё национальное и народо-семейственное родство, весь опыт минувших цивилизаций от древнейших эпох, — там, в этой стране под статуей Свободы, тоже была когда-то замечательная литература. Быть может, незатопленными островками она есть и теперь, но мы о ней не знаем. Как не знаем и того, есть ли единым архипелагом литература в России, ибо тот читатель, который на виду, прежде всего ищет в книге наркотического действия. После Октября 1917-го это самый большой переворот, сродни революционному, потрясший человечество, — наркотизация его,

неспособность жить в реальном мире, уход из него в мир ирреальный или, что сегодня происходит чаще, мир виртуальный.

После «оттепели» 60-х и до середины 80-х, пока не хлынул грязный поток, зачитывались мы Фолкнером и Хемингуэем, Томасом Вулфом и Фицджеральдом, Уорреном, Стейнбеком и другими. Не странно ли, что все они, ваявшие, казалось бы, самого прогрессивного человека на Земле, не обременённые оковами традиции, были солидарны с нами во взгляде на опасное, если не сказать, страшное видоизменение, которое постигает человека. Точней: это мы, как более поздние, солидарны с ними. Я нарочито обращаюсь к суждениям художников, чья страна, и в том числе они сами, вне подозрений, будто над ними довлеет прошлое. Но точно так же, и с бóльшим успехом, я мог бы обратиться за поддержкой к великим европейским художникам. И само собой разумеется — к русским. Все они к концу своего земного пути, когда появилась возможность сравнивать, в какой мир они пришли и из какого уходят, испытали тревогу от перемен, о которой не могли промолчать. И все они, даже самые великие, испытали снисходительное непонимание общества, относившегося к ним как к чудакам. Когда-то эти новые и опасные реалии, клонившие мир к вульгарному опрощению, можно было объяснить воззренческим дальтонизмом, неумением отличить один цвет от другого, теперь в своей агрессивности они уже не скрывают целей: нет ни чёрного, ни белого, ни добра, ни зла, а есть только моё. У нас разное зрение: «нечистое сердце не может зреть Чистейшаго» (Матф., 5,8).

Пятьдесят лет назад Фолкнер видел долг писателя в том, чтобы помочь человеку выстоять. Он советовал писателю «выкинуть из своей мастерской всё, кроме старых идеалов человеческого сердца, — любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу». Гарднер сравнивал новое искусство со слоном, который топчет ребёнка, а художник в это время восторгается волоском на его хоботе. «Подлинное искусство морально, — утверждал Гарднер. — Оно стремится продвинуть жизнь к лучшему, а не принизить её». В России был патриархальный Север, но ведь и Америка не обошлась без патриархального Юга: патриархальность — это не кладбище, а кладовая. У Фицджеральда есть любопытное замечание: «Наш юг, в частности, это тропики, где созревают рано, но ведь французам и испанцам никогда и в голову не приходило предоставлять свободу девицам в 16—17 лет». По этим словам, сказанным примерно семьдесят лет назад, можно судить, как далеко ушли вперёд,

а вернее, как далеко отступили с тех пор нравы как в тропиках, так и во льдах.

Все крупное, глубокое, талантливое в литературе любого народа по своему нравственному выбору было неизбежно консервативным и относилось к морали как к собственной чести. Литература любого народа желала своему народу добра. Не странно ли, что приходится произносить столь банальные истины? Но эта банальность превратилась в нечто умозрительное, на практике её уже не осталось. В России — в особенности. И это у нас, где литература ещё совсем недавно была ходатаем даже по мирским делам народа, понимая справедливость как правду, а беззаконие — как неправду, с которой нельзя мириться. В мрачные времена безбожия литература в помощь гонимой Церкви теплила в народе свет упования небесного и не позволяла душам зарасти скверной. Из книг звонили колокола и звучали обрядовые колокольцы, в них не умолкало эпическое движение жизни, с непременностью художественных азов звучали заповеди Христовы и такой красоты растекались закаты над родной землёй, что плакала и ликовала от восторга читательская душа: Он есмь... Литература не была слепой и замечала наступление зла, но отречься от добра для неё было равносильно тому, как молитве отречься от Бога... Мощней и непримиримей идеологического противостояния, без границ и застав набиралось противостояние нравственное — и вдруг раньше сроков, как и в идеологии, и здесь свершилась победа.

И погнали совесть и чистоту в рабском виде прочь из дома...

И возгласил всемогущий и любимый сюзерен самого короля новый нравственный закон: больше наглости!..

И кинулись исполнять вассалы это приказание по всем городам и весям...

И трон самого Царя Тьмы с небывалыми почестями перенесен был в Москву...

В строку здесь было бы продолжить: и пала литература... Но она не пала окончательно. Менялы отстранили её с небрежением как старуху, ни на что не годную, кроме как доохивать оставшиеся до смерти дни. Появились новые формы разговора с человеком, динамичные, лаконичные, без художественных «соплей», не требующие ни таланта, ни любви, ни даже уважения к человеку, затягивающие в своё сопло с могучей электрической силой. Уже угасающими глазами умирающий Пушкин обвел ряды книг своей библиотеки и произнёс: «Прощайте, друзья!» Он уходил, они оставались. Они были важнее даже его, Пушкина, ибо он служил им и обрёл в этом служении величие.

Что случилось с литературой в нашу пору? Или меньше стало великих и под механическими жерновами цивилизации духовные вершины легче перетираются в песок? Или в самом деле нет в мире ничего вечного, нет ни в нравственности, ни в духовности, ни в художественности? Я никогда не соглашусь с этим, но что-то, что сильнее и умнее меня, говорит, что такое возможно. И подсказывает самое неприличное слово — мутация. Духовная мутация, вслед за которой может наступить и физическая, подобно тому, как байкальские рачки близ целлюлозного комбината мутируют во что-то безобразное, т. е. теряющее свой образ. Литература никогда не была одинаково ровной — была в несказанной высоте и красоте и была как развлекательная безделушка или как разукрашенная идея. Но вторая по мастерству и значимости и место занимала второе, несмотря ни на какие притязания. И вот теперь низкое, возмужав в грубое, агрессивное, перешло границу и принялось теснить высокое, заявляя при этом чуть ли не конституционные права, ибо низким сделалось пропитано само общество.

Великий Инквизитор опять оказался прав. В «Легенде» Достоевского он действовал в XV веке, перед ним были тысячи тысяч невежественных людей, удовлетворяющихся хлебом и зрелищами, и это понижало значимость его победы. Ныне он идёт к торжеству с помощью тысячи тысяч с высшим образованием, на интеллектуальном уровне отдающих души всё за то же — за хлеб и зрелища. Последние пятнадцать лет в России подтвердили, что образованщина, да к тому же ещё бескорневая, декоративная, нисколько не выше дикости.

Так чего же хотим мы, на что рассчитываем? Мы, кому не быть победителями... Всё чаще накрывает нашу льдину, с которой мы жаждем надёжного берега, волной, всё больше крошится наше утлое судёнышко и сосульчатыми обломками истаивает в бездонной глубине. С проходящих мимо, блистающих довольством и весельем океанских лайнеров кричат нам, чтобы мы поднимались на борт и становились такими же, как они. Мы не соглашаемся. Солнце слепит до головокружения, до миражей, и тогда представляется нам, что наша льдина — это новый ковчег, в котором собрано в этот раз для спасения уже не тварное, а засеянное Творцом незримыми плодами, и что должна же быть где-то гора Арарат, выступающая над потопным разливом. И мы всё высматриваем и высматриваем её в низких горизонтах. Где-то этот берег должен быть, иначе чего ради нам поручены эти столь бесценные сокровища!

ОБ АВТОРЕ



алентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в пос. Усть-Уда Иркутской области. В 1959 году окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. Работал журналистом в Иркутске и Красноярске.

Первый рассказ («Я забыл спросить у Лёшки...») опубликован в 1961 г. в альманахе «Ангара».

Широкую известность автору принесли повести «Деньги для Марии» (1967) и затем «Последний срок» (1970). В 1974 г. в журнале «Наш современник» напечатана повесть «Живи и помни» — одно из лучших произведений русской послевоенной прозы. Некоторые рассказы, написанные в 1970-х годах (в т. ч. «Уроки французского») стали шедеврами русской новеллистики. О трагической судьбе деревни в период «научно-технической революции» повесть «Прощание с Матёрой» (1976). В 2003 г. в журнале «Наш современник» вышла повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». В. Г. Распутин обращается и к публицистике, пишет остросоциальные, наполненные болью и тревогой за судьбу России и русского народа статьи.

Герой Социалистического Труда (1987), лауреат Государственных и многих других премий.

Произведения В. Г. Распутина переведены на многие языки народов нашей страны и мира, получили мировое признание.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

СТАТЬИ

МОСКВА, 4 мая 2000 года

Распутин, Валентин Григорьевич.

Р24 В поисках берега : повести, рассказы, статьи / Валентин Распутин. — М. : Русскій міръ : Московские учебники, 2008. — 480 с. : ил. — (Литературная премия Александра Солженицына) — ISBN 978-5-89577-106-8.

Агентство CIP РГБ

В книгу известного русского писателя Валентина Распутина вошли повести «Деньги для Марии», «Прощание с Матёрой», несколько рассказов, а также статьи «Транссиб» и «На Афоне».

УДК 821.161.1-821
ББК 84(2Рос=Рус)6-4я44

Литературная премия Александра Солженицына

Валентин Григорьевич Распутин

В ПОИСКАХ БЕРЕГА

Повести, рассказы, статьи

Руководитель проекта *В. Е. Волков*
Редактор *А. Т. Волобуев*
Технический редактор *Т. В. Покатов*
Корректор *О. Г. Наренкова*
Верстка *Е. П. Селиванова*

Сдано в набор 15.02.2007. Подписано в печать 08.10.2007.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Печ. л. 30. Тираж 5000 экз. Заказ № 9693.

ЛР № 071422 от 07.04.1997.
ООО Издательство «Русский Мир»
125438, Москва, Онежская ул., 13, корп. 2
Тел.: 153-35-98; 456-76-33; 708-61-64
e-mail: russkij-mir@narod.ru

Отпечатано в ОАО «Московские учебники
и Картолитография»
125252, Москва, ул. Зорге, 15

ISBN 978-5-89577-106-8

9 785895 771068

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Газета основана в 1830 году при участии А. С. ПУШКИНА
Издание возобновлено в 1929 году при поддержке М. ГОРЬКОГО

ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ТОЛЬКО В «ЛГ» ВЫ УЗНАЕТЕ:

Над чем работают лучшие современные писатели, поэты, драматурги

О чем размышляют и спорят герои их новых произведений

Как формируется внутренняя и внешняя политика государства

О тесной взаимосвязи реформ и содержимого нашего кошелька

Где состоялись самые заметные явления в искусстве и культуре

Какие новые книги «заслуживают» того, чтобы их купили

О секретах «лаборатории смеха» в знаменитом «Клубе 12 стульев»

«Литературная газета» — единственное периодическое издание, где встречаются все направления отечественной общественной, социально-экономической, художественной и духовной мысли.

Подписной индекс — 50067

Справки по телефону 8(499) 788 05 79

www.lgz.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Русскій міръ

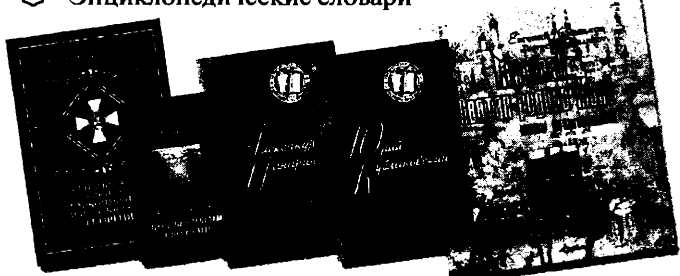


Книги по истории и культуре государства Российского, русская художественная и детская литература, педагогические и справочные издания

Книжные серии издательства:

- «Большая Московская Библиотека»
- «Русскій міръ в лицах»
- «Русскій міръ классики»
- «Семейные хроники»
- «Зарубежная Россия»
- «О слово русское, родное»
- «Русский мир прозы»
- «Литературная премия Александра Солженицына»
- «Pro patria: Историко-политологическая библиотека»
- «Русская провинция»
- «Русскій міръ — детям»
- Энциклопедические словари





За справками и по вопросам приобретения этих книг обращаться в издательство «Русскій міръ»:

Москва, Онежская ул., 13, корп. 2
Тел.: 708-61-64; 456-76-33; 153-35-98
e-mail: russkij-mir@narod.ru
www.russkij-mir.narod.ru



В серии «Русскій міръ в лицах»
вышли из печати книги:

Великий князь ВЛАДИМИР МОНОМАХ
Великий князь АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Царь ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ
Александр Васильевич СУВОРОВ
Император НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ
Александр Сергеевич ПУШКИН
Федор Иванович ТЮТЧЕВ
Михаил Дмитриевич СКОБЕЛЕВ
Алексей Федорович ЛОСЕВ
Алексей Степанович ХОМЯКОВ

ЗА СПРАВКАМИ И ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КНИГ ЭТОЙ СЕРИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКІЙ МІРЪ» ПО ТЕЛЕФОНАМ:
153-35-98, 456-76-33

E-mail: russkij-mir@narod.ru









и Александра Солженицына
ственным Фондом и вручается
ежегодно с 1998 года. Ею награждаются писатели, живущие в России и пишущие на русском языке, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. Кроме того, с 2002 года Премия присуждается за труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также за значимые действующие культурные проекты.

В книгах серии «Литературная премия Александра Солженицына», выпускаемой издательством «Русскiй мiръ», публикуются избранные сочинения лауреатов этой Премии.